

Annotation

При дворе правителя Могольской империи появляется золотоволосый чужеземец и заявляет, что он — дядя императора...

Интригующие арабески своего повествования Рушди создает в полном соответствии с реальной исторической канвой.

- [I](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
- [II](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
- [III](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
- [Библиография\[58\]](#)
- [Веб-сайты](#)
- [Благодарность](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)

- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)

- [44](#)
 - [45](#)
 - [46](#)
 - [47](#)
 - [48](#)
 - [49](#)
 - [50](#)
 - [51](#)
 - [52](#)
 - [53](#)
 - [54](#)
 - [55](#)
 - [56](#)
 - [57](#)
 - [58](#)
-

*Посвящается
Биллу Бафорду*

И двигалась она,
как не дано земной, но
только ангелу. И
чистый, звонкий голос
ее не походил на
смертных голоса.

Небесный дух,
сияющий как солнце,
предстал очам моим...

Франческо Петрарка

Найдите толмача и
приведите его ко мне,
Ибо есть странник
в городе,

Истории его хотел
бы я услышать.

Мирза Талиб

1

Пламенеющее в последних лучах заходящего солнца озеро...

Пламенеющее в последних лучах заходящего солнца озеро под городом дворцов переливалось, словно расплавленное золото. Страннику, приближавшемуся к нему по идущей вдоль берега дороге, не потребовалось больших усилий, чтобы вообразить, будто вскоре ему предстоит встреча с государем, чьи богатства несметны и который специально велел заполнить огромную впадину жидким золотом, дабы изумлять и приводить в священный трепет каждого, кто вступает в его владения. Озеро огромно, и если предположить, что оно всего лишь малая толика царских сокровищ, то каковы же тогда размеры этого океана?! По всей видимости, жидкое золото никем не охранялось. Возможно, это добрый знак. Быть может, здешний правитель настолько щедр, что любому, вступающему в его владения — будь он даже из чужих земель, — дозволено без помех черпать горстями драгоценную жидкость. Если так, то он, должно быть, и вправду человек необычайный, вроде короля Пристера Джона,^[1] полузабытые легенды и баллады о счастливых временах которого полны описаний множества чудес. «Быть может, — мечтательно рассуждал про себя путешественник, — за теми вот городскими стенами бьет источник вечной молодости, а где-то поблизости находится тайная дверь в земной рай...»

Но тут солнце скрылось за горизонтом, и золото исчезло с поверхности озера. Оно легло на дно, где до наступления следующего дня его будут бдительно охранять русалки и водяные змеи. До самого рассвета вода — единственное сокровище, которое сможет предложить озеро истомленному жаждой путнику, и наш странник готов был принять его с великой признательностью.

Чужеземец ехал на простой двухколесной арбе, запряженной парой буйволов. Однако вместо того чтобы сидеть на жестких подушках, он предпочел стоять, небрежно опершись одной рукой на перила решетчатого деревянного ограждения, словно бог на летающей колеснице. Повозка раскачивалась и дергалась в такт буйволиной поступи, да и сама дорога была вся в рытвинах и ухабах. Езда стоя вполне могла привести к падению,

а тогда — прощай, жизнь! Но путешественник упрямо продолжал стоять, умудряясь сохранять при этом спокойный, даже горделивый вид. Возница давно надоело призывать его к осторожности. Поначалу он принял чужеземца за круглого дурака и махнул на него рукой: сломает себе шею — что ж, туда ему и дорога, здесь чужака оплакивать никто не станет. Правда, вскоре презрение уступило место невольному восхищению. Может, странник и впрямь выглядел чудно: лицо слишком смазливое для настоящего мужчины, да и одежда дурацкая — пестрый плащ из разноцветных ромбиков кожи, — но его осанке, его умению сохранять равновесие можно было позавидовать.

Повозку трясло, колеса то проваливались в колдобины, то наскакивали на булыжники, а чужеземец как ни в чем не бывало продолжал стоять и даже ни разу не покачнулся, сохраняя изящество и непринужденность позы. «Хоть и дурак, но до чего же ловок! — подумал возница. — А может, он и не дурак вовсе, может, это человек, с которым стоит считаться? Если уж и есть у чужака явный недостаток, — продолжал рассуждать про себя хозяин повозки, — так это, пожалуй, выпендривание, желание казаться не таким, каков он на самом деле, а таким, каким он хочет, чтобы его видели другие. Правда, в этих краях у всех есть такая склонность, и в этом смысле они немногим от него отличаются, так что не такой уж он и странный на самом-то деле».

Когда чужеземец заявил, что его мучает жажда, возница — неожиданно для самого себя — спустился к озеру, наполнил водою выдолбленную из высушенной тыквы и отполированную чашу и с таким почтением подал ее незнакомцу, словно перед ним был знатный господин.

— Тоже мне, князь выискался! Стоишь тут, а я бегай для тебя за водой! — проворчал возчик себе под нос. — С чего это я тебе прислуживаю — сам не пойму. Какое такое у тебя право мной командовать? Да кто ты такой на самом-то деле?! Уж не из благородных, это точно, не то с чего бы ты тащился на моей повозке! А еще нос задираешь! Не иначе как прощельяга, бандит какой-нибудь!

Незнакомец жадно пил. Струйки сбегали вниз, к бритому подбородку, образуя подобие водяной бороды. Наконец он передал пустую чашу вознице и со вздохом облегчения смахнул оставшиеся капли.

— Кто я такой? — словно говоря сам с собою, но на местном наречии произнес странник. — Я человек, владеющий страшным секретом, но он предназначен лишь для ушей великого императора!

Возница снова почувствовал себя уверенно: первое впечатление его не обмануло — этот парень и впрямь полный дурак, так что нечего с ним

церемониться.

— Можешь оставить свой секрет при себе, — равнодушно отозвался он. — Секреты — они лишь у малых ребятишек да лазутчиков.

Незнакомец слез с повозки возле караван-сарая, откуда начинались и где кончались все дальние дороги. Он был на удивление высокого роста и держал в руках хурджин из ковровой ткани.

— А еще у колдунов, влюбленных и... государей, — бросил на прощанье чужестранец, перед тем как войти в караван-сарай.

Там, как обычно, царили шум и суета. Лошади, верблюды, волы, ослы, козы — всех их требовалось накормить и напоить. Кругом бегала, скакала и летала прочая живность, пронзительно визжали обезьяны, лаяли грозного вида псы; в небо зеленым фейерверком то и дело взлетали крикливые попугаи. Кузнецы ковали, плотники ладили повозки, а в крытых торговых рядах, расположенных по четырем сторонам огромной площади, люди, готовясь в дальний путь, запасались всем необходимым, покупали съестное, свечи, масло, мыло, прочные веревки. Перенося на головах грузы непомерного веса и объема, носились взад-вперед неутомимые кули в красных тюрбанах. Одни собирались в дорогу и нагружали повозки, другие стремились поскорее разгрузиться и отдохнуть. Здесь за ночлег брали дешево. Деревянные лежаки, перетянутые веревками, с набитыми конским волосом колючими матрасами рядами, как в казармах, стояли на плоских крышах одноэтажных строений по всему периметру громадного подворья. Здесь можно было провести ночь и, устремив взгляд в черное небо, воображать, будто ты равен бессмертным богам. Поодаль, к западу от караван-сарая, стояли лагерем императорские полки, вернувшиеся недавно с полей сражений. Оттуда доносился глухой гул. Полкам не разрешалось входить в город дворцов, им было отведено место под холмом. С армией, только что прибывшей с поля битвы, не занятой своим прямым ратным ремеслом, следовало быть предельно осторожным. Нашему путнику вспомнилась история Древнего Рима. Там император не доверял никому, кроме своих верных преторианцев. Путник знал, что вопрос о доверии к его персоне вскоре станет ключевым. Не сумеешь внушить доверия — потеряешь жизнь.

Совсем близко от караван-сарая высилась украшенная слоновьими бивнями башня, обозначающая место, где находились главные дворцовые ворота. Все слоны считались личной собственностью правителя, и башня с торчащими из нее бивнями призвана была демонстрировать его могущество. «Берегись! — казалось, говорила башня. — Ты ступаешь на землю самого владыки слонов, обладателя такого множества толстокожих

гигантов, что он с легкостью позволил себе истребить целые тысячи их лишь ради того, чтобы украсить меня». В этом зримом символе могущества путник усмотрел проявление такого же вызывающего стремления к превосходству, какое жгло и его душу. Было ли это чистым огнем или печатью Сатаны — как знать? Тот, по велению кого была воздвигнута башня, для подтверждения своего превосходства явно избрал путь устрашения — качество, которое путнику часто казалось признаком малодушия. «Неужели человек может доказать свою исключительность лишь посредством насилия?» — спросил он себя. Спросил — и не нашел ответа, однако ему хотелось надеяться, что превосходство может быть достигнуто и иным путем, а именно — через чувство прекрасного: он знал, что красив; знал и то, что его красота тоже дает ему власть над людьми.

За клыкастой башней находился большущий колодец, от которого по всему склону холма тянулась вверх целая сеть немыслимо сложных сооружений для снабжения водой увенчанного множеством куполов дворцового комплекса. *Без воды человек ничто, — подумал странник. — Будь он хоть император, но, оставшись без воды, он обратится в прах, как любой другой. Вода — вот истинная госпожа, и все мы — ее рабы.* У себя во Флоренции он однажды встретил человека, который умел заставить воду исчезнуть. Это был фокусник. Он наполнил кувшин водой до самых краев, пошептал над ним какие-то заклинания, потом перевернул кувшин — и вместо жидкости оттуда заструился поток шелковых шарфов. Разумеется, это был ловкий фокус, и уже к концу дня он сумел выпытать у фокусника секрет трюка, присовокупив эту тайну к другим, уже им приобретенным. Он успел накопить множество тайн, но лишь одна из них была достойна того, чтобы ее предложить в дар императору.

Дорога круто пошла вверх, и вскоре перед ним открылась панорама города. Безо всякого сомнения, это был самый большой город из всех, какие ему доводилось видеть: больше, чем Флоренция, больше Венеции, больше Рима. Однажды он побывал в Лондоне, но и тот уступал этому городу по величине. По мере того как сгущались сумерки, город, казалось, рос у него на глазах. Густонаселенные предместья лепились у его стен, с верхушек минаретов неслись крики муэдзинов, в отдалении были видны огни обширных поместий. словно грозное предупреждение, один за другим загорались то там, то здесь всё новые и новые огни, и словно им в ответ в темной чаше небес одна за другой вспыхивали звезды. «Будто земля и небо готовятся к решительной схватке, — подумал он. — Будто две армии затаились во тьме, чтобы с первыми лучами солнца ринуться в бой. И ни в лабиринтах улиц, ни в богатых домах на равнине нет ни одного человека,

который хотя бы раз слышал мое имя и готов принять на веру то, о чем я намерен рассказать. И все-таки я это сделаю. Должен сделать. Ради этого я пересек моря и океаны и теперь не отступлюсь».

Он шел вперед широкими, решительными шагами. Его высокий рост, его длинные, хотя, признаться, довольно грязные волосы, колышущиеся на ветру, словно золотистая озерная вода, привлекали к нему любопытные взгляды. Дорога вела его все выше. Вот он миновал Слоновью башню, и ему стали видны каменные ворота с барельефами, изображающими стоящих друг против друга слонов. Ворота так и назывались — Хатъяпала. [2] Они были распахнуты, и оттуда доносился гул веселящейся и пьющей, насыщающейся и совокупляющейся массы людей. У ворот стояли стражники, но в глазах их не было ничего угрожающего. Настоящие препоны ждали его впереди. Пространство непосредственно за стенами считалось местом, доступным всем: здесь назначали встречи, торговали, покупали и развлекались простолюдины. Странника то и дело обгоняли люди, они спешили, ведомые каждый своей насущной нуждой или жаждой удовольствий. Между внешними и внутренними, дворцовыми, воротами по обеим сторонам вымощенной булыжником дороги тянулись бесконечные ряды харчевен, веселых домов, постоялых дворов, прилавков со съестным и лотков со всякой всячиной. Здесь все занимались вечным как мир делом — куплей-продажей. Одежда, посуда, безделушки, оружие, ром... Здесь был «черный рынок» — рынок жуликов и воров: вздутые цены, грубая ругань и сомнительное качество товара. Однако незнакомые с планом города, утомленные долгой дорогой путники не желали тратить остатки сил, чтобы идти вдоль городской стены к воротам на противоположной стороне, где находился более приличный и дешевый рынок, и довольствовались тем, который ближе. Их потребности были просты, а нужды безотлагательны.

Живые куры со связанными лапками, подвешенные вниз головой, заполошно трепыхались — их уже поджидали кипящие котлы; у прилавков, где готовили пищу для мясоненавистников-вегетарианцев, было потише — овощи не вопили. А еще ветер доносил до странника звонкие женские голоса — дразнящие, призывные голоса женщин, раззадоривающих невидимых мужчин. Он чуял в воздухе запах этих женщин. В любом случае, решил путник, сегодня уже слишком поздно добиваться встречи с государем. Деньги у него имелись, а путь был долгим, потому что не прямой. Таков был его излюбленный способ действия: он всегда шел вперед, но окольными путями, петляя и обходя препятствия. Сойдя с корабля в Сурате, он через Бурханпур, Сиронж, Нарвар, Гвалиор и Дхолпур

добрался до Агры и лишь оттуда двинулся сюда, к новой столице. Прямо теперь ему требовалась по возможности удобная постель, желательно не усатая женщина и пусть недолгое, но полное забытие, какое может подарить лишь добрая выпивка.

Позже, удовлетворив свои насущные потребности в одном из веселых заведений, где было не продохнуть от запахов человеческих тел, он уснул возле всю ночь не смыкавшей глаз старательной шлюхи. Под собственный трубный храп он стал смотреть сны. Он мог смотреть сны на семи языках: на итальянском и испанском, на арабском и персидском, на английском, русском и португальском. Он подцеплял языки, как моряк — дурные болезни. Они липли к нему сами собой, словно гонорея, сифилис, чесотка, горячка, цинга или чума. Стоило ему погрузиться в сон, как тут же голоса половины мира на разных наречиях взахлеб принимались нашептывать ему небывалые истории скитаний по свету. А в этом, лишь наполовину открытом, мире каждый новый день приносил новые, чарующие впечатления и ощущения. Там, во сне, поэтическое воображение рассказчика свободно, оно еще не взято в шоры прозой жизни. Наш путник и сам умел сочинять истории, но он покинул свой край, потому что рассказы о чудесах неудержимо влекли его все дальше и дальше от родных мест. Среди этих рассказов был один, который мог принести ему славу и богатство, но мог и стоить жизни.

2

На борту пиратского корабля под началом шотландского милорда...

На борту пиратского корабля под началом шотландского милорда, названном «Скатах» — в честь легендарной богини-воительницы с острова Скай, — команда которого преспокойно занималась своим разбойничьим ремеслом у побережья Южной Америки, но в настоящий момент направлялась к берегам Индии по делу государственной важности, был обнаружен «заяц». Им оказался бездельник-флорентиец.

Его не выкинули безо всяких проволочек за борт исключительно потому, что он умудрился у всех на глазах вытащить из уха трясущегося от ужаса боцмана живую водяную змею, которую и выбросили в море вместо него. Парня нашли среди канатов на носу судна через семь дней после того, как корабль обогнул южную оконечность Африканского континента. Одетый в горчичного цвета камзол и штаны в обтяжку, он сладко храпел, накрывшись клоунским плащом, сшитым из разноцветных ромбиков кожи, но даже во сне прижимал к себе небольшую суму из ковровой ткани. Он не сделал ни малейшей попытки спрятаться или удрать. Похоже, парень не имел ничего против того, чтобы его обнаружили, и был глубочайше уверен в своей способности убеждать, поражать и очаровывать. В любом случае, на этом судне ему удалось проделать уже немалый путь. К тому же оказалось, что он действительно ловкий фокусник. Он превращал золотые монеты в дым, а густой желтый дым — обратно в золото; из наполненного водой перевернутого вверх дном кувшина у него вместо жидкости струился поток шелковых шарфов; одним изящным движением руки он щедро приумножал порции рыбы и ломти хлеба, — все это, конечно, отдавало безбожием, но вечно голодные моряки предпочли закрыть на это глаза. Дабы не навлечь на себя гнев Иисуса Христа за то, что они позволили какому-то прощельге-кудеснику узурпировать Его прерогативу, они торопливо крестились и жадно глотали свою неожиданно обильную, хотя теологически весьма сомнительную пищу. Даже Джордж Луи Хоуксбенк — лорд Хоуксбенк, глава рода Хоуксбенков, то бишь, согласно шотландской традиции, тот один-единственный, который имел право именоваться высокородным Хоуксбенком из Хоуксбенка, в отличие от всех прочих мелкотравчатых Хоуксбенков, проживавших в других, менее значимых,

местах Шотландии, — подпал под обаяние пройдохи-пассажира, этого шута, когда того привели в капитанскую каюту для решения его дальнейшей судьбы. Молодой прощельга назвал себя Уччелло.

— Уччелло ди Фиренце, маг и ученый, к вашим услугам, милорд, — на превосходном английском представился он, с непринужденной грацией склоняясь в глубоком поклоне.

Лорд Хоуксбенк заулыбался и поднес к носу надушенный платок.

— Я мог бы тебе и поверить, — сказал он, — если б не знал доподлинно, что именно в названном тобою месте и с такой же фамилией жил некий художник Паоло, который в вашем Дуомо^[3] создал фреску в честь моего славного предка сэра Джона Хоуксбенка, более известного как Джованни Милано, в прошлом наемника, а впоследствии флорентийского генерала, победителя битвы при Полпетто. Однако этот художник, к несчастью для тебя, уже много лет как умер.

Молодой нахал пренебрежительно щелкнул языком:

— Ясное дело, я не тот покойный живописец, — произнес он и горделиво выпрямился. — Отправляясь путешествовать, я взял себе это имя, потому что на моем родном наречии оно означает «птица», а птицы, как и я, — самые отважные в мире путешественники. — С этими словами парень проворно выхватил из-за пазухи живого сокола с колпачком на голове, и тут же, словно из воздуха, материализовалась рукавица сокольника. То и другое он с поклоном вручил ошалевшему от изумления лорду, добавив при этом: — А вот и сокол для господина с Ястребиного берега.^[4]

Однако едва Хоуксбенк надел рукавицу, как Уччелло, словно женщина, отвергающая возлюбленного, щелкнул пальцами, и, к немалому смятению шотландского лорда, птица в кожаном колпачке и сама перчатка исчезли так же молниеносно, как и появились. Уччелло же как ни в чем не бывало продолжал:

— Я взял себе такое имя еще и потому, что в моем родном городе это «птичье» словцо имеет и другой смысл: его употребляют, когда говорят о мужском члене, коим я горжусь, однако не настолько дурно воспитан, чтобы предъявлять его всем и каждому.

На удивление быстро оправившись от шока, Хоуксбенк из Хоуксбенка разразился громким хохотом.

— Что ж, — молвил лорд, — в этом отношении мы с тобой похожи.

Высокородный Хоуксбенк успел немало повидать на своем веку. Он выглядел моложе, чем был на самом деле. У него были ясные глаза и

гладкое, без морщин лицо, однако пятый десяток он разменял уже лет семь назад. О его владении мечом и шпагой ходили легенды, и он был силен, как белый бык. На утлом плоту он доплыл по Желтой реке^[5] до самых ее истоков, где в качестве угощения ему поднесли в золотой чаше зажаренный на углях penis тигра; он охотился и сразил белого носорога в кратере потухшего вулкана Нгоронгоро; в родных шотландских горах он покорил двести восемьдесят четыре вершины, он взбирался на все — от Бен-Невиса до недоступного пика Сгурр-Диарг на острове Скай, родине кровожадной богини Скатах. Когда-то давным-давно в родовом замке Хоуксбенков он разругался в пух и прах со своей законной супругой — крошечной крикливой женщиной, у которой были рыжие кудри и челюсть словно голландские щипцы для колки орехов. Он оставил ее разводить черных овец и отбыл, чтобы, как и его предок, попытать счастья в далеких краях. Он стал капитаном корабля и под началом Дрейка принял деятельное участие в грабеже груженных золотом испанских кораблей в Карибском море.

В награду за доблесть благодарная королева доверила Хоуксбенку выполнение важной миссии: в качестве посла ему предстояло вручить Великому Моголу^[6] послание от самой Глорианы^[7] и привезти ответ. При этом он получал единоличное право собственности на все, что ему удастся добыть в Хиндустане,^[8] — будь то драгоценности, золото или опиум.

— В Италии мы обычно говорим не «могол», а «могор», — заметил самозванец, выслушав рассказ высокородного шотландца.

— Кто их разберет, как это у них произносится, — поддержал его Хоуксбенк. — Чужое слово может сто раз исказиться в другом языке.

Их внезапно возникшую обоюдную симпатию скрепил томик сонетов Петрарки, который Уччелло приметил на каменной столешнице низкого столика у локтя Хоуксбенка.

— О, блистательный Петрарка! Вот уж кто и вправду истинный маг и волшебник! — воскликнул он и, приняв позу заправского оратора-римлянина, начал декламировать на итальянском:

Благословен день, месяц, лето, час
И миг, когда мой взор те очи встретил!
Благословен тот край и дол тот светел,
Где пленником я стал прекрасных глаз!

И Хоуксбенк тут же продолжил, уже на английском:

Благословенна боль, что в первый раз
Я ощутил, когда и не приметил,
Как глубоко пронзен стрелой, что метил
Мне в сердце Бог, тайком разящий нас!^[9]

— Человек, любящий Петрарку как я, непременно должен стать моим господином! — воскликнул Уччелло.

— Человек, чувствующий как я, непременно должен выпить со мной! — отвечивал шотландец. — Ты подобрал ключ к моему сердцу, и я желаю поделиться с тобою своей тайной. Только помни — никому ни слова! Следуй за мной!

В своей каюте, за одной из сдвигающихся панелей, лорд Хоуксбенк хранил шкатулку с любимой коллекцией диковинных предметов искусства. Это было собрание небольших по размеру вещиц, без которых, как выразился бравый шотландец, человек, постоянно находящийся в дороге, может утратить чувство пространства и времени, поскольку от множества необычных и новых впечатлений расшатывается душевное здоровье.

— Это вещи не мои, — признался он своему новому приятелю-флорентийцу, — но они помогают мне не забыть, кто я есть. Какое-то время я держу их при себе, а потом даю им уйти.

Сначала он достал из ящика горсть драгоценных камней поразительной чистоты и размера, затем золотой слиток, который позволил бы любому прожить в роскоши до конца своих дней. «Это всё пустяки», — пробормотал он и небрежно отодвинул в сторону то и другое, после чего принялся доставать свои, как он их назвал, «настоящие сокровища». Каждый предмет был любовно обернут тканью и покоился в гнездышке из жатой бумаги и тряпочек: шелковый платок, в знак любви подаренный языческой богиней древнего Согда давно забытому герою; кусочек китового уса, на который чья-то искусная рука нанесла сцену охоты на оленя; медальон с портретом Ее Величества королевы Английской, восьмиугольная книжица в кожаном переплете из Святой земли, на крошечных страницах которой с беспримечным изяществом был начертан весь текст Корана. Он извлек из шкатулки безносую головку из Македонии — якобы скульптурное изображение самого Александра Великого, а также одну из загадочных печаток древней цивилизации долины Инда, найденную в Египте, с изображением буйвола и иероглифическими письменами. Эти знаки так и не были расшифрованы, и назначение печати

оставалось тайной; полированную каменную пластину из Китая с алой гексаграммой из «И цзин»^[10] и природным узором, похожим на горный пик в тумане; яйцо из тончайшего фарфора с удивительной росписью; высушенную человеческую голову — произведение обитателей затопленных лесов бассейна Амазонки — и наконец словник уже исчезнувшего языка племени, селившегося когда-то на Панамском перешейке. Из всего племени в живых осталась лишь одна древняя старуха, но и та не смогла правильно воспроизвести ни единого слова по причине полного отсутствия зубов.

Лорд Хоуксбенк из Хоуксбенка открыл шкафчик, где стояли в ряд ценнейшие бокалы, чудесным образом перенесшие многочисленные скитания по морям и океанам, выбрал из них два одинаковых — пузатых и матовых, знаменитого муранского стекла — и плеснул в каждый солидную порцию бренди. Уччелло приблизился и взял один из них. Лорд Хоуксбенк сделал глубокий вдох и жадно отпил из своего.

— Ты из Флоренции, и потому тебе наверняка близка мысль о самой могущественной силе на земле, о власти человеческого духа и о ненасытном его стремлении к красоте, к самосовершенствованию и... к любви, — произнес он.

Человек, назвавшийся Уччелло, уже собрался ответить, но шотландец жестом остановил его.

— Подожди, дай мне договорить, — продолжал он, — потому что существуют вещи, в которых даже ваши славные философы не понимают ничего. Человеческий дух, как бы велик и благороден он ни был, иногда может испытывать муки голода, как последний нищий. Вид всех этих прелестных вещиц способен ослабить эти муки, но только на какое-то время. Дух все равно томится, страдает и жаждет. Он словно царь, которому постоянно угрожают вторжением враги, такие, к примеру, как страх и тревога, одиночество и смятение души, странная, невероятная гордыня или дикий, загнанный внутрь стыд. Тайные желания терзают дух человеческий, постоянно иссушают его и в конце концов лишают всяких сил. Вижу, ты не понимаешь, что я имею в виду, — заключил Хоуксбенк с глубоким вздохом. — Что ж, тогда выскажусь яснее. Секрет, которым тебе не должно делиться ни с кем, находится не в этом ящике. Он покоится... нет, какое там покоится — он говорит сам за себя! Вот!

Флорентиец, уже успевший смекнуть, о каких именно тайных желаниях ведет речь высокородный Хоуксбенк, с должным почтением воззрился на внушительных размеров «предмет», который в окружении спутанного клубка влажных волос его превосходительство изволило

выложить прямо на столик. От него исходил слабый запах фенхеля, и больше всего он напоминал фирменную колбаску, именуемую *финоккьона*.

— Если вы оставите море и согласитесь поселиться в моем родном краю, — с серьезным видом произнес Уччелло, — то все ваши треволения останутся позади, поскольку есть много юных вельмож в Сан-Лоренцо, с которыми вы обретете желанное счастье. Я же, к величайшему сожалению...

— Допивай! — оборвал его побагровевший лицом Хоуксбенк, быстро приведя в порядок свою одежду. — Ни слова больше!

Флорентийцу не понравился недобрый огонек, появившийся в глазах лорда, — он бы предпочел, чтобы рука шотландца не находилась в столь опасной близости к эфесу шпаги. Губы Хоуксбенка улыбались, но улыбка скорее напоминала кровожадный оскал хищника.

Засим последовало долгое, тягостное молчание, и Уччелло понял, что жизнь его висит на волоске. Наконец Хоуксбенк одним глотком осушил свой бокал и с хриплым, неприятным смешком проговорил:

— Вот что, господин хороший: секрет мой вы знаете, а теперь извольте открыть мне ваш, ибо он у вас, без сомнения, имеется. Я подумал было, что он у нас с вами общий, но ошибся, так что теперь выкладывайте всё как есть, да побыстрее!

Человек, назвавшийся Уччелло ди Фиренце, попытался изменить направление разговора:

— Для меня было бы великой честью, сэ, услышать от вас рассказ о захвате груженного сокровищами галеона «Касафуэго». И потом, вы наверняка были с Дрейком во время битвы при Вальпараисо и Номбре-де-Диос, когда его ранили, — разве нет?

Хоуксбенк вместо ответа швырнул свой бокал об стену и с криком: «Говори правду, мерзавец, или умри!» — обнажил меч.

Флорентиец, тщательно подбирая слова, начал говорить:

— Как я теперь понял, я здесь для того, чтобы исполнять вашу волю. Однако, — поспешно продолжал он, почувствовав, как лезвие касается его горла, — в перспективе у меня действительно есть своя собственная цель, я, можно сказать, человек в поиске своего истинного предназначения, но более добавить не решусь. На моем секрете лежит заклятие самой могущественной чародейки наших дней. Есть только один человек на свете, который, услышав мою тайну, может остаться в живых. Я не желаю вам смерти и потому буду молчать.

Лорд Хоуксбенк снова рассмеялся, однако на сей раз в его смехе не было ничего утрашающего: гроза пронеслась мимо, и в небе засверкало

солнце.

— Ты смешишь меня, пташка! — проговорил он. — Неужели ты думаешь, что меня можно напутать проклятием какой-то безобразной ведьмы? Меня, который в День мертвецов на празднике вуду плясал с самим бароном Самеди^[11] и остался цел, несмотря на все его вопли! Ну нет, так просто ты от меня не отделаешься! Выкладывай свой секрет!

— Что ж, значит, так тому и быть. Жил-был однажды принц — искатель приключений. Одни звали его Аргалья, другие — Аркалья. Он слыл доблестным воином, обладал волшебным оружием и имел в услужении четырех великанов. И была при нем женщина по имени Анджелика...

— погоди, — молвил высокородный Хоуксбенк, хватаясь за виски. — От твоих бредней у меня разболелась голова... Ладно, продолжай, — через одну-две минуты сказал он.

— Анджелика была принцессой из рода Чингисхана и Тамерлана...

— погоди! Нет, говори!

— Прекраснейшая из прекрасных...

— замолчи! — прохрипел шотландец и, потеряв сознание, рухнул на пол.

— Наш путешественник, почти устыдившись той легкости, с какой ему удалось плеснуть лауданум в стакан благородного лорда, аккуратно вернул ящик с сокровищами в тайник, запахнул свой пестрый плащ и поспешил на палубу, взывая о помощи. Плащ он выиграл в карты у венецианского торговца бриллиантами, немало изумленного тем, что какой-то флорентиец, оказавшийся на Риальто, смог обставить его в местной игре «скарабочьон». Бородатого иудейского купца звали Шейлок. Плащ ему сшили по особому заказу в лучшей портняжной мастерской Венеции, под названием «Иль моро инвидиозо».^[12] Над дверью красовалась картинка с изображением зеленоглазого араба. Это был не просто плащ, а мечта любого мага, потому что подкладка его являла собой целый лабиринт потайных карманов, ложных складок и швов, в которых торговец бриллиантами мог прятать свой драгоценный товар от посторонних глаз, а новый счастливый обладатель мог использовать их для своих бесчисленных трюков.

— Друзья, поспешите! Ваш командир нуждается в помощи! — вскричал, выбегая на палубу, Уччелло, весьма убедительно при этом изображая тревогу.

Среди членов выдавшей виды пиратской команды, ныне преобразившейся в посольское сопровождение, нашлось много таких, которые с подозрением отнеслись к внезапному обмороку капитана, и их косые взгляды в сторону чужака навряд ли можно было счесть благожелательными, однако Уччелло ди Фиренце так сокрушался по поводу происшедшего, что сумел-таки заставить их поверить в его искренность. Он помог уложить находившегося в беспамятстве капитана на постель, снял с него одежду и облачил лорда в ночную рубашку; он прикладывал ко лбу заболевшего то холодные, то горячие компрессы; он сказал, что не станет ни спать, ни есть, пока сиятельный Хоуксбенк не придет в себя. Корабельный врач заявил во всеуслышание, что молодой человек — незаменимый ему помощник, после чего угрожающе придвинувшиеся было к Уччелло люди стали потихоньку расходиться.

Оставшись один на один с флорентийцем, врач признался ему, что внезапный обморок пациента ставит его в тупик.

— Насколько я могу судить, — сказал он, — слава Господу, капитан ничем не болен, только почему-то никак не проснется. Что ж, — меланхолично заключил он, — быть может, в этом недружелюбном мире лучше спать и видеть сны, нежели бодрствовать.

Врача, свидетеля многих кровопролитных сражений, прозвали Хоукинс Слава Господу. Добрый и простой, с весьма скудным багажом познаний в медицине, он исправно отрезал конечности, умело извлекал пули и зашивал раны после очередной рукопашной с испанцами, но справиться с поразившим капитана таинственным недугом, взявшимся неизвестно откуда, словно только что обнаруженный «заяц» или наказание Господне, оказалось ему не под силу. При Вальпараисо Хоукинс лишился левого глаза, при Номбре-де-Диос потерял половину ноги. Ночи напролет он распевал жалостливые португальские фады, обращенные к некоей девице на балконе в окрестностях Опорто. Он аккомпанировал сам себе на цыганской скрипочке и горько плакал. Уччелло без особого труда догадался, что при этом добряк доктор думал об оставленной дома супруге или возлюбленной и растревлял свою сердечную рану картинами того, как она, подвыпив, ублажает в постели не калек, а вполне здоровых мужчин: рыбаков, провонявших рыбой, похотливых францисканцев, которые, словно привидения, наводнили страну после первых конкистадоров, а также всех прочих, независимо от цвета кожи и происхождения: мулатов,

метисов, англичан, китайцев и евреев. «Одурманенный любовью себе уже не хозяин, обмануть такого будет нетрудно», — подумал Уччелло.

«Скатах» обогнула Африканский рог, прошла мимо острова Сокотра, пополнила продовольственные запасы и Маскате и, подгоняемая муссонным ветром, двинулась от персидских берегов на юго-восток, держа курс на порт Диу который португальцы называли земным раем, а доктор Хоукинс — Гузератом. Лорд Хоуксбенк меж тем продолжал мирно почивать.

— Его сон так безмятежен, — беспомощно вздыхал добряк Хоукинс. — Это доказывает, что совесть его чиста и по крайней мере душа его вполне здорова и готова к встрече с Создателем в любой момент.

— Не допусти Господь! — воскликнул Уччелло.

— Славься, Господь, и пока не забирай его от нас! — подхватил Хоукинс.

Во время их долгих бдений у постели больного Уччелло подробно расспрашивал доктора о его далекой португалке, и Хоукинс отвечал ему с большой охотой. Флорентиец терпеливо выслушивал восторженные гимны в честь ее очей, ее губ, груди и бедер, живота, зада и стройных ног. Он выучил наизусть все тайные (но теперь переставшие таковыми быть) ласкательные имена, которыми они наделяли друг друга в постели, он узнал, что она клялась любить его вечно.

— Она лгала, лгала! — рыдал доктор.

— Тебе это доподлинно известно? — спросил Уччелло, и когда добрейший Хоукинс Слава Господу, уныло повесив голову, проговорил: «Все это было так давно, а от меня осталась всего половина, так что уж лучше приготовить себя к самому худшему», — флорентиец сумел разогнать его печаль: — Брось горевать, Слава Господу! Лучше возблагодари Его, ибо ты грустишь напрасно. Лично я уверен, что она тебе верна и ждет тебя не дождется. У тебя не стало ноги? Ну и что? Это всего лишь значит, что всю освободившуюся ввиду отсутствия ноги любовь твоя женщина разделит меж другими частями тела. Нет одного глаза? Зато другим, здоровым, ты будешь с удвоенным жаром взирать на ту, что хранила тебе верность и любит тебя так же, как ты ее. Довольно причитать, Слава Господу! Спой веселую песню и перестань проливать слезы.

Утешая таким манером простака эскулапа и уверяя беднягу, что моряки будут горевать без его песен, флорентиец оставался один на один с впавшим в кому Хоуксбенком и ночь за ночью обследовал обшивку каюты в поисках тайников. Он рассудил, что человек, устроивший один тайник, вряд ли им ограничится, и оказался прав. К тому времени, когда на

горизонте замаячил порт Диу, он общипал высокородного Хоуксбенка как хороший повар — цыпленка. Он обнаружил семь тайников, и теперь все драгоценности вместе с деревянными коробочками и семь золотых слитков обрели новое место обитания в бесчисленных карманах плаща Шейлока, причем плащ по-прежнему казался легким как перышко: зеленоглазый араб из Венеции знал свое ремесло, и сколько драгоценных предметов ни пряталось в складках волшебного плаща, он выглядел невесомым. Что же касается «диковинок», то нашего воришку они не заинтересовали: флорентиец оставил их мирно дремать в своих гнездышках. «Пусть ими подкормятся другие пичуги», — решил он. Однако огромный улов не удовлетворил Уччелло, потому что главное сокровище пока еще не было им обнаружено. Уччелло старался не впадать в отчаяние. Судьба дала ему в руки величайший шанс, и он был просто обязан воспользоваться им! Где же это может находиться? Он обследовал уже все помещение, но безрезультатно: желанная вещь так и не нашлась. Черт возьми, неужто это сокровище заговорено и сделалось невидимо простым глазом?!

После краткой остановки в Диу судно взяло курс на Сурат, город, куда только что с карательной экспедицией наведалься сам Акбар и откуда лорд Хоуксбенк планировал двинуться к столице Великого Могола уже по суше.

В самую последнюю ночь перед прибытием в Сурат (превращенный разгневанным императором в дымящиеся руины), в то время как Хоукинс Слава Господу на палубе изливал в песнях свою душу перед упившейся вдрызг по случаю окончания долгого морского похода командой, находившийся в капитанской каюте флорентиец наконец обнаружил то, за чем охотился, — в восьмом тайнике, на один больше, чем священное число семь, на один больше, чем мог предположить любой бывалый вор. После этого Уччелло присоединился к остальным. Он пел, пил и веселился больше, чем кто-либо другой. Он обладал редкой способностью не спать сутками и потому в предрассветный час, никем не замеченный, воспользовался одной из шлюпок, добрался в ней до берега и исчез, словно фантом.

Он скрылся задолго до того, как Хоукинс Слава Господу поднял тревогу, обнаружив лорда Хоуксбенка из Хоуксбенка в его последней в этой жизни корабельной койке уже с посиневшими губами, навсегда освободившегося от мучительных желаний своей *финоккьоны*. Уччелло ди Фиренце перестал существовать, от него осталось лишь имя, которое он сбросил, как змея сбрасывает старую кожу. Зато у самого сердца безымянного путешественника теперь лежало бесценное сокровище — послание, начертанное рукою Елизаветы Тюдор и скрепленное ее личной

печатью, письмо королевы английской, которое должно было распахнуть перед ним заветные двери во дворец Великого Могола. Он стал послом королевы Англии.

На заре дворцы из красноватого песчаника...

На заре дворцы из красноватого песчаника в новом «граде победы» великого императора Акбара казались созданными из клубов багрового дыма. Большинство великих городов кажутся древними чуть ли не со дня своего основания, Сикри же всегда будет выглядеть как город-призрак. Когда солнце стояло в зените, тяжкий молот зноя бил по каменным плитам, отчего люди глохли, воздух дрожал, как перепуганный насмерть раб, а граница между здравым смыслом и бредом, между реальностью и вымыслом становилась зыбкой.

Сам император временами терял эту грань. Словно привидения, скользили по его покоям, будто играя в прятки, мелькали и пропадали из виду раджпутские князья и турецкие султаны. Одна из царственных особ вообще не существовала во плоти. Это была созданная воображением императора любимая жена. Он выдумал ее, как одинокие дети придумывают себе друзей, и, несмотря на наличие множества вполне реальных, хотя и бесшумно скользящих жен, склонен был считать привидениями именно этих, реальной же для него стала она, несуществующая. Он даже дал ей имя — Джодха, и ни одна живая душа не смела оспорить ее существование. В тиши женских покоев, в шелковых лабиринтах дворца ее влияние и власть крепили день ото дня. Тансен слагал в честь нее песни, в галерее искусств ее красота была запечатлена кистью живописцев и воспета в стихах поэтов.

Великий художник перс Абдус Самад самолично написал ее портрет. Он никогда не встречал ее, он творил по памяти, изобразив ее такой, какой она явилась ему во сне, и когда Акбар увидел его работу, то даже захолопал в ладоши — столь ослепительно прекрасно было ее лицо. «Она у тебя прямо как в жизни!» — воскликнул он. Абдус Самад вздохнул наконец свободно и перестал чувствовать себя так, будто его голова едва держится на плечах. После того как этот шедевр живописного искусства был выставлен на публичное обозрение в галерее, весь двор уверился, что Джодха и вправду существует.

Навратна,^[13] то есть все девять величайших талантов среди его приближенных, признали не только то, что она существует, но и то, что красотой, умом, грациозностью и мелодичностью голоса превосходит всех

прочих. «Ах, Акбар! Ах, Джодха-баи!^[14] Подобной любви еще не видел свет!»

Строительство города было завершено в срок, как раз к сорокалетию императора. Его строили тяжкие двенадцать лет, но долгое время Акбару казалось, будто город вырастает сам собой, как по волшебству. Его министр строго следил за тем, чтобы во время пребывания Его Величества в своей резиденции никаких строительных работ не производилось. Когда здесь находился император, замолкали молоты каменщиков, плотники не забивали гвоздей, а мастера-декораторы, художники, отделочники, резчики по дереву исчезали из виду. Тогда в городе должны были раздаваться лишь приглушенные, радующие сердце звуки. Слабый ветерок разносил отдаленный перезвон колоколов на ногах танцовщиц, журчание фонтанов и мелодии гения музыки Тансена. Слух императора услаждали поэтическими шедеврами; по вторникам в открытом павильоне шла неторопливая игра в шахматы — при этом в качестве шахматных фигур использовались девушки-рабыни, — а во второй половине дня в затененных покоях, под огромными колыхающимися опахалами, начинались игры любовные.

Томная атмосфера чувственности, царившая во всех дворцах, была не столько результатом жары, сколько следствием необычайно высокой сексуальной потенции правителя.

Правда, ни один город не состоит лишь из дворцов.

Под стенами дворцового ансамбля, возведенного на мощном монолите красного камня, ютился другой, реальный город из дерева и глины, навоза и кирпича. Здесь люди селились согласно своему происхождению и роду занятий. Одну улицу образовывали лавки торговцев серебром, на другой жили и трудились оружейники со своим громыхающим товаром, еще дальше шли дома и лавки тех, кто торговал тканями, одеждой, украшениями. С восточной стороны тесной колонией жили хинду, далее вдоль городских стен раскинулся квартал персов, затем — квартал выходцев с Алтая — туранцев, а за ним, вблизи пятничной мечети, располагались жилища мусульман, родившихся уже в Индии. Окрестности пестрели поместьями знати; вне дворцового комплекса находились также скрипториум — хранилище рукописей, слава о котором уже успела облететь весь мир, и два павильона: один музыкальный, второй — для танцевальных представлений. Жители «нижних» Сикри в большинстве своем не знали, что такое досуг, и, когда император возвращался из очередного похода и в действие вступал запрет на шум, людям начинало казаться, что их лишают возможности дышать. Из страха нарушить покой

владыки владык приходилось, перед тем как отрубить голову курице, вставлять ей в горло кляп. Возница, у которого скрипела телега, мог легко схлопотать кнут, а его крики боли могли повлечь за собой куда более суровое наказание; женщины во время родов зажимали себе рты, а зашедший на базар, где изъяснялись с помощью жестов, подумал бы, что попал к умалишенным. «Когда владыка в городе, мы все дуреем, — говорили люди, но, поскольку шпионов и доносчиков было не счесть, тут же поспешно добавляли: — От радости».

Люди глинобитного города доказывали свою любовь к императору, но делали это бессловесно, поскольку звук их голосов был под запретом. Когда же владыка отправлялся в очередной поход, на одно из бесчисленных (хотя неизменно победоносных) сражений — в Гуджарат, Раджастан, Кабул или Кашмир, — тюрьму молчания отпирали, и рокотали барабаны, и веселье било ключом, и люди наконец-то могли поделиться друг с другом всем тем, о чем не рассказывали месяцами.

Можно было крикнуть: «Я люблю тебя!», или «У меня мать умерла!», или «Если не отдашь мне долг, я тебе руки переломаю!», или «Я тоже тебя люблю, милая!».

К счастью обитателей «нижнего» города ратные заботы часто вынуждали владыку покидать свою резиденцию, и в его отсутствие шум и гам перенаселенных бедных кварталов вкупе с грохотом возобновленных строительных работ терзал слух обитательниц женской дворцовой половины. Бедняжки, они ничего не могли с этим поделать! Они жались друг к другу, возлежав на постелях, и тихо стенали, однако то, как и чем именно они пытались отвлечь и развлечь себя за плотными занавесями, мы здесь описывать не будем. Незапятнанной и чистой помыслами оставалась лишь одна из жен владыки — та, которая жила в его воображении. Это она поведала Акбару о тех неудобствах, которые терпят его подданные из-за ретивых чинуш, стремящихся любыми средствами сохранить покой императора. Узнав об этом, Акбар немедленно отменил приказ, заменил жестокого министра общественных работ на более мягкосердечного и велел пронести себя по улицам, возглашая при этом: «Шумите и кричите, люди, сколько душа пожелает! Шум — знак жизни, а громкий шум — признак того, что жизнь — хорошая штука. Успеем намолчатся, когда смерть придет». Город взорвался радостными криками. В этот день все поняли, что их император не похож на прежних и теперь все пойдет по-иному.

В стране наконец-то настал мир, но душе императора покой был неведом. Он только что вернулся из похода. Он задавил мятеж в Сурате, но и на марше, и во время боя философские и языковые проблемы занимали его ум наряду со стратегическими. Император Абул-Фатх Джелаль-ад-дин Мухаммад, царь царей, которого с детства так и звали — Акбар, то есть «великий», а впоследствии стали, презрев явную тавтологию, именовать Великий Акбар, то есть великий вдвойне, величайший из великих, настолько великий, что удвоение эпитета почиталось не только уместным, но и совершенно необходимым, дабы с наибольшей полнотой выразить величие его славы; Великий Могол, запорошенный дорожной пылью, закаленный в битвах, непобедимый и меланхоличный, начинающий полнеть и длинноусый, разочарованный и поэтичный, наделенный невероятной мужской силой обладатель абсолютной власти; тот, который был столь великолепен, столь всемогущ, что с трудом верилось, как все это могло сочетаться в одном человеке, — этот правитель, словно неудержимый потоп, поглощающий одно за другим царства и части света, этот многоглавый монстр, говорящий о себе во множественном числе, во время долгого, однообразного пути домой и компании множества отрубленных голов поверженных врагов в наглухо запечатанных кувшинах предавался размышлениям о соблазнительных возможностях, которые представляет употребление формы первого лица единственного числа, то есть местоимения «я».

Монотонные и тягучие дни путешествия по суше располагают человека соответствующего темперамента к неторопливым размышлениям на самые разнообразные, не связанные между собою темы, и Великий Могол на обратном пути к столице думал об изменчивости мира, о величине звезд, о грудях своих жен и о природе Господа. Ныне же предметом его размышлений явилась проблема грамматическая, а именно употребление личных местоимений первого, второго и третьего лица единственного и множественного числа и их соотношение с личностью как таковой. Сам Акбар никогда — ни в мыслях, ни во сне — не говорил о себе «я». По отношению к себе он всегда употреблял «мы» — иначе и быть не могло. Император был воплощенное «мы»: произнося «мы», он твердо и вполне искренне был убежден, что вмещает в себе все народы, все города и земли свои, все горы, долины, реки и озера, все растения — словом, все, что жило и дышало в пределах его царства, включая птиц, кусачих комаров

и безымянных гадов, затаившихся под землей и расшатывающих основы вселенной. Он являл собой воплощение и итог всех побед,местилище всех качеств, способностей, жизненного опыта и, пожалуй, даже душ своих поверженных или временно усмиренных врагов. Кроме того, он был убежден, что в его особе заключено прошлое и настоящее народа и в ней же залог его будущего.

«Мы» — только так и следует называть себя государю. Однако чисто умозрительно, а также справедливости ради можно предположить, что простые смертные, думая о себе, тоже употребляют форму множественного числа. Неправы ли они? Или — о предательская мысль! — неправ он сам? Быть может, представление индивидуума о себе как о члене некоего сообщества, по сути дела, и означает реальное существование в мире, пребывание среди себе подобных как часть бытия вообще. Может стать, употребление по отношению к себе формы личного местоимения во множественном числе вовсе не является прерогативой государя, его священным, исключительным правом? Можно ведь предположить далее, что поскольку качества монарха — пусть даже в менее рафинированной, примитивной форме, — словно в зеркале, находят отражение в мыслях его подданных, то это неизбежно должно было привести к тому, что как мужская, так и женская части его народа тоже иногда говорят о себе «мы». Возможно, они употребляют это местоимение, подразумевая себя, своих детей, матерей и теток, своих братьев по вере, знакомых или друзей. Как и он, эти люди соединяют в себе множество «я». Человек может думать о себе как об отце семейства и в то же время являться сыном для тех, кто произвел на свет его самого; с хозяином он будет не таким, как у себя дома с женой. Короче говоря, каждый человек не что иное, как мешок, набитый разнообразными «я», точно так же, как и он сам. Тогда выходит, что между правителем и его подданными особой разницы нет?

И тут заинтересовавшая его первоначально лингвистическая проблема неожиданно предстала перед ним в новом, пугающем варианте: если люди, которыми он правит, все же предпочитают, говоря о себе, употреблять местоимение первого лица в единственном числе, то, возможно, и он сам вправе говорить о себе «я»? Быть может, это «я» и обозначает отдельного индивидуума, отличного от прочих? Быть может, именно это неприкрытое, единичное «я» и есть ядро, затоптанное в мире бесчисленными «мы»?

Вопрос напугал его всерьез. Не знающий страха и поражений и, что греха таить, довольно тучный, он скакал па белом коне, направляясь домой, но от собственного вопроса ему стало не по себе. Той ночью проблема «я» не дала ему уснуть. Что он скажет Джодхе при встрече? И если он скажет

«это я» или «я вернулся», ответит ли она ему, употребив интимно-фамильярную форму, то самое «ты», которое обычно употребляют при обращении к детям, возлюбленным или богам? И что тогда это будет означать? Что он для нее как дитя или как бог или он просто желанный возлюбленный, которого она создала силой своего воображения, подобно тому как создал ее он сам? Может статься, это малюсенькое словечко и является самым трогательным и самым возбуждающим словом в языке. *«Я, — робко, едва слышно прошептал он. — Я здесь. Я люблю тебя. Иди ко мне».*

На обратном пути его ждало еще одно, последнее, военное предприятие. Следовало примерно наказать некоего возомнившего о себе невесть что князька. Раздавить упряма — правителя Кучх-Нахина, что на полуострове Катиявар. Правитель был молод, слишком говорлив, к тому же обладал великолепными усами (усы были гордостью императора, и он не желал иметь соперников по этой части). Глупый князек почему-то обожал говорить о свободе. «Свобода — для кого и от чего? — возмущался про себя Акбар. — Свобода — это сказка для детей, это забава для женщин. Ни один человек на земле не свободен».

Под прикрытием белесых деревьев лесного массива Гир полки Акбара бесшумно, словно чума, подобралась к самым стенам жалкой крепости Кучх-Нахин, и ее защитники, угадав во внезапном треске ломающихся деревьев приближение смертного часа, сами снесли укрепления, выкинули белый флаг и стали молить о милосердии. Вместо того чтобы казнить побежденного противника, император частенько забирал его дочь себе в жены, а побежденному тестю предоставлял какую-нибудь должность при дворе, справедливо полагая, что врага лучше сделать родственником, нежели гниющим трупом. На сей раз, однако, он в ярости выдрал наглому красавчику усы и изрубил его на куски. Он сделал это самолично, своим собственным мечом, как наверняка сделал бы его дед, после чего, весь дрожа, терзаясь угрызениями совести, удалился к себе в шатер.

У императора были большие с прищуром глаза, как у юной мечтательницы или у моряка, жаждущего увидеть землю, они всегда были устремлены куда-то вдаль. Припухлые, по-женски чувственные губы были сложены в капризную гримасу. Правда, несмотря на женственные черты лица, он был мужчиной в превосходной степени, с могучим, крепким телом. Совсем мальчиком он задушил тигрицу голыми руками, но, придя в смятение от своего поступка, поклялся никогда в жизни не есть мяса и стал вегетарианцем. Травоядный мусульманин, воитель, мечтавший о мире,

император-философ... Одним словом, клубок противоречий. Таков он был, этот величайший правитель, которого когда-либо знал мир.

На никому не нужные мертвые тела, на залитую кровью, разрушенную крепость опустилась ночь. Внизу, в долине, Акбар, сидя в своем разубранном шатре, под журчавшие, словно ручеек, соловьиные трели, как всегда после кровопролитного сражения, предавался черной меланхолии и горько сокрушался по поводу своего личного генеалогического древа. Он не хотел, ну никак не хотел походить на своих кровожадных предков. Их имена — имена грабителей и захватчиков — угнетали его. Его собственное имя принесло к нему с каскадами человеческой крови. Дед его Бабур был воитель родом из Ферганы. Он покорил Хиндустан, но терпеть не мог это новое свое владение, где всегда было слишком много всего — слишком много богатств и слишком много богов... Бабур был машиной для уничтожения с удивительным даром красноречия; до Бабура в роду Акбара были правители из Трансоксании^[15] и Монголии. Самым известным среди них был Темучин, он же Чингисхан, которому Акбар был обязан тем, что прозывался также «могол» или «монгол», каковым себя не желал чувствовать. Он ощущал себя... хиндустанцем. Его «орда» никогда не была ни Золотой, ни Голубой, ни Белой. Само это слово, орда, резало ему слух, казалось неприятным, грубым, как свинячье хрюканье. Он не желал иметь в своем подчинении орду; не хотел заливать глазницы врагов расплавленным серебром или расплющивать их в лепешку тяжелым помостом и пировать на нем с соратниками. Он устал от войн. Ему вспомнилось, как первый его наставник, перс Мир, говорил ему о том, что человек, желающий быть в согласии с самим собою, должен научиться жить в мире с другими. «Сулх-и-кул — глубокий покой», — твердил он. Ни один хан не понял бы его. Но ему, Акбару, не нужно ханства. Ему нужна просто его страна.

Темучин был далеко не единственным среди его предков, кто не знал пощады. Своим появлением на свет он был обязан Тимуру, которого прозвали Железная Нога. Этот Тимур, или Тамерлан, разрушил до основания Дамаск и Багдад и оставил от Дели руины, населенные пятьюдесятью тысячами духов убиенных. Нет, Акбар определенно предпочел бы иметь других предков. Он давно перестал говорить на *чагатае*, языке, названном в честь одного из сыновей Чингисхана, и сначала изъяснялся на фарси, а затем стал пользоваться языком-ублюдком, рожденным и выросшим в армейской среде, — урду. В нем смешалось около дюжины самых разных говоров; из скрежета и свиста, ко всеобщему изумлению, возник красивейший и благозвучнейший язык — язык поэзии.

Смуглокожий правитель Кучх-Нахина был строен и очень молод. Его лишенное усов, ободранное лицо заливала кровь. Он опустился на колени перед Акбаром и замер в ожидании рокового удара.

— История повторяется, — еле выговорил он. — Семьдесят лет назад твой дед убил моего.

— Наш дед, — молвил Акбар, привычно употребляя множественное число первого лица (сейчас было не время экспериментировать — еще не хватало, чтобы свидетелем эксперимента стало это ничтожество!) — был варваром, который умел говорить, как поэт. Мы же, напротив, поэт с варварским прошлым и со своей, присущей варвару, ратной долей, но она внушает нам отвращение. Это как раз доказывает, что история не знает повторений: она движется вперед, и человек меняется тоже.

— Странно слышать такое от палача, — тихо произнес юный правитель, — хотя что толку спорить, когда перед тобой сама Смерть.

— Да, твой час пробил, — холодно согласился император. — Но прежде чем умереть, скажи честно: каким тебе видится рай — там, по ту сторону занавеса?

Князь поднял обезображенное лицо и взглянул прямо в глаза Акбару:

— В раю «почитание» и «несогласие» не противоречат друг другу. Всевышний не тиран. В обители Господа каждый свободно может выражать свои мысли, это способ почитания.

«Щенок, зазнайка, воображает, что умнее всех», — с раздражением подумал Акбар, но слова князька нашли отклик в его душе.

— Обещаем построить особый храм для такого рода почитания, — сказал он и с возгласом «Аллах акбар!», что могло означать «Аллах велик» или же «Акбар Всемогущий», отрубил жалкому прыщу его наглуую, неговорчивую и и миг ставшую абсолютно никчемной голову.

После убийства князька, как всегда в подобных случаях, Акбара посетил знакомый демон одиночества. Всякий раз, когда кто-нибудь смел говорить с ним как с равным, Акбар впадал в бешенство. Он понимал, что это нехорошо: гнев правителя — его недостаток, гневливый правитель все одно что ошибающийся бог. Одно из главных противоречий его природы в том и заключалось, что он, будучи не только философствующим и плачущим убийцей, но еще и эгоцентриком, привыкшим к раболепию и лести, тем не менее тосковал по совсем иному миру, такому, где он мог бы встретить равного себе, родственную душу, брата по разуму, человека, с которым можно было бы делиться мыслями, обмениваться знаниями, испытывая и даря радость общения; он мечтал о таком устройстве мира, при котором можно было бы одержать над противником верх не

посредством кровавой расправы, но способом более приятным, хотя и требующим напряжения всех умственных сил, — то есть в ходе диспута. Существует ли такой миропорядок и можно ли найти к нему дорогу? — спрашивал себя император. Существует ли на свете равный ему человек? Может статься, убитый князек с отодранными усами как раз и был тем самым человеком. Неужто он сейчас убил единственного, кто мог бы сделаться его задушевным другом? Под влиянием выпитого вина мысли Акбара становились все более сбивчивыми и сентиментальными, и на глаза навернулись пьяные слезы. Какой путь избрать, чтобы добиться желаемого — стать по-настоящему Акбаром?

Говорить было не с кем. Своего личного слугу, глухого Бхактирама Джайна, он прогнал прочь, чтобы никто не мешал ему пить. Глухой слуга хорош тем, что не слышит, о чем бормочет его пьяный господин, однако Бхактирам научился читать по губам, и это обесценило его; он теперь мог продать его, как и всякий другой.

Шептались, что владыка безумен. Об этом твердили все: его солдаты, его слуги, его жены. И Бхактирам, возможно, говорил за его спиной то же самое. Разумеется, в лицо это ему не смел бросить никто: он, словно сказочный герой, был огромного роста, он был доблестным воином, и коли такой человек предпочитал слыть чуть-чуть не в себе, то это его, императорское, дело. Император, однако, не был помешанным. Просто он был недоволен самим собой. Он изо всех сил пытался найти себя.

Ладно, он выполнит обещание, данное им князьку Кучх-Нахина, — воздвигнет новый храм, который станет местом для диспутов, где каждый будет иметь право высказывать свои мысли на любую тему, включая такие, как существование Всевышнего и необходимость императорской власти. Возможно, в этом новом храме он научится терпимости. Нет, не то чтобы заново научиться, а постарается реализовать ту терпимость, которая — он это чувствовал — и без того была органически ему присуща, только спрятана глубоко в сердце. Тот смиренный Акбар, порожденный детскими годами, проведенными в изгнании, наверное, лучшее из всех его «я». Под внешними символами власти в нем еще наверняка жив Акбар-ребенок, чье детство прошло не под знаком побед, но под знаком неудач. Неудачником был его отец. Неудача носила имя Хумаюн.

Он не хотел вспоминать об отце. Тот слишком любил опиум, потерял империю и вернул себе власть лишь после того, как прикинулся шиитом (и вдобавок передал владыке Персии знаменитый алмаз Кох-и-Нор), чтобы ему дали войско, но почти сразу после возвращения к власти умер, упав с

лестницы в дворцовой библиотеке.

Акбар никогда не видел своего отца. Он родился в Синде, после поражения Хумаюна в битве при Чаусе, когда царская власть, которая по праву принадлежала Хумаюну, по к которой он оказался непригоден, оказалась в руках Шер-шаха Сури. Бросив сына, лишившийся трона отец ретировался в Персию. *Подумать только: оставить на произвол судьбы своего годовалого сына!* Допустить, чтобы его нашел и взял на воспитание брат и заклятый враг Хумаюна — дядя Аскари из Кандагара, беспощадный Аскари, который задушил бы его собственными руками, если бы смог добраться до него, но добраться до него он не смог, ибо рядом с ребенком всегда была жена Аскари. Акбар остался в живых потому, что так решила его тетка.

Там, в Кандагаре, он и освоил науку выживания и борьбы, научился тому, как убивать и выслеживать добычу; научился — хотя никто его не учил — и многому другому, например, что следует надеяться лишь на собственные силы, что следует держать язык за зубами и не говорить лишнего, иначе тебя запросто могут убить. Там и тогда он понял, что такое потеря и как, даже потеряв всё, можно сохранить достоинство; понял и то, как иногда полезно для души признать свое поражение; там и тогда он приобрел умение вовремя отступить, не попадаться в капкан собственных желаний, как бы сильны они ни были; там и тогда он узнал, что такое быть покинутым вообще и родным отцом в частности; там он понял, что бывают никчемные отцы и никому не нужные дети. Там же, в Кандагаре, он научился самым действенным способам, к которым прибегает слабый для защиты от того, кто старше и сильнее: научился скрытности, предусмотрительности, хитрости, смирению, а также умению видеть не только то, что перед тобой, но и то, что вокруг, то есть выработал периферическое зрение.

Таковы были его уроки — уроки уничижения, от которого нередко начинается путь к величию.

Были, однако, и такие вещи, которым никто его не учил и которые он так и не освоил.

— Мы император Хиндустана, но до сих пор не умеем написать свое имя, Бхактирам! — громыхал он на рассвете, пока глухой Джайн омывал его.

— Да, о благословенное целое, отец множества сыновей, супруг сонма жен, опора вселенной! — откликнулся Бхактирам, передавая господину полотенце.

Время императорского утреннего туалета являлось также временем

императорского прославления. Бхактирам с гордостью носил звание льстеца высшей категории и был мастером витиеватого славословия старой школы. Для этого требовалась исключительная память, дабы изощренные, но по возможности короткие восхваления могли дать желаемый эффект. Из-за бесконечных повторений требовалось строго выдерживать последовательность при перечислении всех императорских достоинств. Память у Бхактирама была великолепной и никогда его не подводила. Он мог славить часами.

В воде купели Акбар увидел свое отражение. Лицо было свирепым, как у вестника смерти.

— Мы, император Хиндустана, — вскричал он, — не можем прочитать собственные законы! Что ты скажешь на это, Бхактирам?

— О да, справедливейший из судей, отец множества сыновей, супруг сонма жен, владыка мира, опора вселенной и устроитель всего сущего! — нараспев произнес Бхактирам.

— Мы — чистое сияние, мы — светило Хиндустана и солнце славы, — заговорил Акбар, который и сам знал толк в славословии, — и тем не менее юные лета мы провели в вонючей дыре, в Кандагаре, где мужчины совокупляются с женщинами, чтобы делать мальчиков, и с мальчиками — чтобы делать из них мужчин; где нам пришлось день и ночь быть настороже, потому что на тебя могли напасть сзади с такой же долей вероятности, с какой и изрубить в открытом поединке.

— Да, о слепящий свет, отец множества сыновей, супруг сонма жен, владыка мира, правитель всех живущих, всеустроитель, чистое сияние и светило Хиндустана!

Глухота глухотой, но намеки Бхактирам ловил на лету.

— Скажи, Бхактирам, разве в таком окружении следовало расти будущему монарху? — гневно продолжал Акбар, чуть не перевернув купель. — Разве допустимо, чтобы наследник был таким, как мы, — неграмотным, с повадками звереныша, постоянно опасаящимся за свою задницу?

— Да, о да, мудрейший из мудрых, отец множества сыновей, супруг сонма жен, владыка мира, опора вселенной, правитель всего живого, средоточие жизни, чистое сияние, светило Хиндустана, солнце славы, господин людских душ и вершитель судеб!

— Ты лишь притворяешься, будто не понимаешь по губам! — зарычал император.

— Да, о прозорливейший из пророков, отец множества..

— Старый козел! Давно пора перерезать тебе горло и поджарить на

вертеле!

- Да, о милосерднейший, отец...
- Не иначе твоя мать зачала тебя с боровом!
- Да, о красноречивейший, о...
- Перестань. Нам уже лучше. Ладно, живи себе.

И вот снова перед ним его Сикри, колышущийся в знойном воздухе...

И вот снова перед ним его Сикри, колышущийся в знойном воздухе, словно опиумный мираж, и шелковые занавеси окон красного дворца, будто знамена, полощатся на ветру. Здесь, где приседают и распускают веера хвостов павлины, где перед ним танцуют девушки, его истинный дом. Раздираемый раздорами мир есть реальность, но его Сикри — прекрасная сказка. Император спешил в Сикри, как курильщик опиума — к своей заветной трубке. Здесь он был магом-волшебником. Здесь он создавал свой собственный мир, где будто бы не существовало различий по вере, по положению и происхождению. Самые прекрасные женщины жили в его дворцах, и все принадлежали ему одному. Талантливейшие люди страны были собраны здесь, и среди них — Девять Жемчужин, Девять Звезд — самые что ни на есть блистательные, их присутствие дает ему неограниченные возможности. С их помощью он, как по волшебству, заново создает мир, эту землю и ее будущее, самую вечность. С такими, как у него, помощниками, он станет императором-магом, он преобразует реальность. Напевы Тансена распахнут врата рая, и небесные силы снизойдут на землю. Стихи Файзи проложат себе дорогу в сердца и умы, и тогда каждый будет различать, где свет и где тьма. Со стратегическим умом его полководца раджи Мана Сингха, с финансовым гением раджи Тодара Мала его империи ничто не страшно. И есть еще Бирбал — лучший из девяти, лучший из лучших, его первый министр и верный друг.

Первый министр и остроумнейший человек своего времени Бирбал встречал императора возле Слоновой башни.

— Можно задать тебе всего один вопрос, Бирбал? — спросил Акбар спешившись. — Он всю дорогу не давал мне покоя.

Первый остроумец империи смиренно склонился перед владыкой:

— Ваша воля — закон, о Джаханпана. [\[16\]](#)

— Тогда скажи: что было сначала — курица или яйцо?

— Курица, — не раздумывая ответил Бирбал.

— Ты в этом уверен? — изумился Акбар.

— Я обещал Вашему Величеству ответить всего на один вопрос.

Первый министр и император стояли на крепостной стене. Высоко в небе кружили стаи ворон.

— Как думаешь, сколько ворон в моем царстве? — спросил Акбар.

— Ровно девяносто девять тысяч девятьсот девяносто, — немедленно отозвался Бирбал.

— А если мы пересчитаем и окажется, что их больше? — поинтересовался император.

— Значит, у наших ворон гостиют соседи.

— А если их будет меньше?

— Значит, наши вороны отравились мир посмотреть.

Во время торжественного приема к императору подвели гостя, им оказался иезуитский священник, отец Джозеф, прославившийся знанием множества языков и наречий. Он мог свободно изъясняться на нескольких десятках языков и, будучи представленным Акбару, предложил императору угадать, какой из многих является его родным. Пока Акбар ломал над этим голову, первый министр незаметно подкрался к иезуиту и неожиданно дал ему пинка под зад. Священник разразился цветистой бранью, и не на португальском, как можно было предположить, а на итальянском.

— Видите ли, Джаханпана, — заметил Бирбал, — когда человеку требуется отвести душу и выругаться, он всегда делает это на родном языке.

— Будь ты безбожником, что ты мог бы сказать верующим? — спросил однажды Бирбала император.

Бирбал, высокородный брахман из Тривикрампура, без колебаний ответил:

— Я бы сказал, что они сами такие же безбожники, как я, просто у меня на одного бога меньше, чем у каждого из них.

— Это как?

— А вот как: любой верующий приведет массу веских оснований для неприятия всех прочих божеств, кроме своего, и именно эти веские основания дают мне право утверждать, что никаких богов нет вообще.

В другой раз первый министр и его господин находились в Кхвабче — Дворце сновидений. Они смотрели на гладкую поверхность Ануп-Талао — Несравненного водоема, устроенного лишь для одного человека — самого Акбара. Говорили, что перед каким-либо бедствием его волнующиеся воды предупреждают императора об опасности.

— Как ты знаешь, Бирбал, самая любимая из наших жен имеет несчастье не существовать во плоти. Несмотря на то что мы любим ее больше прочих, ценим ее превыше утраченного Кох-и-Нора, она

безутешна. «Самая сварливая, самая скандальная из твоих жен, — говорит она, — существо из плоти и крови, и в самом конце победа останется за ней, а не за мною».

— Тебе следует сказать ей на это, — посоветовал Бирбал, — что именно в самом конце ее превосходство станет очевидно всем, ибо в самом конце, когда все другие твои жены тоже перестанут быть, она останется единственной твоей любовью, и слава о ней будет жить в веках. Таким образом, хотя можно признать, что в действительности ее и не существует, она и есть самая что ни на есть живая. Посмотри-ка вон на то высокое окно. Кто, если не она, и нетерпению ждет возле него твоего возвращения?

Другие жены Джодху ненавидели: как мог император пренебрегать ими, реальными, ради нее, несуществующей?! В любом случае ей следовало исчезать хотя бы на время его отсутствия, а не маячить тут и там, рядом с теми, кто из плоти и крови. Пусть бы растворилась в воздухе, скрылась в зеркале, стала тенью, как это принято у привидений.

Однако она и не думала исчезать, и эта ее непоследовательность была вполне в духе призраков. Откуда она могла получить представление о хороших манерах, раз ее этому никто не учил? Она была невежей, ничтожеством и заслуживала презрения. Жены шипели, что император слепил ее, используя их в качестве исходного материала. Он утверждал, будто она дочь раджи Джодхпура, но это не так! Одна из цариц и вправду была из джодхпурского царского дома, только она была не дочерью, а сестрой раджи! Господин твердо верил, что именно его выдуманная возлюбленная родила ему первенца, долгожданного сына, зачатого с благословения одного святого человека, того самого, вблизи горной обители которого и был возведен этот город. Только и это противоречило истине, как не уставала объяснять всем его настоящая мать, принцесса Хира Кунвари, больше известная под именем Мириам уз-Замани, дочь амберского раджи Бихармала из рода Качхвахов.

От одной из жен воображаемая и самая любимая супруга взяла красоту, от другой — веру, от третьей — несметные богатства. Однако характер император придумал ей сам. В бескорыстии, во внимании к малейшему желанию господина, в готовности отдать себя в его распоряжение в любое время дня и ночи ей не было равных среди

живущих. Она была нереальна и совершенна — какой бывает только мечта. Жены опасались ее, потому что понимали: она безупречна и потому непобедима, и император всегда будет любить ее больше всех. Они ненавидели ее и с наслаждением убили бы, но покуда он не пресытился ею или не умер, она все равно будет существовать. Мысль о смерти императора была довольно соблазнительна, однако пока жены не рассматривали ее всерьез. До сих пор они таили обиду, но громко не роптали. Про себя каждая из них полагала, что император лишился рассудка, но благоразумно никогда не произносила ничего подобного вслух. Во время его отлучек, когда он скакал по горам и лесам и убивал людей, жены старались ее не тревожить, даже имя ее — Джодха, Джодха-баи — никогда не произносили. Она бродила по дворцовым покоем в полном одиночестве. Ею была тень, мелькнувшая сквозь узорчатую каменную решетку окна; ею был подхваченный ветром край одежды... По ночам она стояла в маленькой башенке на крыше главного дворца, Панч-Махала, и всматривалась в даль, в ожидании того, кто дал ей жизнь.

Еще задолго до взбудоражившего столицу появления в Фатехпур-Сикри златовласого вруна из далеких земель с его неправдоподобными историями о чародейках и заклятиях Джодха знала, что ее сиятельный супруг унаследовал от своих предков дар колдовства. Чингисхан, как всем было хорошо известно, был некромант, приносил в жертву животных, использовал всякие зелья и с помощью черной магии сумел оставить после себя сотни тысяч детей. Все знали и о том, как Тимур сжег Коран и, покончив с завоеванием земли, строил планы добраться до звезд и покорить небеса. Все слышали историю о Бабуре, который спас своего сына Хумаюна тем, что очертил вокруг его смертного одра магический круг, выманил из него Смерть и заставил ее вместо мальчика взять себя. Все они водили дружбу с Сатаной и со Смертью, так что не было ничего удивительного в том, что и ее господин на равных общался с силами потустороннего мира. Само ее существование — яркое тому подтверждение.

Сделать фантазию реальностью — прерогатива Господа, такое не может совершить простой смертный. Это прямое посягательство на Его право. В те времена Сикри был наводнен поэтами, музыкантами и

художниками. Кривляющиеся эгоцентрики, они все как один претендовали на гениальность и возглашали, будто умеют создавать прекрасное из ничего, и все же ни один скульптор, ни один поэт, ни один живописец — никто не сумел создать до сих пор такое чудо, как ее император, ее Совершенный Муж. При дворе вечно толпилось также множество чужестранцев, среди них мелькали напомаженные чудные лица вельмож, задубевшие на ветру физиономии купцов и постные физиономии священнослужителей. Все они на разных, но одинаково неблагозвучных языках наперебой расхваливали свои края, своих богов, своих царей. Из высокого окна она через узорчатую каменную решетку смотрела вниз, где на огромной, обнесенной стеною площадке для официальных приемов расхаживали, раздуваясь от важности, эти странные, неприятные люди. Император как-то показал ей привезенные ими в подарок картины с изображением тамошних гор и долин, а ей вспомнились Гималаи и Кашмир, и она громко рассмеялась — настолько забавными показались ей выпренные описания иноземных природных красот — всех этих «ваалов» и «аальп». «Полуслова для обозначения невзрачных полувещей», — подумала Джодха. В их краях правители — дикари, и своего бога они прибили гвоздями к дереву. Разве у нее могло быть хоть что-то общее со всеми этими возмутительными людьми?! Разумеется, нет.

Истории, которые они рассказывали, не казались ей занимательными. Одну из них она услышала от императора. В ней говорилось о том, как в древности какой-то греческий скульптор вдохнул жизнь в статую, а после влюбился в нее. История эта завершилась печально, да и вообще это была детская сказочка, она не шла ни в какое сравнение с ее вполне осязаемым существованием. Всё очень просто: она *присутствует здесь и сейчас*. Лишь один-единственный человек мог совершить подобное чудо — сотворить ее усилием воли.

Нет, Джодху чужестранцы несколько не интересовали, зато они поражали воображение ее супруга. Что, собственно, влекло их в дальние страны? Что искали они? Похоже, не то, что могло пригодиться им в реальной жизни. Будь у них хоть капля здравого смысла, они бы поняли, насколько бесполезны странствия. Путешествие — никчемное, пустое занятие. Оно удаляет тебя от места, где твое существование имеет смысл и которое, в свою очередь, имеет для тебя определенную значимость, ибо ты отдаешь ему себя и свои силы, и приводит в волшебные края, где ты, по сути, никто, да и вид имеешь донельзя глупый.

Именно так оно и есть: Сикри для них такая же диковина, как для нее их Англия и Португалия, Голландия или Франция. Понять и представить,

что являют собою эти страны, она неспособна. Мир такой разный! «Они для нас и мы для них нереальны, как сновидения», — сказал ей однажды Акбар. Она любила сиятельного супруга, кроме прочих достоинств также и за то, что он всегда внимательно выслушивал ее, а не отмахивался, как от надоедливой мухи.

«Ты только представь, Джодха, — сказал он ей однажды, когда они коротали вечер за картами, — что, если бы было возможно проникнуть в мечты другого человека, изменить их, а взамен набраться мужества и дать ему доступ к своим? Что, если весь мир станет овеществленной мечтой?» Когда он произносил такие фразы, она не решалась назвать его фантазером, потому что кем как не овеществленной мечтой была она сама? Джодха никогда не покидала дворцовый комплекс, где она появилась на свет десять лет назад, где была сотворена сразу взрослой, сотворена человеком, который не только ее создал, но и стал ее возлюбленным. Она его творение, его жена. Она была почти уверена: стоит ей выйти за дворцовые стены, как чары утратят силу и она перестанет жить. Возможно, ей и удалось бы уцелеть, будь рядом он: его непоколебимая вера придала бы ей сил, — в ином случае у нее нет шансов на спасение. К счастью, у нее не возникало ни малейшего желания покидать дворцовые покои. Нескончаемые крытые и занавешенные галереи, переходы, соединявшие все дворцы в одно целое, вполне удовлетворяли ее потребность к странствиям. Здесь была ее собственная маленькая вселенная, она не знала, что такое страсть к покорению чужих территорий. Пускай остальной мир живет как ему хочется, с нее довольно и этого обнесенного крепостными стенами обширного каменного квадрата.

Она была женщиной без прошлого, без жизненных вех, — вернее сказать, у нее имелись лишь такие, которыми пожелал наделить ее тот, кто ее создал, да и они, как злобно утверждали другие жены, были украдены у других. Вопрос о том, насколько она независима в своем бытии, если таковое у нее имеется, занимал ее постоянно, он требовал ответа. Неужели если Создатель отвернется от сотворенного им человека, то человек просто перестанет существовать? Сложный, можно сказать, глобальный вопрос. Джодху же больше волновало ее собственное положение. Например, обладает ли она свободой воли или целиком зависима от того, чья воля ее породила? И существует ли она лишь вследствие его упрямого нежелания сомневаться в возможности ее существования? И будет ли она продолжать жить, если он умрет?

Джодха вдруг почувствовала прилив жизненных сил. Вот-вот должно было что-то произойти. Смутные страхи исчезли. Он! Он идет!

Император вступил во дворец. Всем существом ощущала она его жадное предвкушение встречи. Да, вот-вот что-то случится. Его шаги отдавались эхом у нее в крови. Он подходил все ближе, и в ней, словно в зеркале, росло его отражение. Да, Джодха была его зеркальным отражением, потому что именно он ее сотворил, но вместе с тем она жила сама по себе. Да, акт творения уже свершился, и теперь она может существовать как и все, сама по себе, — в тех пределах и с теми качествами, которые заложены в нее создателем, и поступать согласно своей природе. О, какой сильной, полнокровной, яростно желающей всего на свете ощутила она себя! Власть императора над нею далеко не безгранична, ей нужно лишь выразить вслух то, что она думает, и сейчас, как никогда прежде, она к этому готова. Решено: она проявит характер, она не будет смиренной и покорной. Он не любит покорных и смиренных женщин.

Разумеется, поначалу она воздержится от нападков, будет мягкой и трепетно-нежной. Скажет: «Как ты мог оставить меня на столь долгий срок, оставить одну? Ведь все то время мне приходилось разбираться во множестве мелких интриг. Здесь никому нельзя верить и ничему нельзя доверять. Здесь сами стены шепчутся о тайных заговорах». Она справилась, она хранила мир и покой во дворце до дня его возвращения, раскрывая мелкие, корыстные уловки слуг, изгоняя прилепившихся к стенам, подглядывающих и подслушивающих гекконов, заставляя умолкнуть заговорщически шуршащих мышей. И все это ей приходилось делать в то время, когда она слабела день ото дня, когда сама борьба — борьба за выживание — требовала от нее напряжения всех сил. А другие жены... Нет, она не станет упоминать других жен, они не существуют. Есть только она одна. Она ведь тоже колдунья. Она наколдовала сама себя. Ей нужно околдовать всего лишь одного человека, и он уже здесь, рядом. Он не пошел к другим женам. Он пришел за наслаждением. Он переполнял все ее существо, он и его желание, и ожидание того, что вскоре должно произойти. Кому как не ей знать, что ему нужно, она в этом разбирается лучше, чем кто-либо другой. Она знает всё!

Двери распахнулись. Она существует. Она бессмертна, ибо ее сотворила Любовь.

На нем был высокий тюрбан из золотой парчи и расшитая золотом курта.^[17] На нем была пыль покоренных земель, словно боевые отличия покрывавшая его плечи и грудь. И озорная улыбка на губах.

— *Я хотел приехать скорее, но меня задержали,* — произнес Акбар.

Что-то в его речи показалось ей странным. Какая-то неловкость, почти

робость царапнула ее слух. Что с ним? Джодха предпочла не заметить столь несвойственную ему неуверенность и действовать по заранее обдуманному плану.

— Ах так? *Вы хотели?* — сказала она, вставая и прикрывая, как того требовали приличия, нижнюю часть лица концом шелкового головного шарфа. Она не стала принаряжаться к его приезду и была одета буднично. — Мужчина обычно сам не знает, чего хочет. Мужчина обычно не хочет того, о чем говорит. Мужчина всегда хочет того, в чем испытывает нужду.

Акбара несколько озадачило ее явное нежелание заметить его переход от множественного числа к единственному, хотя тем самым он оказывал ей великую честь. Ему казалось, что Джодха должна была почувствовать себя на седьмом небе от счастья — ведь он делится с ней своим последним достижением и тем самым доказывает ей свою любовь. Да, он был озадачен и, пожалуй, немного растерян.

— А ты настолько хорошо разбираешься в мужчинах? — грозно нахмутив брови, спросил он, подходя ближе. — Скольких ты успела познать? Ты что же, выдумала себе их, пока я отсутствовал? Или подыскала себе для развлечения настоящих, из плоти и крови? Если таковые имеются, я должен их убить!

Он был убежден, что теперь-то она непременно будет вынуждена заметить всю необычность и чувственную новизну местоимения «я». Теперь-то она наверняка поймет, что он хотел этим выразить!

Она не заметила и не поняла. Она твердо верила, что знает, чем и как его пронять, и думала в этот момент лишь о том, как вернее это сделать с помощью слов.

— Вообще-то женщины в большинстве своем гораздо меньше думают о мужчинах, нежели полагает большинство мужчин, — изрекла она. — Даже о своем любимом и единственном они вспоминают гораздо меньше, чем кажется мужчинам. Женщина нуждается в мужчине меньше, чем он — в ней. Вот почему для него важно крепко держаться за ту, которая ему мила, иначе она непременно от него ускользнет.

Она не принарядилась и сделала это намеренно.

— Хочешь куколку — ступай в «кукольный дом», там они уже давно мажутся-красятся, охают-ахают и таскают друг друга за волосы, — сказала она и сразу поняла, что совершила промах: о других женах упоминать не следовало.

Он помрачнел, глаза у него потемнели. Неверный шаг, она сделала неверный шаг! Еще немного — и ее очарование перестанет действовать.

Тогда она посмотрела ему прямо в глаза своим самым колдовским взглядом — и он вернулся. Чары ее не подвели. Она заговорила чуть громче.

Джодха не стала ему льстить.

— Взгляни на себя, — сказала она. — Ты уже сейчас выглядишь стариком. Сыновья легко могут принять тебя за своего деда.

И с победами она не стала его поздравлять.

— Если бы история пошла по другому пути, — сказала она, тогда старые боги, те, которых ты подмял под себя, продолжали бы править по-прежнему. Многоголовые, они не наказывали и не писали законов, зато создавали неисчислимое множество легенд и сказаний и совершали удивительные деяния; боги-хранители всего живого рядом со своими женами-богинями, своей энергией весь мир одаряющими; боги-проказники, боги-громовержцы и боги-флейтисты. Их было великое множество, и, возможно, при них нам всем жилось бы не в пример лучше.

Она была уверена в неотразимости своей красоты и теперь, сбросив шелка, позволила ему наконец увидеть себя целиком — и он забыл обо всем.

Джодхе были отлично известны все семь способов усиления наслаждения с использованием ногтей. Перед долгим походом она поставила ему на память о себе три метки — глубокие царапины на спине, груди и мошонке. Теперь, когда он находился подле нее, всего лишь одним прикосновением ногтей к его щекам, нижней губе и грудям она могла довести его до экстатического состояния — сделать так, что он задрожит как в лихорадке и от острейшего наслаждения приподнимутся все волоски на его теле. Могла и пометить, оставив ногтями на его шее след в виде полумесяца; медленно и долго могла впиваться ему в щеки, оставлять длинные царапины на голове, на бедрах и на всегда чувствительной к ее ласкам груди; она была искусна и в применении способа возбуждения под названием «прыжок кролика»: для этого требовалось, не касаясь других частей тела, оставить метки по окружности соска. И никто в целом свете, кроме нее, не умел с таким совершенством делать «павлиньи лапки»: ее большой палец давил на сосок его левой груди, в то время как остальные пальцы совершали обход соска и ее длинные, загнутые ногти — именно ради этого она холила их и затачивала, — впиваясь в кожу, оставляли узор, напоминавший отпечатки лап павлина на сырой глине.

Она знала, что именно он будет говорить во время этих игр. Он будет рассказывать о том, как вдали от нее, в походном шатре, закрывал глаза, думая о ней, повторял движения ее рук и этим достигал удовлетворения.

Она ждала, но он почему-то не стал говорить об этом. Она увидела,

что он испытывает нетерпение, пожалуй, даже раздражение и досаду, и ничего не понимала. Казалось, тонкости любовного акта утратили для него всякую привлекательность, он стремился поскорее овладеть ею и на этом поставить точку. Ей стало ясно, что он изменился и теперь перемены ждут их всех.

Что касается императора, то он больше никогда в чьем-либо присутствии не говорил о себе в единственном числе. Для всего мира и даже для женщины, которая любила его, он был «плюральный»,^[18] таким он и останется. Акбар усвоил преподанный ему урок.

Его сыновья, летающие как ветер на своих конях...

Его сыновья, летающие как ветер на своих конях и саблями подсекающие колышки палаток; его сыновья — и снова верхом — длинными палками с закругленными концами забивающие мячи в сетки во время игрищ под названием *чауган*; его сыновья, по ночам гоняющие светящиеся мячи; его сыновья на охоте, где лучший в своем деле посвящает их в секреты погони за леопардом; его сыновья, со страстью предающиеся «забаве влюбленных» — гонке почтовых голубей... Его сыновья... Как они красивы, как искусны в играх! Взять хотя бы старшего, его наследника Селима, который в свои четырнадцать стал настолько совершенен в стрельбе из лука, что ради него пришлось выработать новые, более жесткие, правила. А Мурад и Даниял — сидят на лошадях, как взрослые наездники! О, как он любил их, всех троих! И все трое ни на что не годны. Их глаза! Младшим — десять и одиннадцать, но и они уже зависимы от опиума, они пьяны, даже когда скачут верхом, обалдуи несчастные! Слугам были даны самые строгие указания на этот счет, но кто же посмеет отказать царским отпрыскам!

К каждому он приставил верных людей, так что знал о страсти Селима к опиуму и о его ночных, отнюдь не безобидных, любовных забавах. Возможно, склонность юнца к извращенным, изощренным способам полового удовлетворения вполне закономерна, однако вскоре придется-таки предупредить его, чтобы несколько умерил свой пыл: танцовщицы жаловались, что расцарапанные ягодицы и растерзанные «бутоны граната» мешают им выполнять свои прямые обязанности.

Испорченные дети — горе его, плоть от плоти его; дети, унаследовавшие все его недостатки и ни одного достоинства! Неизлечимую болезнь Мурада пока удастся скрывать, но сколь долго это будет оставаться тайной? Даниял? Похоже, он совсем безвольный, в нем нет даже намек на характер, хотя он унаследовал свойственную всем потомкам Чагатая красоту. В этом не было ни малейшей личной его заслуги, но он тем не менее очень ею гордился. Может, десятилетнего ребенка не стоит судить так строго? Пожалуй, и не стоило бы, будь он обыкновенным мальчишкой. Только это ведь не просто дети. Это маленькие боги, будущие

правители, — к несчастью, обреченные на власть. Он их любил. Они предадут его, это ясно. Свет его очей, они придут убивать его сонного, маленькие подонки. Он все время должен быть настороже.

Нынче, как и в любой другой день, он думал о том, что ему очень хотелось бы доверять им. Бирбалу и Джодхе, Абул-Фазлу и Тодару Малу он доверял как себе самому, но мальчиков своих держал под постоянным наблюдением. Ему страстно хотелось верить им, хотелось видеть в них опору старости. Он мечтал о счастье целиком положиться на три пары прекрасных зорких глаз, когда его собственные утратят остроту зрения; на шесть крепких рук, которые все разом станут служить ему, когда ослабеют его собственные. Со многими головами, многорукий, он тогда и вправду стал бы подлинным божеством. Он хотел доверять им, потому что верность почитал за великую добродетель, заслуживающую всяческого поощрения, но он слишком хорошо знал историю своего клана и помнил, что эта добродетель была не в чести у его сородичей. Его сыновья вырастут, станут превосходными воинами, отрастят пышные усы и примутся плести заговоры против родного отца — это уже и сейчас ясно видно по их глазам. В среде таких как они, в среде потомков Чагатая из Ферганы, дети всегда плели заговоры против своих царственных родителей, с тем чтобы заточить их в крепость, сослать на какой-нибудь остров или собственноручно отсечь голову.

Его драгоценный Селим, кровожадный ублюдок, уже сейчас придумывает разнообразные способы расправы с людьми: *Если кто-либо предаст меня, отец, то я отсеку ему задницу, после велю зашить его в шкуру только что освежеванного зверя, прикажу посадить задом наперед на осла и возить по жаре, пока солнце не завершит то, что я задумал.* Ну да, от зноя шкура начнет мало-помалу ссыхаться, и тогда враг медленно умирает в муках от удушения.

«Кто тебе внушил такую жестокую мысль, сынок?» — спросил император. «Это я сам придумал, — соврал Селим. — И не тебе упрекать меня в жестокости, отец. Ты у меня на глазах выхватил меч и отсекаешь человеку ноги за кражу пары туфель». Сын был прав, и Акбар вынужден признать: все темное, что таится в душе принца, тот унаследовал от него самого.

Селим. Его первенец, его любимец и его наиболее вероятный палач. А когда его, Акбара, не станет, все трое сыновей будут яростно, словно дикие псы, грызться меж собой за кость Власти. Он прикрывал глаза и под перестук копыт скакунов, несущих на себе его сыновей, представлял, как задушит в корне мятеж жалкого мальчишки. «Конечно, мы простим его и

сохраним ему жизнь, а как же иначе, — думал император. — Ведь он сын наш, он лихой наездник, он великолепен, даже смех у него поистине царский». Из груди императора исторгся горестный вздох: нет, не доверял он своим сыновьям!

Непостижимо, но все эти опасения никак не влияли на его отцовские чувства. Он любил своих мальчиков, и даже если ему суждено умереть от сыновней руки, он не перестанет любить эту руку, пусть и наносящую смертельный удар. Тем не менее это совсем не означало, что он готов дать соплякам убить себя, — пока жив, он будет бороться, скорее он увидит их в аду, чем допустит такое. Он, Акбар великий и могучий, унижать себя не позволит никому.

Он верил мистику Чишти, гробница которого находилась во дворе пятничной мечети, но святого человека больше нет рядом; он доверял собакам, музыке, стихам, своему острослову-цирюльнику и жене, которую сотворил из ничего. Он верил красоте, искусству живописцев и мудрости предков. Однако в последнее время относительно многого другого, например по поводу религии, его стали одолевать сомнения. Он знал, что жизни доверять не следует, что этот мир — ненадежная опора. На вратах своей усыпальницы он велел высечь слова, которые будто бы принадлежали Иисусу из Назарета: *Этот мир — всего лишь мост. Переходи через него, но не возводи на нем дом свой.* Даже этому принципу он не последовал: построил себе не дом, а целый город. *Кто полагает, что в его распоряжении час, рассчитывает быть вечно. Этот мир — всего лишь час. Остальное нашему взору недоступно.*

«Так оно и есть, — говорил себе Акбар. — Я хочу слишком многого. Думаю, что передо мною вечность. Одного часа мне мало, я мечтаю о том, что не дозволено смертному, — о славе вечной. („Приятно говорить о себе в единственном числе — тогда ты сам с собой более откровенен", — подумал император. Однако это „я" должно остаться его сугубо личным делом, вслух произносить его Акбар себе запретил.) Итак, я позволю себе надеяться на долгую жизнь, на мир души, на понимание и хорошую, обильную трапезу. Но больше всего я уповаю на то, что явится молодой и сильный, кому я смогу довериться. Пускай не родной сын, но я сделаю его больше чем сыном: он станет моим молотом и моей наковальней. Он станет символом моей веры в красоту и истину. На моей ладони он вырастет и дотянется до небес».

Вот о чем думал Акбар в тот самый день, когда к нему привели юношу в потешном плаще из цветных кожаных ромбов и с письмом королевы английской в руках.

Давным-давно утратившая способность спать потаскушка из «веселого дома», что у главных ворот, по имени Мохини, разбудила своего странного заморского клиента на рассвете. Он тут же вскинулся, грубо притянул ее к себе и приставил ей к горлу непонятно откуда взявшийся нож.

— Не валяй дурака, — проговорила она. — За ночь я сто раз успела бы убить тебя, покуда ты храпел так громко, что мог разбудить императора, и не льсти себя надеждой, что я не подумывала об этом.

Когда он заявился, она предложила ему две формы оплаты: за один раз и за всю ночь.

— А как выгоднее?

— Обычно платят за ночь, — серьезно сказала Мохини. — Хотя большинство моих клиентов либо слишком старые, либо пьяные, либо обкуренные, а то и вообще ничего не умеют, их и на один-то раз едва хватает. Можешь сэкономить и заплатить за раз.

— Я дам тебе вдвое больше, если останешься со мной на всю ночь, — ответил он. — Я давно не спал рядом с женщиной, а женское тело делает мои сны слаще.

— Хочешь сорить деньгами — пожалуйста, я не возражаю, — холодно сказала Мохини, — но сладости в моем теле давно не осталось.

Она была так худа, что товарки прозвали ее между собой Скелетиной. Клиенты побогаче обычно брали Мохини в паре с ее антиподом — невероятно толстой шлюхой по прозвищу Матраска, чтобы испытать удовольствие от женского тела в двух его максимально противоположных вариантах — самом костлявом и самом мягком. Скелетина поглощала пищу по-волчьи — много и быстро, но оставалась тощей, в то время как Матраска тучнела день ото дня. В «веселом доме» шептались, будто они заключили тайный договор с Сатаной и в аду Скелетина раздуется, а Матраска станет плоской как доска и будет греметь сосками, словно деревянными колышками. Мохини считалась *доли-артхи*. Это означало, что она, подобно верной жене, была обязана заниматься своим ремеслом до самой смерти, то бишь до того часа, когда ее тело возложат на погребальный костер — *артхи*. Ей даже устроили — на радость толпе — некую пародию на настоящую свадебную церемонию — посадили вместо *доли* — паланкина — на запряженную ослом тележку и повезли в «веселый дом». «Эй, чего не радуешься, сегодня у тебя свадьба, другой-то не будет!»

— выкрикнул какой-то уличный бродяга, но шлюхи опрокинули ему на голову с балкона полный горшок еще теплой мочи, что заставило его умолкнуть надолго. Женихом в ее случае был «веселый дом», символической представительницей которого являлась его хозяйка Рангили-биби — старая, беззубая, сморщенная шлюха, настолько свирепая, что ее уважали и боялись все, даже стражи порядка. Вообще-то они должны были прикрыть ее заведение, но не решались из страха перед ее дурным глазом. Другое, более рациональное, объяснение беспрепятственного существования ее предприятия состояло в том, что, по слухам, настоящим собственником борделя был некий придворный или, как утверждали многие, священнослужитель, возможно даже один из мистиков, денно и нощно творивших молитвы у гробницы Чишти. Однако, как всем хорошо известно, придворные, да и священнослужители тоже, сегодня в милости, а завтра в опале, меж тем как сглаз действует безотказно, так что страх перед дурным глазом Рангили-биби имел даже больший эффект, чем слухи о некоем высоком покровителе.

Обида, которую Мохини затаила на жизнь, никак не была связана с ее ремеслом. Работа как работа, не хуже прочих; благодаря ей у Мохини был кров, пропитание и одежда; без этой работы ей осталось бы просто сдохнуть в канаве, как запаршивевшей собаке. Ее обида имела вполне определенный адрес и была связана с прежней хозяйкой, четырнадцатилетней княжной Ман-баи из Амбера, молоденькой распутницей, которая почти постоянно жила при дворе Акбара и завела тайные шашни со своим двоюродным братом, принцем Селимом. У Ман-баи была сотня рабынь, но Мохини-Скелетина была ее любимицей. Когда знойным днем Селим, весь в поту после тяжких охотничьих трудов, возвращался домой, именно на Мохини лежала почетная обязанность раздевать его и умащать золотистое тело принца освежающими ароматными маслами. Именно Мохини выбирала для него либо сандал, либо мускус, либо пачули или розу, именно Мохини выпала честь растирать член принца, готовя его к свиданию со своей госпожой. Другие рабыни в это время обмахивали Селима опахалами, массировали ему ноги, но прикасаться к царскому детородному органу дозволялось одной лишь Мохини, а всё потому, что она владела секретами смесей, способствующих повышению интенсивности соития и увеличению его продолжительности. Она составляла мази из тамаринда и корицы, из перца и имбиря, которые в соединении с медом большой черной пчелы позволяли мужчине, не прилагая особых усилий, доставлять женщине максимум удовольствия, при этом сам он испытывал приятнейшее ощущение тепла и пульсации. Иногда

Мохини натирала этими мазями влагалище Ман-баи, иногда член Селима, а иногда проделывала это с обоими партнерами. Таким манером она сумела сделаться необходимой и Селиму, и своей госпоже.

Это ее мастерство, а именно владение секретом зелья, с помощью которого мужчина мог совокупляться с энергией и продолжительностью коня, в конце концов и погубило Мохини. Как-то раз она велела оскотить козла, отварила его яички в молоке, поперчила, посолила, прожарила в топленом масле, а затем приготовила нежнейшего вкуса паштет. Она поднесла его принцу на серебряной ложке, объяснив, что это лекарство позволит ему, не чувствуя утомления, совершить акт любви пять, десять, а то и двадцать раз кряду. «Вкус восхитительный!» — сказал принц и съел всё без остатка. На следующее утро он вышел от Ман-баи, чрезвычайно довольный собою, оставив ее полумертвом состоянии.

Долгие сорок семь дней (и ночей) сиятельная Ман-баи даже помыслить не могла о любовных играх, и все это время полный раскаяния в содеянном принц навещал ее. Он был заботлив, но несколько раздражен и вместо нее трахал ее рабынь, причем очень часто спрашивал именно ту, самую костлявую, которая подарила ему незабываемый сексуальный опыт. Ман-баи не возражала, но внутри у нее все кипело от ревности и злости. Знаменательная ночь с Мохини, когда Селим обнаружил, что выносливость Скелетины беспредельна и даже сто и одно совокупление, в отличие от ее госпожи, не нанесло ей, по всей видимости, существенного вреда, решило ее судьбу раз и навсегда. У сиятельной Ман-баи лопнуло терпение, и Мохини изгнали из дворца. Она лишилась всего, кроме своего умения составлять возбуждающие желание снадобья. Из дворца она угодила на самое дно, в бордель, но благодаря своему таланту сумела и здесь сделаться личностью весьма популярной.

Мохини мечтала об отмщении.

— Если когда-нибудь по воле судьбы она окажется в моей власти, — сказала Мохини своему необычному гостю, — то я натру ее таким зельем, что даже шакалы сбегутся, чтобы трахать ее, и не они одни: ею будут пользоваться вороны и змеи, прокаженные и буйволы — до тех пор, пока от нее не останется ничего, кроме нескольких слипшихся прядей волос. Я сожгу их — и делу конец. Правда, она собирается стать женой Селима, так что можешь забыть все, что я сейчас тебе наговорила. Для мне подобных вынашивать планы мести такая же непозволительная роскошь, как иметь ребенка.

По не вполне ясной для нее причине она рассказывала желтоволосому незнакомцу такие вещи, о которых не говорила никому. Возможно, тут

сыграла роль его необычная внешность, странный цвет волос и непривычная опрятность.

— Не иначе как ты навел на меня какие-то чары, — с беспокойством сказала она. — Никогда прежде я ни одному из клиентов даже пялиться на себя при дневном свете не позволяла, а тебе всю историю своей жизни выболтала.

Когда ей было одиннадцать, ее лишил девственности родной дядя. Она родила урода, и мать утопила ребенка, даже не показав ей, из опасения, что Мохини преисполнится ненависти к себе и своей будущей жизни.

— Зря она беспокоилась, — сказала Мохини, — потому что, как выяснилось, природа наделила меня такими качествами по этой части и столь неистребимым желанием заниматься этим делом, что насильник с его жалким приборчиком в моей судьбе ничего не изменил. Что правда, то правда — теплотой души я никогда не отличалась, а после черной несправедливости, сотворенной со мной Ман-баи, от меня так и веет холодом. В летнее время мужчинам это нравится, но зимой работы у меня немного.

— Подготовь меня, — попросил желтоволосый гость. — Сегодня мне предстоит посещение дворца, по делу чрезвычайной важности. Я должен предстать в наилучшем виде, или меня ожидает смерть.

— Если у тебя хватит на это денег, я готова и сделаю так, что ты станешь желанным для всех.

И она принялась трудиться над его телом, чтобы один лишь аромат его кружил людям голову. Мохини запросила за свою работу один мухур, ^[19] честно признавшись, что завышает цену, и онемела от изумления, когда меж его пальцев блеснуло целых три монеты.

— За три золотых, — сказала она, — я, если хочешь, сделаю так, что люди примут тебя за ангела, слетевшего с небес, а после того как ты справишься со своим важным делом, можешь целую неделю бесплатно удовлетворять свои самые немыслимые желания со мной и Матраской.

Она велела принести металлический чан и наполнила его холодной и горячей водой в соотношении один к трем, затем намылила своего гостя с головы до пят мылом из алоэ, сандала и камфоры — как она выразилась, «для того, чтобы, прежде чем я придам тебе царственный вид, твоя кожа очистилась и все поры раскрылись». После этого она достала из-под кровати свою волшебную шкатулку с благовониями, бережно обернутую тряпицей.

— Прежде чем тебя допустят до императора, тебе придется задабривать многих, — предупредила она. — Поэтому аромат для Его

Величества я запрячу поглубже, под те запахи, которыми тебе придется охмурять стражу и прочих. В присутствии императора все они улетучатся, останется лишь самый главный.

Она принялась за работу. В ход пошли вытяжки из магнолии, лилии и календулы, а также из других, незнакомых ему, растений с волшебными свойствами, про которые он даже не рискнул ее расспросить. Большой частью это были соки деревьев из Турции, Китая и с Кипра, а еще экстракт китовых желез.

Когда она завершила свой труд, ему показалось, что от него несет низкопробным притоном, где он, собственно, и пребывал, и он пожалел, что воспользовался услугами Скелетины, хотя тактично не выказал недовольства. Из своей небольшой суммы он извлек одеяние столь роскошное, что Скелетина разинула рот от удивления.

— Ты что, убил кого-нибудь, чтобы завладеть всем этим, или сам не тот, кем кажешься? — спросила женщина.

Он не ответил ей: пышно разодеться, путешествуя в одиночку, значило привлечь к себе внимание грабителей, являться же ко двору в рубище — глупость иного рода, но она тоже могла стоить ему жизни.

— Мне пора, — произнес он.

— Возвращайся, — сказала Скелетина, — и не забывай о моем предложении.

Несмотря на гнетущую жару, он накинул все тот же пестрый плащ и двинулся ко дворцу. Притирания Скелетины чудесным образом делали свое дело: вместо того чтобы отправить его к дальним воротам, где обычно собиралась целая толпа желающих добиться аудиенции у государя, стражники повели себя с неожиданной сердечностью. Жадно втягивая ноздрями его запах, они расплывались в улыбках, словно им только что сообщили нечто чрезвычайно приятное. Начальник стражи тотчас же отправил гонца за государевым советником, тот прибыл разгневанный, что его осмелились побеспокоить. Он шагнул к гостю, и тут легкий ветерок донес до него тонкий аромат, неожиданно напомнивший о его первой возлюбленной. Он вызвался самолично пойти к Бирбалу, дабы всё устроить, и быстро вернулся с разрешением на высочайшую аудиенцию. Сопровождая чужеземца во внутренние покои, он, как положено, осведомился об имени гостя, и тот без колебаний ответил ему на безупречном фарси:

— Можете звать меня Могор. Перед вами Могор дель Аморе, флорентиец, в настоящий момент выполняющий важную миссию Ее Величества королевы Англии.

Исполненным изящества жестом он снял бархатную шляпу с белым пером, закрепленным пряжкой с неведомым драгоценным камнем желтого цвета, отвесил низкий поклон, и это убедило всех наблюдавших за ним (а его появление собрало изрядное число зрителей, восхищенно-мечтательные взгляды которых явились еще одним свидетельством волшебного дара Скелетины) в том, что перед ними настоящий придворный, искушенный в тонкостях дворцового этикета.

— Пожалуйте сюда, господин посол, — тоже кланяясь, проговорил советник.

Меж тем два предыдущих запаха улетучились и в воздухе возник третий, пробуждавший самые немыслимые фантазии.

Шагая по красным анфиладам дворца, человек, теперь носивший имя Могор дель Аморе, замечал за занавешенными резными окнами легкое движение. Ему казалось, что в сумраке затемненных комнат он различает блеск множества миндалевидных глаз. Один раз он увидел, как чья-то рука, вся в кольцах и браслетах, игриво машет ему, еловно приглашая зайти. Он явно недооценил способности Мохини. Несомненно, в своем деле она ничем не уступала по мастерству прочим знаменитостям, которыми славился этот город художников, поэтов и музыкантов.

«Поглядим, какой аромат она припасла для императора. Если он окажется таким же действенным, как предыдущие, то все у меня сложится как надо», — подумал он, крепче сжал свиток с печатью Тюдоров и широким, уверенным шагом двинулся дальше.

В самом центре огромного зала для аудиенций возвышалось дерево из красного камня, с которого свисало нечто, на взгляд чужестранца напоминавшее гигантскую гроздь бананов. Длинные ветви каменного древа тянулись от ствола к четырем углам тронного зала, и с каждой свешивались шелковые занавеси, расшитые серебряной и золотой нитью, а прямо по центру, спиной к дереву, стоял самый страшный (за одним исключением) человек на свете; он был мал ростом, зато обладал величайшим в мире интеллектом. Император любил его, завистники люто ненавидели. Искуснейший льстец и переговорщик, он ежедневно съедал по двенадцать килограммов всякой снеди и мог заказать своим поварам приготовить только лишь для вечерней трапезы тысячу разных кушаний; человек, для которого всеобъемлющие знания являлись не мечтой, а насущной жизненной потребностью.

Именно таков был Абул-Фазл — человек, который знал всё, за исключением языков — как чужеземных, так и бесчисленных местных, — они ему не давались, так что в этом отношении он был белой вороной

среди вавилонского многоязычия, господствовавшего при дворе Акбара. Историк и мастер плетения интриг, ярчайший из Созвездия Девяти и второе по важности доверенное лицо самого грозного (без какого бы то ни было исключения) человека на свете, Абул-Фазл знал подлинную историю сотворения мира, которую, по его словам, ему поведали ангелы небесные, но знал также и то, сколько полагалось на день корма для лошадей дворцовых конюшен и как следует готовить изысканное блюдо из риса — *биряни*, а также почему рабов переименовали в учеников; ему было известно все об иудеях и о движении небесных светил, о семи смертных грехах, о девяти философских системах, о шестнадцати заповедях и восемнадцати ветвях знания, а также о сорока двух нечистых деяниях. Через сеть осведомителей он знал обо всем, что говорилось и замышлялось кем-либо в пределах Фатехпур-Сикри: обо всех заговорах, случаях проявления непочтительности, обо всех нарушениях морали, — и потому жизнь каждого в этом городе зависела от него, а также от того, что он напишет. (Не случайно владыка Бухары Абдулла сказал, что пера Абул-Фазла следует страшиться более, нежели его меча.) Его перо пощадило лишь одного человека, который и так ничего не боялся, — императора Акбара.

Могор дель Аморе видел Абул-Фазла лишь в профиль — тот не обернулся, когда гость вошел, и молчал так долго, что было очевидно: это делается с намерением оскорбить. «Посол Елизаветы Английской» понял, что его испытывают. Он тоже не спешил заговорить, и тяжелые, напряженные минуты глухого молчания позволили им лучше изучить друг друга.

«Напрасно ты полагаешь, что твое молчание ни о чем мне не говорит, — думал чужеземец. — Твой блестящий ум и нарочитая грубость, твоя тучность и строгий профиль свидетельствуют о том, что ты являешь собой определенный тип человека, в котором сочетаются любовь к удовольствиям и подозрительность, а склонность к насилию (потому что твое молчание — это тоже своего рода нападение) идет рука об руку с глубоким пониманием красоты; слабое же место подобной вселенной, находящейся во власти самомнения и злопамятности, — тщеславие. Именно тщеславие держит таких, как ты, у себя в плену. Сыграю на твоём тщеславии и добьюсь своей цели».

Самый грозный (за исключением одного) наконец прервал молчание и, как будто читая его мысли, насмешливо сказал:

— Как я понимаю, ваше превосходительство, вы надушились духами, специально предназначенными для того, чтобы обольщать царей, из чего

закрываю, что вы кое-что о нас знаете, и скорее всего не кое-что, а довольно много. Я не почувствовал особого доверия к вашей персоне, когда мне о вас доложили, и теперь, когда я вас обоняю, доверяю вам и того менее.

Интуиция подсказала желтоволосому Могору дель Аморе, что именно Абул-Фазл является подлинным автором трактата о волшебных свойствах ароматов, которыми так искусно пользовалась Мохини, и потому на его обоняние они не оказывали воздействия, — более того, в его присутствии они перестали действовать и на других. Стражи у четырех входов в залу перестали блаженно улыбаться, девушки-рабыни, сгоравшие от желания познакомиться с иноземцем поближе, мгновенно утратили к нему всякий интерес. У гостя внезапно возникло чувство, что он стоит под пронзительным взглядом царского любимца совсем голым и только правда или нечто к ней очень близкое может спасти его.

— Когда к нам пожаловал посланец короля Испании Филиппа, — словно размышляя вслух, заговорил Абул-Фазл, — то он явился со свитой, со слонами, нагруженными подарками от Его Величества; он привез нам в дар более двадцати чистокровных арабских жеребцов и много драгоценностей. Он не явился к нам на воловьей повозке и не провел ночь в «веселом доме» с женщиной настолько тощей, что даже трудно вообразить, будто это женщина.

— Мой господин и покровитель лорд Хоуксбенк, глава одноименного клана, к несчастью, отошел к Господу нашему и ангелам Его как раз тогда, когда мы входили в порт Сурат, — заговорил Могор. — На смертном одре он взял с меня клятву, что я выполню поручение, возложенное на него Ее Величеством. Увы, команда состояла сплошь из жуликов и бандитов, и тело моего господина еще не успело остыть, а они уже стали обшаривать его каюту в поисках ценностей. Должен признаться, мне лишь чудом удалось выбраться оттуда живым и сохранить послание Ее Величества, потому что, зная, как я был предан своему хозяину они наверняка перерезали бы мне горло, посмей я защитить его имущество от разграбления. Боюсь, останки лорда Хоуксбенка не преданы земле согласно христианскому обычаю, однако я горжусь тем, что сумел добраться до вашего славного города, чтобы выполнить его миссию, которая теперь стала моей.

— Сдается мне, королева Английская не питает теплых чувств к нашему сиятельному другу, королю Испании, — раздумчиво произнес Абул-Фазл.

— Испания — грубый мужлан, — парировал Могор, — меж тем как Англия — родина изящных искусств, красоты и самой Глорианы. Не

давайте себя одурачить наглыми утверждениями Филиппа. Все должно устремляться к подобному себе, и не кто иной, как Елизавета, славою и величием является в полной мере равной вашему императору.

В упоении от собственного красноречия Могор дель Аморе совсем разошелся. Из его слов следовало, что далекая рыжеволосая королева Запада — зеркальное отражение императора, а самого шахиншаха, царя царей, несмотря на пышные усы и прочие, явно мужские, достоинства, вполне можно считать Елизаветой Востока, ибо славою они равны.

Лицо Абул-Фазла закаменело.

— Как ты смеешь низводить моего господина до уровня женщины! — произнес он почти шепотом. — Считаю, что тебе повезло: у тебя в руках свиток — я вижу, он действительно скреплен печатью королевского дома Англии, что гарантирует тебе, как послу, личную неприкосновенность. Если бы не это, будь уверен — твоя дерзость дорого бы тебе обошлась: я велел бы бросить тебя под ноги бешеному слону, который привязан здесь, неподалеку, специально для того, чтобы избавляться от таких наглых свиней, как ты.

— Ваш император известен во всем мире как несравненный ценитель женской красоты, — отозвался Могор дель Аморе. — Уверен, Его Величество Алмаз Востока нисколько не чувствовал бы себя оскорбленным сравнением с Ее Величеством — самой великолепной драгоценностью Запада, — невзирая на то, что она женщина.

— Мудрецы-назаретяне, присланные к нам португальцами из Гоа, невысокого мнения о самой великолепной драгоценности, — сказал всесильный министр, пожимая плечами. — Говорят, она богоотступница, слабый правитель и скоро ее свергнут. Говорят, ее соотечественники сплошь воры, а ты, вероятно, явился сюда шпионить.

— Португальцы и сами сплошь пираты да грабители, — упорствовал Могор. — Ни один разумный человек не должен верить их речам.

— Отец Аквавива принадлежит к общине Иисуса, он, как и ты, итальянец, а его соратник, отец Монсеррат, — из Испании.

— Они прибыли к вам на корабле под флагом мошенников-португальцев, а это означает, что они и сами дикие португальские псы.

Над их головами вдруг загремел хохот, как будто над ними потешались сами боги, и звучный, густой бас произнес:

— Пощади его, уважаемый *мунши*^[20] Сохрани ему жизнь хотя бы до того момента, пока мы не прочтем доставленное им послание.

Шитые серебром шелковые занавеси разошлись вплоть до стен, и на самой верхушке каменного древа все узрели раскинувшегося на атласных

подушках и сотрясавшегося от приступов безудержного смеха Абул-Фатха Джелаль-ад-дина Мухаммада Акбара собственной персоной, в данный момент более всего похожего на гигантского пестрого попугая.

Он проснулся с чувством непонятной тревоги, и даже самые изощренные ласки возлюбленной не могли его успокоить. Посреди ночи его разбудило истошное карканье вороны, ненароком залетевшей в опочивальню к Джодхе. В то жуткое мгновение, когда черное крыло коснулось его щеки, императору со сна померещилось, что наступил конец света. Слуги прогнали птицу, но императора продолжало трясти. Вторую половину ночи его одолевали недобрые вещие сны. В какой-то момент ему привиделось, будто ворон — вестник конца света — вознамерился вырвать из его груди сердце и расклевать его, подобно тому как на поле брани в Ахаде поступил Хинд из Мекки с поверженным дядей Пророка Хамзой. Если жалкий трус смог уничтожить непобедимого, могучего Хамзу, то и его в любой момент может сразить бесшумно прилетевшая из темноты черная и безобразная, как ворона, злая стрела. Удалось же птице, несмотря на многочисленную стражу, проникнуть в его покои и коснуться крылом его лица, — значит, и убийца вполне может подобраться к нему совсем близко.

Мучимый страхом смерти император оказался беззащитным перед внезапным чувством симпатии, напоминавшим первую любовь.

Прибытие мошенника, назвавшегося послом, вызвало у него любопытство, и после того как по его наущению Абул-Фазл вдоволь поиздевался над юным бродягой, настроение у императора стало значительно лучше. Абул-Фазл, который на самом деле был человеком весьма общительным и дружелюбным, умел, как никто другой в Сикри, притвориться свирепым, и Акбар, наблюдая поверх голов комедию допроса, почувствовал, как черные ночные тучи постепенно рассеиваются.

«А самозванец держится отменно», — подумал Акбар. К тому времени, как император дернул шнуры, поддерживающие занавеси, и обнаружил свое присутствие, он уже находился в отличнейшем

расположении духа, однако совершенно не был готов к тому чувству, которое завладело им, едва он встретился глазами с золотоволосым гостем.

Это была любовь с первого взгляда — или что-то весьма на нее похожее. Сердце его забилося учащенно, словно у влюбленной девы, он испустил глубокий вздох, и на щеках его заиграл румянец. Как он красив, этот молодой повеса, как уверен в себе, как независим! И было в нем еще что-то, не видимое глазу, — некая таинственность, и это делало его привлекательнее сотни придворных. Сколько же ему может быть лет? (Император плохо определял возраст *фаранги*.^[21] Этому могло быть всего двадцать пять, но, возможно, и все тридцать.)

«Он старше, чем наши сыновья, по возрасту он не может быть нам сыном, — подумал Акбар и сам удивился, как ему в голову могла прийти такая дикая мысль. — Уж не имеем ли мы дело с колдовством? Может, на нас воздействуют чары? Что ж, сделаем вид, будто ни о чем не догадываемся. Пока что ничего страшного не произошло».

Император считал себя достаточно искушенным для того, чтобы вовремя уклониться от удара кинжалом и не выпить отравленное питье. Он решил довериться влечению сердца и разобраться в причине столь неожиданной симпатии.

Неизбежной расплатой за власть является отсутствие и жизни правителя каких-либо сюрпризов. Император озаботился выработкой сложнейшей системы осведомления, дабы обезопасить себя от любых неожиданностей, однако Могор дель Аморе сумел поразить Акбара и уже по одной этой причине заслуживал пристального внимания.

— Зачитайте нам королевское послание, — молвил Акбар, и Могор, изогнувшись, отвесил нелепо-глубокий поклон, а когда распрямился, то держал свиток уже в развернутом виде, хотя ни император, ни Абул-Фазл не заметили, как и когда он умудрился сломать печать. «Ну и артист! — сказал себе император. — Нам это по душе». Самозванный посол меж тем прочитал послание по-английски, а затем весьма бегло стал переводить его на фарси.

«Ваше Величество, непобедимый и могущественный государь, — читал он, — приветствую тебя, господин Зелабдим Эчебар и владыка Камбея».

Абул-Фазл насмешливо фыркнул:

— Зелабдим?! Надо же! Да еще и Эчебар! Это что за птица?

Император хлопнул себя по бедрам и разразился неудержимым хохотом.

— Это мы и есть! — сквозь смех проговорил он. — Это нас называют

падишахом Эчебаром и владыкой легендарного Камбея. Бедная темная Англия! Нам жаль народ, которым правит столь невежественная королева!

Могор приостановил чтение, ожидая, когда умолкнет императорский смех.

— Продолжай, — махнул рукою Акбар. — Великий Зелабдим повелевает тебе читать дальше. — Он снова захохотал и платком смахнул выступившие слезы.

«Посол» снова отвесил поклон, причем с еще большей грацией, и продолжил чтение. К тому времени, как он закончил, и император, и его министр вновь подпали под обаяние его чар. В письме же далее говорилось: «В интересах развития торговли, а также в интересах достижения иных взаимовыгодных целей мы предлагаем Вам заключить союз. Как нам стало известно, Вы провозгласили себя Непобедимым, и, поверьте, мы нисколько не оспариваем Ваше право так себя называть. Однако есть некто, именующий себя таким же образом. Заверяем Вас, что мы полагаем это лицо недостойным подобного прозвания. Мы имеем в виду, о могучий владыка, презренного епископа римского Григория XIII, чьи планы по поводу земель Востока могут быть для Вашего Величества весьма опасны. Уверяем Вас, что отнюдь не со святыми целями шлет он своих служителей в Камбей, Китай и Японию. Этот самый епископ затевает сейчас войну против нас, а его католические прихвостни при Вашем дворе — все до одного предатели и шпионы.

Берегитесь приспешников его! Заключите союз с нами, и совместно мы уничтожим всех недругов наших. Знаю, тело мое, тело женщины, немошно, зато я обладаю истинно королевским мужеством, а в груди у меня бьется сердце мужчины — сердце короля Англии. Не иначе как с презрением думаю я о том, что какой-то подлый епископ осмеливается выступать против меня и моих союзников, ибо я обладаю не только властью, но и силой, вполне достаточной для того, чтобы победить. А когда прах всех недругов наших развеют ветры, Вы, Ваше Величество, будете рады тому, что вступили в союз с Англией».

Когда «посол» завершил свой перевод, императору стало ясно, что за какие-то считанные минуты его угораздило влюбиться второй раз; его неожиданно охватило страстное желание обладать той, которая обратилась к нему с посланием.

— Как ты полагаешь, Абул-Фазл, может, нам стоит без промедления сделать эту женщину нашей женой? — воскликнул Акбар. — Королева-девственница, рани Зелабат Гилориана Пехлеви — красиво звучит, а? Мы полагаем взять ее в жены немедленно.

— Великолепная мысль! — воскликнул Могор дель Аморе. — А вот и медальон с ее портретом, она посылает его в знак своего всемилостивейшего расположения. Вы будете очарованы ее красотой, которая превосходит красоту и изящество ее слога.

Он взмахнул кружевом манжеты, и в его руке оказался медальон. Абул-Фазл принял его явно с опаской. У него возникло чувство, что они заходят слишком далеко, что появление этого Могора при дворе Акбара будет иметь чрезвычайные и, возможно, далеко не самые благоприятные для них последствия. Однако когда он попытался объяснить императору, что им ни к чему эти новые осложнения, тот попросту от него отмахнулся.

— Послание, как и податель его, нам приятно, — сказал Акбар. — Приведи его завтра в наши внутренние покои, мы желаем поговорить с ним еще.

Аудиенция была окончена.

Внезапное увлечение императора Зелабдина Эчебара своим зеркальным отражением в образе королевы Зелабат Гилорианы Первой привело к тому, что в Англию с императорскими гонцами полетели десятки писем от Акбара к королеве Елизавете. Все они остались без ответа. Пространные письма с личной печатью императора своей пылкостью и откровенностью в выражении сексуальных желаний являли собой пример эпистолярного стиля, не принятого в Азии (да и в Европе тоже). Многие из них не достигли адресата из-за того, что гонцы по дороге были взяты в плен противниками Елизаветы, и от Кабула до Кале эти перехваченные письма служили для знатных особ поводом для нескончаемых шуток: всех приводили в восторг как безумные признания Акбара в вечной любви к женщине, которую он в глаза не видел, так и его дикие мечты о создании державы, которая соединит в себе Западное и Восточное полушария. Те послания, которые все же достигли Уайтхолла, были либо признаны фальшивками, либо сочтены делом рук какого-либо маньяка, а гонцы, совершившие долгое и опасное путешествие, были вознаграждены за это тюремным заключением. Через некоторое время их попросту стали гнать прочь, и те из них, кому повезло, пройдя полмира, дохромать до Фатехпур-Сикри, не жалели язвительных слов в адрес английской королевы. «Она потому и девственница, — говорили они, — что ни одному мужчине не

охота ложиться в постель с холодной как рыба девицей». Миновал год и один день, и любовь Акбара исчезла, испарилась столь же странно и стремительно, сколь и явилась. Возможно, здесь сыграл роль бунт его жен, которые в кои-то веки сплотились вокруг Джодхи и пригрозили лишить его своих ласк, если он не перестанет слать глупые письма этой англичанке, чье молчание — после ее собственных навязчивых признаний, вызвавших интерес к ней императора, — яснее ясного свидетельствовало о ее неискренности и доказывало, насколько нелепы усилия понять эту чужую, невзрачную женщину, в то время как вокруг столько любящих и привлекательных.

Уже в самом конце его долгого правления, спустя много лет после появления Могора дель Аморе, стареющего императора охватила ностальгия по прошлому, он вспомнил странный эпизод с письмом от королевы Англии и захотел снова посмотреть на послание. Когда документ был найден и переведен заново, то оказалось, что большая часть оригинального текста исчезла. В той, что сохранилась, не было никаких упоминаний ни о его непобедимости, ни о претензиях римского епископа, как не оказалось и предложения о военном союзе против общего врага. По существу, оно содержало всего лишь требование предоставить льготы английским купцам, выраженное, правда, с соблюдением всех правил дипломатической вежливости. Когда император узнал правду, он — уже в который раз! — подумал о том, сколь странной притягательностью обладал незнакомец, явившийся к нему в то далекое утро, после ночного кошмара с участием вороны.

К тому времени эта информация не представляла для него никакой реальной ценности, хотя напомнила о том, чего ему забывать не следовало: колдовство совсем не обязательно осуществляется посредством таинственных снадобий, известных настоек или магических побрякушек. С помощью хорошо подвешенного языка можно добиться не меньшего эффекта.

Острый язык способен ранить куда серьезнее...

«Острый язык способен ранить куда серьезнее, чем самый острый меч», — думал император. За доказательством справедливости этого умозаключения далеко и ходить-то было не нужно — достаточно поприсутствовать на словесных баталиях философов, а битвы эти теперь ежедневно происходили в богато расшитом, украшенном зеркальцами шатре Нового учения. Там все гудело, лучшие умы империи бились в нем насмерть острыми мечами слов. Акбар исполнил обещание, которое дал самому себе в тот день, когда разрубил на куски непокорного князька Кучх-Нахина, и возвел храм для дискуссий, где поклонение святыням было вытеснено соревнованием умов. Император взял с собой туда Могора дель Аморе, чтобы похвастаться этим новшеством, поразить гостя свободомыслием и блестящей оригинальностью двора Великих Моголов, а заодно и продемонстрировать португальским иезуитам, что они не единственные европейцы, имеющие доступ к императору.

Участники дискуссии, возлежа на коврах среди подушек, разбились на две группы — «водохлебов» и «винолюбов». Они расположились по обеим сторонам от места, предназначенного для государя и его гостя. Членами группы, называющей себя *манкул*, были мудрецы и мистики, всем напиткам предпочитавшие воду. В качестве их противников выступали философы и ученые, они именовали себя *маа-кул* и утоляли жажду исключительно вином. Ныне здесь присутствовали Абул-Фазл и Бирбал — оба, как всегда, заняли места среди «винолюбов».

Хмурый подросток, принц Селим, тоже был здесь. Он сидел рядом с аскетического вида лидером «водохлебов» по имени Бадауни. Худой как спичка Бадауни принадлежал к тому типу молодых людей, которые уже родились стариками. Он недолюбливал Абул-Фазла, и шарообразный советник платил ему той же монетой. Эти двое осыпали друг друга столь изысканной бранью («Жирный безумец!» — «Букашка мерзкая!»), что Акбар невольно засомневался, способны ли подобные перепалки привести и конце концов к гармоничному сосуществованию, о котором он мечтал, и открывает ли свобода слова путь к единству или же неизбежно ведет к хаосу. Акбар решил, что сей храм не выдержит испытания временем. Единственным и всемогущим божеством в нем является аргументация как

таковая. Однако аргумент смертен, и даже если его воскрешают, он все равно рано или поздно умирает. Идеи — они как морской прилив или фазы Луны: когда приходит их время, они появляются, растут и крепнут, а затем, с оборотом большого колеса, теряют силу, блекнут и исчезают вовсе. Идея — построение временное, как шатер, там ей и место. В постройке шатров моголы были в каком-то смысле гениями, их временные жилища были отмечены красотой и выдумкой. Когда армия выступала в поход, кроме слонов и верблюдов ее сопровождало две с половиной тысячи человек, единственной обязанностью которых было ставить и разбирать во время привалов палаточный город в миниатюре. Его пагоды, павильоны и дворцы служили образцами для каменщиков при строительстве Фатехпур-Сикри. И все же шатер он и есть шатер: это сооружение из холста, ковров и деревянных стоек служило прекрасной иллюстрацией непостоянства и переменчивости того, что рождал человеческий разум. Возможно, через сотню лет придет день, когда его великая империя перестанет существовать (О да! Здесь, в шатре для диспутов, император был готов допустить даже гибель своего творения!) и его потомки станут свидетелями того, как этот шатер разберут и позабудут о его славном прошлом.

— Лишь приняв реальность смерти, мы способны понять, что такое жизнь, — изрек Акбар.

— Парадокс, Ваше Величество, — дерзко возразил Могор дель Аморе, — подобен узлу: зацепившись за него, человеку легко прослыть умным, несмотря на то что узел этот душит его мыслительные способности, и тогда он более всего напоминает курицу, которой связали лапки, прежде чем бросить в кипяток. Смерть поможет понять смысл жизни? Материальное благосостояние ведет к духовному оскудению? Чушь какая! Так можно дойти до того, что насилие есть милосердие, уродство есть красота, а почитаемое священным являет собою полную тому противоположность. Этот шатер и вправду зеркальный, здесь все иллюзорно и все представляется в искаженном виде. Здесь можно барахтаться в болоте парадоксов всю жизнь, и за это время тебе в голову не придет ни одна трезвая мысль.

Император почувствовал, как его захлестывает слепая ярость, подобная той, которая заставила его выдрать усы провинившемуся князю Кучх-Нахина. Он не верил своим ушам: неужто этот иноземный мошенник посмел... Лицо Акбара приобрело багровый оттенок, на губах выступила пена. Тихий ужас объял всех присутствующих, потому что в гневе Акбар был способен на всё: собственными руками он мог разорвать в клочья небеса, мог вырвать всем языки, дабы никто не проговорился о том, что

слышал, мог вынуть из человека душу и утопить ее в его же еще не остывшей крови.

Гробовое молчание прервал наконец принц Селим, подвигнутый на это Бадауни:

— Ты понимаешь, что твои слова могут стоить тебе жизни? — обратился он к чужеземцу в нелепом теплом плаще.

Могор дель Аморе оставался, во всяком случае внешне, абсолютно спокоен.

— Если в этом городе меня за подобное могут лишить жизни, то он не стоит того, чтобы в нем жить, — ответил он. — К тому же, как я понял, в этом месте всем правит Его Величество Разум, а не Его Величество император.

Молчание стало тяжелым, как сбитое масло. Лицо Акбара почернело. Но вдруг тучи рассеялись, император разразился веселым смехом и, хлопнув Могора по плечу, согласно кивнул.

— Чужеземец преподал нам хороший урок, друзья мои. Требуется выйти из круга, чтобы убедиться, что это окружность.

Теперь под прицелом всеобщего неодобрения оказался Селим, однако он промолчал. У Бадауни, всегдашнего противника и соперника Абул-Фазла, сделалось такое лицо, что Абул-Фазл почувствовал даже некоторую симпатию к желтоволосому чужаку, неожиданно полюбившемуся его господину. Что же до самого чужака, то Могор понял: эту партию он выиграл, но нажил себе могущественного врага, тем более опасного, что им оказался капризный и злопамятный юнец.

«Скелетину смертельно ненавидит его любовница-княжна, а меня — Селим собственной персоной. Вряд ли при таком раскладе у нас с ней есть надежда на победу, — с тревогой подумал Могор, но, ничем не выдавая своего беспокойства, с изысканным поклоном принял из рук Бирбала бокал красного вина.

Император в этот момент тоже думал о Селиме. Как горячо радовался Акбар его появлению на свет! Правда, быть может, он допустил ошибку, отдав ребенка на попечение мистиков — последователей шейха Селима Чишти, в честь которого и был назван наследник. Характер у мальчика полон противоречий: он привязчивый, любит цветы и растения, но в то же время до беспамятства обкуривается опиумом и предается разврату, хотя и выращен суровыми поборниками нравственности. Селим безмерно стремится к удовольствиям, цитирует великих мудрецов и презирает отцовских любимцев, о которых говорит: «Не жди прозрения от лишенных зрения». Мальчик похож на скворца, поющего с чужого голоса, его вполне

могут использовать в игре против отца.

Пришелец же — полная ему противоположность; он ввязывается в любой спор и настолько увлекается самим процессом, что даже не постеснялся в пылу дискуссии подколоть императора, да еще при свидетелях, а это уж совсем никуда не годится. Возможно, именно с ним императору легче было бы говорить о том, что недоступно пониманию его сыновей. Когда Акбар убил князька Кучх-Нахина, его уже посещала мысль, что, может статься, он уничтожил единственного в мире человека, который способен был понять его и которого он смог бы полюбить. И вот теперь судьба, как бы откликаясь на его затаенное желание, дает ему еще один шанс — посылает второго подобного человека. Он, может быть, даже еще интереснее, потому что не только красно говорит, но и готов к любым неординарным действиям; это человек рассуждающий и вместе с тем склонный совершать безрассудные поступки, человек-парадокс, отрицающий парадоксы. На самом-то деле мошенник не менее противоречив, чем его Селим, и, вероятно, не более противоречив, чем любой другой на этой земле, но именно эта особенность характера Могора вызывала у него интерес. Возможно, он мог бы открыть тому юноше свое сердце, сказать ему то, чего не говорил никогда и никому, даже глухому льстецу Бхактираму Джайну, даже всеильному и всезнающему Абул-Фазлу.

Есть столько вещей, которые ему хотелось бы обсудить, вещей темных, неясных даже для Абул-Фазла и Бирбала, вещей, которые он не был готов обсуждать открыто в шатре Нового учения. К примеру, ему хотелось бы выяснить, отчего человеку надлежит придерживаться какой бы то ни было веры лишь на том основании, что это вера его отцов. Быть может, религия всего лишь семейная традиция? Быть может, истинной, единственно правильной веры вообще не существует, а есть лишь преемственность поколений? А ведь передать можно не только добродетель, но и заблуждение... Может ли быть, что религия не более чем заблуждение наших предков?

Что, если религии не существует вовсе? О да, про себя он допускал даже такое. Ему хотелось поделиться хоть с кем-нибудь подозрением, что это люди сотворили Бога, а не наоборот. Ему хотелось произнести вслух: мера всех вещей — человек, а не Бог. Человек — это центр, это верх и низ, это все, что вокруг; человек — это ангел и дьявол, чудо и грех; есть лишь человек — и нет ничего выше его. И пусть отныне и вовеки не станем мы строить иных храмов, кроме тех, где будут поклоняться роду людскому.

Основать религию Человека — в этом заключалась его самая заветная

и дерзостная мечта. В шатре Нового учения «водохлебы» и «винолюбцы» обзывали друг друга богохульниками и глупцами, а Акбару не терпелось поделиться с кем-нибудь своим разочарованием как в мистиках, так и в философах; хотелось отмахнуться от дискуссий, вычеркнуть из памяти все вековые, унаследованные от предков представления о должном и недолжном, сакральном и мирском и вознести человека, нагого, каким он рождается, на трон небесный. (Ибо если исходить из того, что человек создал Бога, то это значит, что в силах человеческих и низвергнуть его. Возможно ли, чтобы сотворенный стал свободен от власти сотворившего его? А может статься, уже сотворенное божество нельзя уничтожить? Не обретает ли творение независимость воли, которая делает его бессмертным? Ответов на эти вопросы у императора не было, но сами по себе вопросы уже в какой-то степени содержали в себе эти ответы. Может быть, чужеземцу легче разобраться в том, что недоступно пониманию его соплеменников? А он сам, Акбар? Смог бы он существовать за пределами привычного круга представлений, в пугающей неизвестности нового мышления?

— Мы уходим, — сказал он, обращаясь к гостю. — Для одного дня мы услышали вполне достаточно мудрых мыслей.

Призрачный покой, обволакивающий замерший в знойном мареве дворцовый комплекс, вынуждал его обитателей устанавливать связь с событиями реального мира, ориентируясь на знамения и приметы. Когда случалась задержка с ежедневной поставкой льда, это означало, что во владениях царя неспокойно. Когда поверхность Ануп-Талао — несравненного, кристально чистого императорского водоема — подергивалась вдруг зеленой ряской, это означало, что кто-то во дворце готовит заговор. Когда же император покидал дворец и в паланкине следовал к озеру Сикри, все знали, что государь чем-то встревожен. Знамения, связанные с огнем, землей и воздухом, тоже учитывались, но самыми надежными все же считались те, что относились к водной стихии. Вода снабжала императора информацией, волны нашептывали ему правду, именно вода приносила ему успокоение. Тонкими ручейками и широкими потоками она бежала и журчала во внутренних двориках и вокруг всего дворцового ансамбля, и она же охлаждала его каменные чертоги снизу.

Разумеется, вода была символом чистоты для суровых стойков — последователей Бадауни, однако у императора Акбара с этой животворной субстанцией существовала совсем особая и гораздо более глубокая связь, чем у любого религиозного фанатика.

Каждое утро Бхактирам Джайн приносил государю для ритуального омовения сосуд с горячей водой. Акбар погружал лицо в пар, всматривался и определял свои действия на день. Когда он шел в императорскую баню-хаммам, то ложился в бассейне на спину и некоторое время колыхался по уши в воде, как большая рыба, а вода шептала ему самые потаенные мысли всех тех, кто в это время купался в радиусе трех миль от него. Искусственные водоемы обладали ограниченной возможностью передачи информации, поэтому, когда возникала нужда узнать о происходившем где-то в отдалении, ему требовалось погружение в реку. Однако магию хаммама тоже не следовало недооценивать. Именно вода бассейна поведала ему, например, о тайном дневнике, который вел тот же узколобый Бадауни. Дневник содержал злобную критику императорских идей и привычек, и если бы Акбар дал понять, что знает об этих записях, то ему не оставалось бы ничего другого, кроме как самолично и немедленно снести Бадауни его тупую башку. Поэтому Акбар оберегал тайну записей «водохлеба» так же бережно, как и свои собственные секреты. Правда, каждую ночь он засылал в покои злокозненного Бадауни своего самого лучшего шпиона Умара Айяра, с тем чтобы тот прочел и запомнил очередные, самые последние, страницы тайного сочинения, посвященного его царственной особе.

В услугах Умара Айяра император нуждался ничуть не меньше, чем в помощи воды. О его роли тайного соглядатая не было известно никому, кроме самого Акбара, — не знал об этом ни Бирбал, ни даже глава дворцовой шпионской сети Абул-Фазл. Юный евнух Умар Айяр, тоненький и гибкий, с безусым, гладким личиком, вполне мог сойти за девушку. По приказу Акбара он жил в одной из комнатенок женской половины дворца под видом прислужницы. Утром, в тот самый день, когда Акбар пригласил Могора дель Аморе сопровождать его в шатер Нового учения, Умар Айяр через потайную дверь, о существовании которой не подозревал даже Бхактирам Джайн, вошел в императорскую опочивальню и доложил своему господину о слушке, просочившемся сквозь стены борделя у Слоновых ворот: там шептались, будто желтоволосый чужеземец владеет некой тайной, способной повлиять на судьбу империи. Умару не удалось выяснить, в чем заключается эта тайна, и по сему поводу он сокрушался так по-девичьи, что императору пришлось утешать его, дабы тот вдобавок ко всему еще и не залился слезами.

Именно оттого, что Акбару ужасно хотелось узнать, в чем там дело, он прикинулся, будто ни о чем не догадывается, и хитроумно выстраивал свои встречи с гостем таким образом, чтобы, насколько возможно, оттянуть момент раскрытия секрета. Он постоянно держал чужеземца при своей особе, но никогда не оставался с ним наедине. Он брал его с собой на прогулку к голубятням, где гоняли голубей, он разрешил ему занять почетное место рядом с носителем императорского зонта, когда направился в паланкине к светящемуся озеру.

Акбар и впрямь пребывал в душевном смятении. Мало того, что ему предстояло выслушать некий великий секрет, доставленный с другого конца света, так к этому добавились еще и события прошлой ночи, проведенной с возлюбленной Джодхой. Он обнаружил, что она его не возбуждает так, как это бывало всегда. Она никогда его не разочаровывала, а давеча он поймал себя на мысли, что, быть может, для разнообразия стоит обратить внимание на какую-нибудь хорошенькую наложницу. Если ко всему этому добавить сомнения по поводу Всевышнего, то смятенное состояние его души было вполне объяснимо. Явно пришло время полежать на воде.

Из сентиментальности он сохранил, повелев заново оснастить их, четыре любимых дедом Бабуром судна. Теперь они курсировали по озеру. На самом большом из них, «Ганджайше», что значит «вместительный», доставляли лед из Кашмира; правда, на последнем этапе его путешествия с Гималайских вершин, прежде чем он попадал в дворцовые кувшины, его перегружали на малое судно, которое свирепому Бабуру — почитателю красот природы и основателю империи Великих Моголов — подарил когда-то тезка Акбара, султан Джелаль-ад-дин. Сам Акбар предпочитал «Асаиш», что значит «располагающий к отдыху», которому для связи с берегом и перевозки гостей было придано небольшое быстроходное суденышко «Фармаиш». Четвертый корабль, «Араиш» («украшение»), предназначался для романтических встреч и посещался в основном в ночное время. Акбар провел Могора дель Аморе в главную каюту «Асаиша» и облегченно вздохнул: он всегда радовался, когда под его ногами вместо твердой почвы плескалась чуткая вода.

Чужеземца прямо распирало от желания открыться, — он напомнил Акбару испуганную женщину, которой пришло время рожать. Акбар продлил его мучения, озаботив себя соблюдением всех правил приема гостя: он приказал принести подушки, вино и книги. Прежде чем напиток достигал царственных уст, его надлежало трижды испробовать на возможное наличие яда, и хотя эта процедура раздражала императора, он

ею не пренебрегал.

Правило в отношении книг Акбар изменил. В прежние времена каждую из книг для императора полагалось просматривать трем разным цензорам на предмет обнаружения неприличных мест и всякого рода измышлений. «Иными словами, — провозгласил юный Акбар, взойдя на трон, — нам предстоит читать самое скучное из когда-либо написанного. Мы этого делать не намерены». С тех пор император читал все что хотел, однако мнения трех «рецензентов» все-таки доводились до его сведения, поскольку правила, охранявшего государя от всего, что могло его поразить, никто не отменял. Подушки тоже проходили досмотр — на случай, если кому-нибудь из недоброжелателей вздумалось бы засунуть в одну из них гибельное лезвие. Все эти процедуры были наконец выполнены, и лишь после этого Акбар повелел оставить себя наедине с гостем.

— Ваше Величество, — начал Могор дель Аморе, и его голос, хоть и совсем чуть-чуть, но все-таки дрогнул, — позвольте мне изложить вам дело чрезвычайной важности. Оно предназначено лишь для ваших — и более ничьих — ушей.

Акбар разразился громким смехом:

— Полагаем, если бы еще несколько минут мы не позволили тебе говорить, то ты не выдержал бы и отправился на тот свет. Весь последний час ты напоминал чирей, готовый прорваться.

Чужеземец залился краской.

— Вашему Величеству известно все на свете, — проговорил он, низко поклонившись (император не предложил ему сесть), — однако осмелюсь предположить, что мое сообщение станет для вас неожиданностью, хотя оно и касается достаточно известных фактов.

Теперь уже император не смеялся.

— Хорошо, — произнес он. — Говори, что там у тебя, и хватит играть в прятки.

— Ваша воля, государь. Итак, давным-давно в турецкой стороне жил принц — страстный любитель приключений, звали его Аргалья или Аркалья. Он был отважным воином, владел волшебным оружием и держал при себе женщину по имени Анджелика...

И тут со стремительно приближавшейся легкой лодки, где находился Абул-Фазл с небольшой группой людей, донесся громкий крик: «Тревога! Жизнь императора в опасности! Спасайте императора!» В тот же момент в каюту ворвалась команда судна, и Могор дель Аморе был схвачен. Чья-то мускулистая рука сдавила ему горло, и сразу три меча были приставлены к его груди. Император поднялся, и вооруженные люди на всякий случай

окружили его плотным кольцом.

— Анджелика, принцесса Индии и Катая...^[22] — прохрипел чужеземец. Сильная рука еще крепче сдавила ему горло. — Самая прекрасная... — успел еще выговорить он, прежде чем потерял сознание.

В кромешном мраке каземата его цепи...

В кромешном мраке каземата его цепи доставляли ему такие же муки, как и тайна, которую он так и не успел открыть. Они обвивали его тело, и во тьме ему представлялось, будто он замурован внутри огромного человека из железа. Двигаться он не мог. Свет? Его можно было вызвать лишь силой воображения: каземат был выдолблен в скальной породе под дворцовым комплексом. Он дышал воздухом, которому было тысяча лет, и столько же лет, наверное, было тем существам, что ползали по его ногам, забирались в волосы на голове и копошились возле мошонки: тараканы-альбиносы, слепые змеи, прозрачные, безволосые мыши, призраки-скорпионы, вши. Ему предстояло умереть, так и не рассказав свою историю. Он отказывался в это поверить, а она, невысказанная, продолжала в нем жить, лезла ему в уши, щипала глаза, она липла к нёбу и щекотала язык. Каждый живой человек жаждет быть услышанным. Он еще жил, но если умрет, так и не высказавшись, то уподобится таракану-альбиносу — нет, еще хуже — станет просто плесенью. Каземат не был способен воспринять его рассказ, каземат недвижим и черен, ему неизвестно, что такое время и свет, что такое движение, а рассказ требовал и движения, и времени, и света. Он чувствовал, как мало-помалу его история уплывает от него, теряет свое значение, перестает жить. Нет у него никакого рассказа. Нет и не было. Он не человек. Здесь нет людей — лишь каземат и липкая тьма.

Когда за ним пришли, он не понимал, сколько времени провел в заключении, — может, день, а может, целый век. Он не видел грубых рук, снявших с него цепи, какое-то время он даже не слышал и не мог говорить. Ему завязали глаза и отвели куда-то, где его мыли и скребли. «Как покойника перед погребением, — подумал он, — как хладный труп». Правда, в этой басурманской стране не хоронят по-христиански, они обернут его в саван и закопают. Или сожгут. И не будет мира его душе. И после смерти, как и пока он был жив, невысказанное будет мучить его, и это станет его личным адом, и не будет этому конца. Вдруг он услышал какие-то звуки: *Когда-то, давным-давно...* Это был его собственный голос. *...Жил принц,* — и он почувствовал, как сердце его застучало и кровь побежала быстрее. Распухший язык шевелился. Сердце молотом

колотилось в груди. Он снова обрел тело и способность произносить слова! Ему сняли с глаз повязку. *Четыре страшных великана и женщина были с ним...* Снова каземат, но другой, здесь горела свеча, а в углу расположился стражник. *Женщина несравненной красоты...* Нерассказанная история возвращала его к жизни.

— Побереги силы. Завтра тебя будут судить за убийство — сказал страж.

Пленник хотел задать вопрос, но не сумел, и стражник, видимо, почувствовав к нему жалость, объяснил:

— Я не знаю, как зовут того, кто тебя обвиняет, но он, как и ты, не правоверный мусульманин, он тоже из чужой земли, он одноглазый, и у него не хватает половины ноги.

Первое заседание суда над Могором дель Аморе состоялось в зале приемов с каменным банановым деревом посередине, а его судьями стали по высочайшему указу самые знатные персоны двора — все девять его светил: многомудрый, тучный Абул-Фазл, остроумец раджа Бирбал, министр финансов раджа Тодар Мал, раджа и полководец Ман Сингх, аскет и мистик — факир Азиуддин, далеко не аскет мулла До Пиаза, предпочитавший молитвам занятия кулинарией и потому особо любимый Абул-Фазлом, а также оба знаменитых поэта — Файзи и Абдул Рахим — и музыкант Тансен. Император, как обычно, восседал на банановом древе, однако пребывал в совсем не обычном для подобных появлений на публике настроении. Он сидел понурившись, словно человек, переживающий глубокую личную трагедию. Он долго хранил молчание, хотя и сделал знак, что суд может приступить к рассмотрению дела.

Матросы со «Скатах» встретили появление пленника глухим ропотом. Они стояли, сбившись в кучку, позади одноногого лекаря с повязкой на глазу, которого, судя по всему, избрали в качестве главного обвинителя. Этот мрачный господин в ловко сидящем на нем офицерском мундире был мало похож на того плаксивого Хоукинса Слава Господу, каким запомнил его Могор дель Аморе. При виде пленника, указуя на него перстом, Хоукинс звучным голосом произнес:

— Вот он, презренный Уччелло, который убил посла ради того, чтобы завладеть его золотом!

— Справедливости! — вскричали моряки, но тут же прозвучало требование менее бескорыстное: — Деньги наши отдавай!

Обвиняемый, стоящий перед ними в длинной белой рубахе, со связанными за спиной руками, обвел глазами зал: император, девять судей, толпа обвинителей и теснящиеся на крытой галерее менее значимые

свидетели, среди коих, благодаря черным сутанам, он различил обоих католических священников — Родольфо Аквавиву и Антонио Монсеррата, которые присутствовали здесь, дабы удостовериться, что к людям с Запада отнесутся со всей справедливостью и, быть может, отдадут им то, что они требуют. Представшая взорам пленника картина не оставляла ему никаких надежд на спасение. Он понял, что сильно просчитался. Он никак не ожидал, что это отребье станет охотиться за ним после смерти своего капитана, и не позаботился о том, чтобы замести следы. Если учесть, что желтоволосый чужеземец в пестром плаще, ехавший стоя на половьей повозке, не столь уж частое зрелище в здешних краях, то выследить его было несложно. Их много, а он один, — похоже, он проиграл...

— Нам он известен под другим именем, — раздался голос Абул-Фазла. Через своего переводчика-перса Абул-Фазлу ответил отец Аквавива.

— Могор дель Аморе — это вовсе не имя, — сказал он инальчиво. — Это значит «Могол незаконнорожденный», дитя любви. Назвавшись так, он выказал величайшую наглость, и многие воспримут это как оскорбление, поскольку сие означает, будто он считает себя незаконным отпрыском царского рода.

Зал загудел. Голова Акбара совсем поникла, подбородок коснулся груди.

— Отвечай, как твое настоящее имя! — проговорил Абул-Фазл. — Уверен, что Уччелло тоже всего лишь твоя выдумка.

Пленник молчал. И тут, неожиданно для всех присутствующих, с высоты грянул голос:

— Назови свое имя! — крикнул Акбар, и его тон странным образом напомнил жалобные причитания Хоукинса Слава Господу по поводу своей португальской дамы сердца — разве только в голосе Акбара было все-таки несколько больше властности. — Называй имя, *фаранги*, или умрешь!

— Меня зовут Веспуччи, — тихо выговорил обвиняемый. — Никколо Веспуччи.

— Снова ложь! — крикнул Аквавива. — Веспуччи — ничего себе! — И он расхохотался неприлично громко, как смеются люди Запада, убежденные в своем превосходстве во всем, включая и манеру смеяться. — Вот уж действительно вор и отъявленный мерзавец! На этот раз ты украд имя у знатного флорентийского рода.

Но тут его опередил высокочтимый Бирбал:

— Мы весьма благодарны вам, святой отец, за ваше предыдущее разъяснение, однако в дальнейшем попросим вас воздержаться от выкриков. Перед нами довольно необычный случай. Благородный

шотландец умер — это ясно, и все мы скорбим об этом. Послание Ее Величества, которое было при нем, обвиняемый передал по назначению — и это тоже факт. Однако доставка этим человеком письма усопшего еще не делает его убийцей. Команда судна утверждает, что в результате длительного обыска капитанской каюты были обнаружены семь тайников и все они оказались пусты. Но кто изъясил из них содержимое? Вот этого мы уже не можем сказать с уверенностью. Возможно, в тайниках действительно хранилось золото и драгоценности, возможно, они были пусты изначально. Корабельный лекарь Хоукинс показал под присягой, будто теперь он убежден в том, что его командир умер вследствие отравления лауданумом, однако поскольку, по его собственным словам, он день и ночь не отходил от больного до самой его кончины, то можно предположить, что он просто хочет переложить свою вину на другого. Моряки обвиняют узника в краже, однако единственная вещь, несомненно взятая у покойного, а именно послание Ее Величества, была обвиняемым честно доставлена по назначению. Что же касается золота, а также лауданума, то среди принадлежащих ему вещей ничего подобного найдено не было. — Бирбал хлопнул в ладоши, и появился человек с охапкой одежды обвиняемого, включая и его сшитый из кожаных ромбиков пестрый плащ. — Мы тщательно осмотрели все его вещи, в том числе и суму, которую он оставил в пользующемся дурной славой доме у Слоновых ворот, и обнаружили массу предметов, которыми обычно пользуются фокусники: колоду карт, игральные кости, всякого рода приспособления для обмана зрителей, даже живую птицу — но ни малейшего следа золота или драгоценностей.

Что же мы можем заключить на основании всего найденного и услышанного? Либо перед нами опытный вор, сумевший каким-то образом укрыть награбленное, либо он не крал, так как красть было нечего, и люди, присутствующие здесь, обвиняют невинного человека. Количество обвинителей свидетельствует не в его пользу, но и это ничего не означает, ибо они все на поверку могут оказаться бандитами.

Но тут с высоты раздался резкий голос Акбара:

— Человеку, назвавшемуся фальшивым именем, нельзя верить ни в чем. Мы за то, чтобы всё решил слон.

Присутствующие встревоженно загудели. У Бирбала потемнело лицо.

— Джаханпана! — произнес он. — Дозволь узнать, о хранитель вселенной, помнишь ли ты известную притчу о пастушонке и тигре?

— Ну да. Кажется, она про то, как пастушонок, чтобы подразнить сельчан, несколько раз подряд звал на помощь, уверяя, будто на него напал

тигр, и так всем надоел, что, когда тигр и вправду явился, никто не пришел мальчишке на помощь.

— Ты прав, о хранитель вселенной, однако в притче говорится о невежественных крестьянах. Уверен, что царь царей и хранитель вселенной рассудил бы иначе — не пожелал бы, чтобы мальчишку загрыз тигр лишь потому, что тот лгун и проказник.

— Возможно, — изрек «хранитель вселенной», — однако в данном случае мы будем рады увидеть, как наш слон растопчет его.

«Император ведет себя как мужчина, внезапно обнаруживший, что возлюбленная недостойна его любви», — подумал Бирбал и собрался было привести новые доводы в пользу смягчения приговора, но тут обвиняемый произнес фразу, после которой его уже ничто не могло спасти.

— Прежде чем вы убьете меня, Ваше Величество, — решительно проговорил он, — хочу вас предупредить: моя смерть станет проклятием для вас и столицы вашей, ибо меня защищают самые могущественные чары на свете. Эти чары шлют радость и процветание всем, кто помогает мне, и сулят неисчислимыя несчастья тем, кто причинит мне вред.

Император взглянул на него так, как смотрят на комара, перед тем как его прихлопнуть.

— Очень любопытно, — проронил он. — И знаете ли отчего, господин Уччелло, или Могор, или Веспуччи? Оттого, что мы построили этот город в месте упокоения величайшего святого, почитаемого по всей Индии шейха Селима Чишти. Он наш покровитель, и он посылает неисчислимыя беды на всех недругов наших. Вот нам и любопытно, чьи чары сильнее — вашего колдуна или нашего святого человека?

— Моя ворожея — самая сильная во всех подлунных царствах, — сказал пленник, и стены дрогнули от неудержимого хохота присутствующих.

— А-а, — протянул император, — так это женщина. И впрямь очень страшно. Ну хватит! Отведите злодея к слону, увидим, сумеет ли женщина-колдунья защитить его.

Второе заседание суда над человеком с тремя именами состоялось в Саду Хирана. Такое имя императору взбрело в голову дать своему любимому слону, хотя на самом деле слово «хиран» означает «лань». Не исключено, что именно из-за своей клички слон, многие годы прослуживший верой и правдой своему господину, вдруг впал в бешенство, и его вынуждены были держать в цепях. (Как известно, с именами шутки плохи, и если имя нареченному им не подходит, то в этого человека вселяется злая сила.) Даже после того как слон взбесился (и ослеп к тому

же), император запретил убивать его. Ему отвели для прогулок целый парк и держали в специально построенном стойле с обитыми мягким материалом стенами — чтобы животное не поранило себя во время приступов ярости. По прихоти императора слона этого время от времени использовали для исполнения сразу двух обязанностей — судьи и палача.

В том, чтобы человека, назвавшегося не своим, а чужим именем, судил обезумевший от нежного, не подходившего ему имени слон, была своя логика. Слепой Хиран находился в Саду правосудия. Он стоял, удерживаемый канатом, пропущенным сквозь отверстие в камне, врытом в землю. Слон громко трубил, топтал, и его клыки сверкали словно два клинка. Чтобы посмотреть на казнь человека с тремя именами, в Саду собралась большая толпа. Кроме придворных тут было много всякого другого народа, и все они стали свидетелями чуда. Пленнику развязали руки — с их помощью он никак не мог спасти себя, а всего лишь принял бы смерть с большим достоинством. Осужденный протянул руки наверх, к слону, и на глазах у всех собравшихся слон неожиданно успокоился, позволил погладить себя, а затем и знать, и простолюдины одновременно ахнули от изумления: слон бережно обвил хобот вокруг тела пленника, приподнял его — и вот уже желтоволосый чужак сидит на слоновьей спине, словно какой-нибудь принц.

Акбар вместе с Бирбалом наблюдал за происходящим с высоты пятиэтажного сооружения, носившего название Панч-Махал, и оба они были потрясены увиденным.

— Выходит, безумен и слеп не слон, а мы сами, — произнес Акбар, обращаясь к своему советнику. — Вели тотчас же всю команду взять под стражу. Невинного вымыть, одеть и привести к нам.

— Что верно, то верно — слон не убил его, — задумчиво отозвался Бирбал, — только значит ли это, что сей человек невиновен? Если виноваты моряки, то с чего им было тащиться к нам, в такую даль? Не проще ли было убраться восвояси, да поскорее?

Акбар усмехнулся:

— Любишь же ты плыть против течения, Бирбал. Еще недавно ты защищал этого человека, теперь же, когда он оправдан, начинаешь сомневаться в нем. Так вот тебе аргумент, против которого ты не устоишь: действия слона совпадают с волей императора. Если Акбар одобряет Хирана, значит, слон тысячекратно прав, и тебе придется с этим считаться.

Умар Айяр посетил моряков в их узилище. Одетый в женское платье, с прикрытым кисеей лицом, он двигался легко, грациозно, и мужчины смотрели на «нее» с недоумением: они не понимали, что понадобилось девице в каменной обители сумрачных теней. «Деввица» не называла себя, не стала объяснять причины своего появления, она сразу приступила к делу, обратившись к ним с весьма необычным предложением. Поскольку император все же не совсем уверен в их вине, он собирается установить за синьором Веспуччи постоянное наблюдение, полагая, что тот рано или поздно чем-нибудь выдаст себя, как обычно случается со всеми преступниками. Если моряки и впрямь жаждут справедливого возмездия за смерть своего капитана, то им придется согласиться на долгие, тяжкие дни заключения, покуда Веспуччи не будет изобличен. Тогда, уверил Умар, их невиновность уже не будет вызывать ни малейших сомнений, а император употребит всю свою власть, чтобы примерно наказать злодея. Разумеется, никто не возьмется сейчас предсказать, сколь долго продлится ожидание. Хотя тюрьма она и есть тюрьма, спору нет, тут придется нелегко. Зато это будет честно по отношению к памяти их командира. Айяр сообщил, однако, что, если им это не подходит, ему поручено организовать их побег. Их препроводят на корабль и отпустят, — правда, тогда дело Веспуччи будет закрыто, ибо этот побег станет доказательством их вины, и, если они вздумают когда-нибудь вернуться, их всех казнят за убийство лорда Хоуксбенка.

— Таков выбор, который в своей безграничной мудрости предоставляет вам хранитель вселенной, — тоненьким голоском, торжественно и по-женски нараспев произнес евнух.

И тут немедленно обнаружилось, что честность и верность не принадлежат к числу добродетелей, коими обладает команда «Скатах».

— Ну и оставляйте себе этого подлого убийцу, а мы хотим домой, — ответствовал за всех Хоукинс Слава Господу.

«У англичан нет будущего, — брезгливо скажет себе Умар Айяр. — Нация, которая не знает, что такое преданность и самопожертвование, обречена и скоро исчезнет с лица земли».

К тому времени заново обретшего свое подлинное имя Никколо Веспуччи уже провели в личные покои Акбара. Ему вернули его одежду,

поверх которой он небрежно накинул свой знаменитый разноцветный плащ. Никколо вновь обрел и свое спокойствие, более того — на его лице играла торжествующая улыбка, как у фокусника, который только что с успехом исполнил сложный трюк, — заставил, например, исчезнуть дворец, прошел невредимым сквозь пламя или укротил бешеного слона. Император и Бирбал были поражены его самодовольным видом.

— Как тебе это удалось? — спросил Акбар. — Почему слон тебя не тронул?

Улыбка Веспуччи стала еще шире:

— Ваш слон предан Вашему Величеству, и поскольку с недавних пор вы осчастливили меня своим расположением, то он наверняка уловил на моей персоне знакомый ему аромат ваших благовоний.

«Разве это не то, чем грешим мы все? — спросил себя император. — Успокоительная ложь, постоянное стремление чуть-чуть исказить истину, подсластить ее. Быть может, изворотливость этого человека с тремя именами просто наиболее зримое отображение недостатка, присущего всем нам? Возможно, действительность кажется нам слишком пресной? Есть ли хоть один человек на белом свете, который хотя бы раз в жизни не исказил истины или не отступил от нее? Может быть, и я ничуть не лучше его?»

Веспуччи тем временем размышлял о доверии. Не доверявший ни одной живой душе, он доверился женщине, и она спасла ему жизнь. Он остался в живых благодаря Скелетине — вот уж поистине чудо из чудес! Все, что хранилось в потайных карманах его удивительного, казавшегося невесомым плаща, вновь обрело свой истинный вес в его ладонях. Золотые слитки, тяжелая горсть самоцветов — все это было извлечено и передано ей, Скелетине.

— Теперь я полностью в твоей власти, — сказал он. — Если решишь обчистить меня до нитки, я не смогу тебе помешать.

— Ничего-то ты не понял, — отозвалась она. — Это ты взял надо мной власть, которой я не могу противиться.

Он так и не уразумел, что именно Скелетина имела в виду, а ей было неизвестно до сей поры, что такое любовь, и она не знала, как это объяснить, так что свое спасение он и вправду воспринял как некое чудо. В тот момент, когда ему развязали руки, дабы он мог помолиться и предстать перед Создателем в приличном виде, он понял, что Скелетина предвидела подобный поворот событий. Из потайного места, куда не догадался заглянуть ни один из обыскивавших его, он незаметно извлек крошечный флакончик с духами, имитирующими запах императорского тела. Это обмануло слепого слона и спасло Никколо жизнь. И вот наконец настал

момент, которого он так долго ждал.

Император заговорил:

— Сейчас неважно, как ты себя называешь, — начал он, — важно, чтобы ты перестал запираться и рассказал о себе всё — с начала и до конца. И побыстрее, пока у нас не пропало доброе расположение духа.

Никколо понял, с чего ему следует начать свой рассказ, в тот момент, когда слон по прозвищу Хиран посадил его, чужака, к себе на спину, словно он был особой королевской крови. Он знал, что того, кто слово в слово излагает свою историю несколько раз подряд, часто принимают за лжеца, затвердившего придуманную легенду, поэтому теперь было важно начать по-иному.

— Ваше Величество, — заговорил он, — царь царей, хранитель вселенной. С величайшим почтением имею сообщить вам, что я... — и вдруг смолк, будто боги отняли у него способность говорить.

— Продолжай! — недовольно бросил император. — Не смей молчать, говори, разрази тебя гром!

Чужак кашлянул и начал заново:

— Господин мой, я не кто иной, как...

— Ну?!

— Я не смею, о владыка...

— Ты должен!

— Подчиняюсь, но мне страшно.

— Говори, я приказываю!

— Так узнайте же, Ваше Величество...

— Продолжай!

Глубокий вздох, и затем — как прыжок в воду:

— Я ваш кровный родственник. Если быть более точным — племянник вашего деда и, следовательно, ваш... дядя.

Когда Великим Моголам жизнь преподносила неприятные сюрпризы...

Когда Великим Моголам жизнь преподносила неприятные сюрпризы, они всегда обращались за советом к своим старым матерям или теткам. Не успел Никколо Веспуччи закрыть рот после своего знаменательного признания, как император послал за своей матерью, Хамидой-бану, и за Гюльбадан-бегум, приходившейся ему теткой.

— Насколько нам известно, — обратился он к Бирбалу, — у нас нет запропастившихся куда-то дядюшек. К тому же тот, кто претендует на право так называться, лет на десять моложе нас, с желтыми волосами и внешне, на наш взгляд, ни малейшего сходства с Тимуридами не имеет; однако, прежде чем предпринять следующий шаг, мы спросим наших женщин — хранительниц семейных историй. Они помнят всё и обо всех.

Акбар и его министр отошли в сторону и принялись серьезно обсуждать ситуацию, не обращая при этом ни малейшего внимания на предполагаемого самозванца, так что Никколо даже стал сомневаться в своем собственном существовании. Если бы его спросили, он не смог бы отметить, вправду ли он находится в присутствии Великого Могола, или это наваждение, вызванное дозой опиума, и чем скорее он придет в себя, тем для него же лучше.

Неужто он не был растоптан слоном лишь для того, чтобы вскоре наложить на себя руки?

Теперь заговорил Бирбал:

— Имя Аргалья или Аркалья мне ни о чем не говорит, а Анджелика вообще не наше имя, оно чужеземное. К тому же мы еще не выяснили, какую, собственно, роль играют они в этой диковинной сказке. Не будем, однако, судить о них по именам, потому что, как известно, сменить имя очень легко.

Благородный Бирбал начинал свою жизнь сыном бедного брахмана, и это Акбар взял его во дворец и дал титул раджи. В ожидании прихода почтенных дам Акбар и министр ударились в воспоминания и будто снова стали мальчишками. Тогда Акбар заблудился во время охоты и, увидев мальчонку лет шести-семи, крикнул: «Эй, малыш, отвечай, какая из этих дорог ведет в Агру?» — а малыш вполне серьезно ответил: «Дороги никого

никуда не ведут, господин». — «Быть этого не может!» — гневно воскликнул мальчик Акбар, и малыш улыбнулся: «Дороги не умеют ходить, потому и не могут никого куда вести, но люди, если им нужно в Агру, обычно идут вот по этой». Благодаря этому позабавившему Акбара ответу мальчик очутился при дворе и обрел новое имя и новую жизнь.

— Значит, дядя... — протянул, размышляя вслух, Акбар. — Но какой дядя? Со стороны отца? Или по материнской линии? Может, муж тетки?

— Или же сын одного из потомков вашего деда? — рассудительно отозвался Бирбал.

Несмотря на серьезность их тона, Никколо понял, что друзья просто развлекаются за его счет. Решается его судьба, а для этих господ он сейчас просто новая игрушка. Видно, плохи его дела.

Во дворце был целый лабиринт надежно укрытых от посторонних глаз плотными занавесями коридоров, предназначенных исключительно для женщин. По одному из таких коридоров, словно две большие ладьи по узкому каналу, проплывали в тот самый момент две почтенные дамы — царица-мать Хамида-бану и принцесса Гюльбадан. Их сопровождала старшая невестка и доверенное лицо царицы Фатима-биби.

— Джиу, что за безумная идея пришла в голову малышу Акбару на этот раз? — спросила царица-мать. (Обращаясь к старшей невестке, она всегда называла ее особым, «домашним» именем.) — Неужели ему мало родственников, которые у него уже есть?

— ...Которые уже есть, — эхом повторила за своей госпожой Фатима-биби.

Гюльбадан покачала головой:

— Он знает, что мир по-прежнему полон тайн и самое невероятное может оказаться правдой.

Ее реплика была настолько неожиданной, что царица-мать затруднилась с ответом, и женщины продолжили путь в полном молчании.

День был ветреный, и драгоценные ткани занавесей тревожно хлопали, как паруса в бурю. Ветер трепал и приводил в беспорядок богато изукрашенные одежды женщин: широкие юбки, расшитые камизы,^[23] тонкие шарфы, накинутые на голову и скрывавшие лицо. Чем ближе они подходили к покоям государя, тем сильнее бесчинствовал ветер.

А вдруг это знамение? — подумалось Хамиде. — Что, если все, чем мы жили, на что полагались, будет развеяно ветром и нам придется существовать в непредсказуемом, таинственном мире Гюльбадан? Хамида-бану была женщиной пылкой, властной, и всякие там непредсказуемости не одобряла. Она была убеждена, что знает всё лучше,

чем кто-либо, — так ей внушили с детства, и она почитала своим священным долгом разъяснить это остальным без всяких околичностей. Император в затруднении, ну так она сейчас быстро приведет его в чувство. Гюльбадан, правда, как ни странно, пребывает в несколько ином состоянии духа.

Со времени своего возвращения из паломничества в Мекку Гюльбадан, казалось, утратила веру в незыблемость вещей. Похоже, великое путешествие к святым местам, вместо того чтобы укрепить ее представление о неизменности небесного и земного мироустройства, расшатало их. Хамиде этот хадж,^[24] предпринятый Гюльбадан, в котором участвовали исключительно пожилые знатные матроны, лишний раз продемонстрировал тот нежелательный, слишком уж резкий поворот к новому, который наметился в стиле правления ее сына. «Женский хадж? — спросила она, когда Гюльбадан впервые заговорила об этом с Акбаром. — И ты хочешь это разрешить?!» Она заявила, что сама ни при каких обстоятельствах не будет в нем участвовать, — нет, ни за что на свете! Однако к Гюльбадан присоединилась и вторая старшая жена ее покойного супруга, Салима, и жена Аскари-хана, Салтанам, та, что спасла младенцу Акбару жизнь, когда родители бежали и бросили его на произвол судьбы, — та самая Салтанам, которая стала ему больше матерью, чем родившая его Хамида. Вместе с ними в паломничество отправились черкесская жена Бабура, сводные сестры Акбара, внучка Гюльбадан и многочисленные прислужницы. Три с половиной года на чужбине! Долгие годы жизни в вынужденном изгнании в Персии навсегда отбили у Хамиды охоту путешествовать в дальние страны, а тут — три с половиной года! Даже представить страшно! Нет уж, Гюльбадан пускай едет куда хочет, а дело царицы-матери — оставаться дома и следить за порядком.

И действительно, все три с половиной года она провела в мире и покое, Гюльбадан не надоедала ей своей болтовней, и влияние на царя царей Хамиде не приходилось делить ни с кем. Она была единственным арбитром во всех дворцовых конфликтах. Жены Акбара для нее были просто девчонки, — разумеется, не считая жены-призрака. Та была помешана на сексе, знала назубок все непристойные трактаты, но ее вообще не стоило принимать в расчет. Однако настал день, когда Гюльбадан вернулась, и теперь она прозывалась не иначе как Совершившая Хадж, что изменило баланс власти на женской половине. Самым же неприятным было то, что Гюльбадан-паломница очень мало и неохотно говорила о божественном, зато постоянно пускалась в рассуждения относительно женской доли и скрытых возможностях женщин, а также

насчет того, что им-де не следует целиком подчиняться мужчинам, а надлежит строить жизнь по собственному усмотрению. Уж коли они смогли совершить хадж, значит, им под силу все что угодно: могут покорять горные вершины, сочинять стихи и сами править миром. Все это вызвало скандал и брожение умов, но императору понравилось, поскольку поражало воображение новизной. Похоже, ее сын так навсегда и остался в душе ребенком: он хватался за любую привлекательную идею как малыш за блестящую серебряную погремушку, серьезный мир взрослых вещей его не привлекал совсем.

При всем при том Гюльбадан была старше ее по возрасту. Царица-мать обязана была это учитывать и выказывать ей соответствующие знаки уважения. Вообще-то к Гюльбадан невозможно было относиться с неприязнью. Она всегда улыбалась, рассказывала бесконечные потешные истории про своих взбалмошных двоюродных сестер, и хотя голова у нее была забита новомодной чепухой, сердце у нее было просто золотое. Хамида-бану часто говорила Гюльбадан, что каждое человеческое существо заключает в себе целое сообщество, — это дерево, можно сказать, не единично, а множественно, им управляют разные независимые силы, и если ты намеренно потрянешь одну из его ветвей, еще неизвестно, что за плод свалится тебе на голову. Но Гюльбадан лишь улыбалась и поступала по-своему. Все ее любили, и Хамида тоже. Это было самое неприятное. Это, а еще то, что Гюльбадан, несмотря на годы, была тонкая и гибкая, как молодая девушка. Тело же Хамиды тихо-мирно раздалось с годами, словно соревнуясь с расширяющейся империей, и теперь представляло собой своего рода небольшой континент с собственными горами и лесами, а также с собственной прекрасной столицей, а именно — с умной головой, вовсе не повредившейся с годами. Хамида-бану убеждала себя, что тело у нее такое, какое и полагается иметь даме ее возраста, то есть вполне обычное. Упрямое желание Гюльбадан оставаться молодой казалось Хамиде-бану лишним доказательством ее неуважения к традициям.

Они вошли в императорские покои через особую дверь для женщин. Она была скрыта за резной, украшенной инкрустацией панелью из ореха, и Гюльбадан, как и следовало ожидать, повела себя совершенно непредсказуемо. Ей не подобало непосредственно обращаться к чужеземцу, но, услышав, что тот говорит на их родном языке, она решила перейти прямо к делу.

— Эй ты, чужак! — крикнула она пронзительным, тонким голосом. — Ну-ка повтори, что за сказку ты нам привез с другого конца света!

История, которую, по уверениям чужеземца, он передавал слово в слово, состояла в следующем.

Его мать была принцессой чистой чагатайской крови, наследницей Чингисхана по прямой линии и приходилась родной сестрой первому Великому Моголу, императору Индии, которого называла Бобёр. (При упоминании этого прозвища Гюльбадан-бегум вся встрепенулась.) По словам незнакомца, о датах и местах событий ему ничего не известно, он лишь повторяет то, что ему рассказали. Его мать носила имя Анджелика, она была принцессой из рода Тимура, была наделена несравненной красотой и владела даром колдовства. Ей были ведомы такие зелья и заговоры, о которых не знал никто, кроме нее, и потому ее все боялись. Она была совсем юной, когда Самарканд, где находились ее царственный брат Бобёр и все его семейство, подвергся осаде предводителя узбеков, известного как Древоточец. За то, что государя отпустят из осажденной столицы целым и невредимым, Древоточец потребовал от Бобра отдать ему в рабство младшую сестру. Чтобы унижить девушку, он тут же подарил ее молодому водоносу, Баче Сакаву. Спустя два дня все тело Бачи покрылось страшными нарывами, особенно подмышки и промежность, и когда они лопнули, мужчина умер. С той поры ее никто не смел и пальцем тронуть. Вскоре она все же уступила домогательствам Древоточца. Прошло десять лет, и в битве при Мерве, у берегов Каспия, сам Древоточец был разбит царем Персии Исмаилом, а Анджелика снова стала добычей победителя. (Теперь пришла в волнение и Хамида-бану. Гюльбадан что-то шепнула ей на ухо, та кивнула, и из глаз ее брызнули слезы. Тут же из солидарности залилась слезами и Фатима-биби.)

Царь Персии, в свой черед, потерпел поражение от султана Османа, или Оттомана...

Тут обе почтенные матроны, не в силах более сдерживать свои эмоции, решились вмешаться. Царица-мать, взволнованная ничуть не менее своей легко возбудимой старшей невестки, громко повелела:

— Подойдите к нам, сын мой! — Владыка мира подчинился немедля.

Гюльбадан заговорила с ним шепотом, и Акбар замер. Лицо его выражало крайнюю степень изумления.

— Женщины подтверждают, что какая-то часть этой истории правдива, — проговорил он, обращаясь к Бирбалу. — «Бабур» по чагатайски действительно значит «Бобёр», а Древоточец, на том же

наречии Шибан, он же Шейбани-хан, действительно руководил осадой Самарканда. Он и вправду потребовал от моего деда Бабура отдать ему в качестве выкупа за свободу младшую сестру. Правда и то, что спустя десять лет Шейбани был разбит персидским шахом Исмаилом возле Мерва и сестра Бабура оказалась в руках персов.

— Простите, что прерываю, о владыка мира, — ответил Бирбал, — но, если мне не изменяет память, ту принцессу звали Ханзада. Ее судьба известна достаточно хорошо. По моим сведениям, шах Исмаил в знак своего дружеского расположения вернул принцессу Ханзаду в лоно семьи, и до самой своей кончины она прожила во дворце, окруженная почетом и уважением. Разумеется, тот факт, что чужеземец обладает столь подробными сведениями, сам по себе поразителен, однако он никак не может быть ее сыном. У Ханзады действительно был ребенок от Шейбани, но младенец погиб вместе со своим отцом от руки самого Исмаила. Таким образом, история этого человека — ложь.

Тут Бирбала неожиданно прервали.

— Но была еще вторая принцесса! — вскричали хором обе матроны.

— ...Цесса! — вслед за ними эхом откликнулась Фатима.

— В истории нашего семейства эта глава хранилась в секрете, о пресветлый владыка, — пояснила уже более спокойно Гюльбадан.

Все время, пока взволнованные дамы освежали в памяти присутствующих генеалогию Великих Моголов, человек, назвавший себя Могор дель Аморе, стоя, можно сказать, в самом сердце их империи, сохранял невозмутимое спокойствие.

— Позволь напомнить тебе, о всевидящий и всеведущий государь, — продолжала Гюльбадан, — что принцесс, рожденных от жен и наложниц, всегда было много.

Акбар досадливо вздохнул: когда Гюльбадан начинала, словно вспугнутый попугай, порхать по ветвям генеалогического древа, то невозможно было предсказать, сколько веток она перепробует, прежде чем усядется передохнуть на какой-то одной. Однако на этот раз его тетка изложила всё на удивление четко:

— Там были Михр-бану, Шахр-бану и Ядгар-Салтан.

— Только мать Ядгар не была царицей, — высокомерно молвила Хамида. — Она была всего лишь наложницей.

— ...Ицей, — прошептала Фатима.

— Правда, нужно признать, что хотя Ханзада и была старше других и официально считалась первой красавицей, на самом деле таковой отнюдь не являлась. Многие дочери наложниц были гораздо красивее, чем она.

— К тому же, дозволю заметить, владыка, Ханзада, увы, не терпела соперниц, — вмешалась снова Гюльбадан и рассказала то, что так тщательно держали в секрете.

Ханзаду признали первой красавицей потому, что она считалась старшей, самой главной и не собиралась никому уступать. На самом же деле краше всех была самая младшая из девочек-принцесс, и у нее была подружка-рабыня, тоже удивительно красивая и так похожая на свою госпожу, что ее стали называть Принцессино Зеркальце. Когда Ханзада попала в плен к Шейбани, там же оказались и маленькая принцесса вместе со своей подружкой-рабыней. Когда же Исмаил-шах освободил Ханзаду и вернул ее семье, младшая принцесса и ее Зеркальце остались в Персии. Именно потому, что она предпочла жизнь на чужбине возвращению домой, ее имя было изъято из семейных хроник.

— *Ла спеккъя*, — раздался вдруг голос незнакомца, — на нашем языке это значит «зеркало», у нас это слово мужского рода, но для нее сделали исключение. Да, так ее и прозвали — Спеккъя, девочка-зеркальце.

Повествование о прошлом обрастало новыми, поразительными деталями, все забыли про этикет, никто не обратил внимания на вмешательство в разговор постороннего, и Гюльбадан тонким, пронзительным голосом — как положено, чуть-чуть нараспев, — продолжала свой рассказ о принцессе и ее Зеркальце.

Хамида-бану не слышала ее. Она вся ушла в воспоминания. Вот она, совсем юная, с младенцем на руках и с супругом, Хумаюном, после его поражения спасается бегством от злейших врагов — от его родных братьев. В пустынных землях Кандагара так холодно, что разогретый на костре суп замерзал, пока его наливали в миску. Однажды, чтобы не умереть с голоду, им пришлось забить коня, и, отрезая куски, они варили их в шлеме, потому что у них не было котла. А потом их все же настигли, и ей пришлось бежать, бросив сына, своего маленького мальчика, — оставить его на произвол судьбы на месте боя, и чужая женщина, жена Аскарри, брата Хумаюна и его врага, спасла и вырастила ее малыша. Салтанам-бегум сделала для ее сына, императора, все то, что не смогла и не сумела сделать для него она, его родная мать.

«Прости меня», — шепнули ее губы, но Акбар ее не услышал, рассказ Гюльбадан уносил его к неизвестным берегам прошлого.

— Исчезнувшая из родословной принцесса не вернулась на родину вместе с Ханзадой, потому что — увы и ах! — влюбилась без памяти. Да, она полюбила чужеземца так сильно, что решила послушаться своего брата и государя, забыть про долг и честь семьи, что превыше всего на

свете. И Бобёр, то есть Бабур, в гневе велел вычеркнуть ее имя из истории семейства и запретил упоминать о ней когда-либо.

— Царь персов, в свою очередь, был повержен Османом, иначе Оттоманом, а принцесса с одним из своих воинов оказалась в Италии, — снова встрял в разговор Могор. — Его звали Аргалья, а ее Анджелика. Аргалья владел заговоренным оружием, и было у него четверо слуг-великанов, могучих и страшных, и всегда подле него скакала на коне Анджелика, принцесса Китая и Индии, — красавица и самая искусная в мире колдунья.

— Так как же все-таки ее звали на родине, эту самую принцессу? — спросил император, не обращая на Могора ни малейшего внимания.

Царица-мать покачала головой.

— Я не знала этого никогда, — проронила она.

А Гюльбадан сказала:

— Ее домашнее имя я, может, еще и вспомню, а вот настоящее забыла начисто.

— Анджеликой ее звали, — подал голос Могор, но тут из-за резной решетки до него донеслись слова Гюльбадан:

— Чужестранец поведал нам интересную историю, и надо бы узнать, откуда он ее добыл, но тут есть одна проблема, и я очень сомневаюсь, что ему удастся ее для нас разрешить.

Бирбал сразу понял, что имеет в виду Гюльбадан.

— Ну конечно, — отозвался он, — тут все дело в датах и в возрасте.

— Будь Ханзада-бегум еще жива, — продолжала Гюльбадан, — сейчас ей было бы сто семь лет. Ее самая младшая сестра была на восемь лет младше Бабура, то есть ей должно бы быть девяносто пять. Человеку, который сейчас перед нами, — тридцать, ну, тридцать один — никак не больше. Из этого следует, что если принцесса добралась до Италии, как говорит нам этот мужчина, и если, по его заверениям, он ее родной сын, то она должна была произвести его на свет приблизительно в шестьдесят два — шестьдесят четыре года. Что ж, если подобное чудо действительно имело место, тогда он и вправду дядя Вашему Величеству, сын сестры вашего деда и имеет все права называться принцем. Но в шестьдесят два года не рожают, так что эта версия не проходит.

Могору почудилось, что у его ног вдруг разверзлась глубокая могила. Теперь ему вряд ли удастся долго продержаться на ее краю.

— Я же сказал, что ни даты, ни места событий мне неизвестны! Могу сказать лишь одно: моя мать отнюдь не была старой каргой, она была молода и прекрасна! — выкрикнул он.

За резной решеткой стало тихо, и он понял, что именно сейчас, в этой тишине, решается его судьба. Наконец Гюльбадан заговорила снова:

— Спору нет: то, что он рассказал, не мог знать никто из посторонних. Если бы не он, эта история была бы похоронена вместе с нами. Уже одно это говорит все же в его пользу.

— Но ведь ты сама убедительно доказала всю абсурдность его утверждений, — заметил император.

— Как раз наоборот, потому что несовпадение дат и возрастов может иметь два объяснения, — возразила Гюльбадан.

Неожиданно для себя самой ее поддержала Хамида:

— Во-первых, — сказала она, — исчезнувшая принцесса, как известно, была колдуньей и знала секрет вечной молодости, так что вполне возможно, что ей удалось сохранить молодость, красоту и даже родить на седьмом десятке.

— Также вполне возможно, что вы обе лишились рассудка на старости лет, иначе как объяснить, что вы верите в подобную чепуху! — выйдя из себя, воскликнул Акбар и ударил кулаком об стену.

— Тихо, тихо, — проговорила Гюльбадан, словно успокаивая капризного ребенка. — Ты еще не выслушал мой второй довод.

— Ладно, так и быть, тетушка. Выскажись до конца, — проворчал Акбар, и Гюльбадан с невозмутимой педантичностью продолжала:

— Предположим, этот человек не врет и упомянутая принцесса со своим воякой много лет тому назад действительно добралась до Италии. Тогда возможно, что матерью стоящего перед нами человека стала не царственная возлюбленная этого Аргальи...

—.. А ее дочь, — закончил за нее император. — Но кто тогда его отец?

— Вот в этом-то и вся загвоздка, — заключил Бирбал.

Акбар повернулся к чужеземцу. Лицо его приобрело выражение терпеливого любопытства. Его необъяснимое дружеское расположение к Могору несколько охлаждалось неприятным для императора сознанием того, что посторонний каким-то образом оказался более осведомленным, чем он сам.

— Здесь, в Хиндустане, сказитель всегда знает, когда интерес публики к нему иссяк, — провозгласил Его Величество. — Слушатели просто встают и уходят или забрасывают его гнилыми овощами. А если слушателем является царь, то он в подобной ситуации велит сбросить рассказчика с крепостной стены вниз головой. В данном случае, дорогой Могор, твоим слушателем как раз и является царь.

В Андижане фазаны вырастали такими упитанными...

В Андижане фазаны вырастали такими упитанными, что одной птицей могли насытиться четверо. На берегах реки Андижан, питаемой водами Сырдарьи, росли фиалки, а весной там везде цвели тюльпаны и розы. Андижан, прародина Моголов, располагался в Ферганской долине и, как выразился дед Акбара в своем жизнеописании, «лежал в пятой стороне», на самом краю цивилизованного мира. Император никогда не видел землю своих предков, но знал о ней по описанию, оставленному Бабуром. Сама Фергана была расположена на Великом шелковом пути, к востоку от Самарканда. С севера от нее возносились к небу могучие вершины Гиндукуша. Там произрастали лучшие дыни и лучшие сорта винограда, там готовили жаркое из белого оленя и лакомились гранатами, начиненными миндалем. Там бежали стремительные потоки у подножия гор, там были пастбища с густой, сочной травой, там росли красноствольные спиреи, из древесины которых получались прочные стрелы и ручки для кнутов, там были залежи железа и аметистов. Тамошние женщины считались самыми красивыми, — правда, император знал, что это дело вкуса. Там родились покоритель Хиндустана Бабур и сама Хамида-бану, а также (предположительно, поскольку все сведения о ней были изъяты из анналов семьи) безымянная принцесса.

Сразу же после того как императору стало о ней известно, Акбар повелел своему любимому живописцу Дешванту ожидать его во Дворце сновидений, у Несравненного водоема. Когда Акбар, которому еще не было четырнадцати, взошел на трон, его однолетка Дешвант, сын одного из носильщиков царского паланкина, был неграмотным, вечно угрюмым мальчишкой. Тогда никто не подозревал о том, что он обладал талантом и неудержимой страстью к рисованию. По ночам, когда его никто не видел, он изрисовывал стены Фатехпур-Сикри. Это были не буквы и не слова, и не было в этом даже намека на непристойность — он рисовал карикатуры на знатных особ. Они были выполнены с таким сарказмом и имели столь поразительное сходство с изображаемой персоной, что все придворные преисполнились решимости выявить негодника и отрубить его злокозненные руки. Акбар тогда вызвал Абул-Фазла и главного живописца

Мир-Саеда Али к себе во Дворец сновидений и повелел им отыскать злоумышленника, прежде чем это сделают его ненавистники.

— Мы не желаем, чтобы подобный талант погиб от меча какого-нибудь разгневанного вельможи, — провозгласил он.

Неделю спустя Абул-Фазл явился к императору, крепко держа за ухо низкорослого, тощего и очень смуглого мальчишку. Дешвант извивался и громко протестовал, но Абул-Фазл подтащил его к Акбару, который в то время разыгрывал партию, где роль шахматных фигур выполняли девушки. Император оторвал взгляд от прелестных черных рабынь и распорядился немедленно определить Дешванта в ученики к Мир-Саеду Али и впредь запретить всем чинить ему какие-либо препятствия.

Повеление императора возымело действие. Против него оказалась бессильна даже старшая кормилица Акбара, зловредная Махам-Анага, хотя рисунок, где Дешвант изобразил ее и ее сына Адхама, явился не только самым обличительным из всех его работ, но и поистине провидческим. Рисунок был обнаружен однажды на стене «веселого дома» у Слоновых ворот и вызвал искреннее восхищение народа. Махам-Анага была изображена на нем в облике синюшной злобной старухи в окружении бесчисленных сосудов, где булькали зелья и яды, в то время как ее недобро ухмыляющийся ублюдок-сын предстал в виде отражения на стенке огромной реторты, сброшенной с крепостной стены прямо ему на голову. Акбар с невыразимым удивлением вспомнил об этом рисунке шесть лет спустя, когда Адхам, обуреваемый безумной жаждой власти, напал на императора, за что по его приговору был и на самом деле сброшен со стены.

Правда, Дешвант сказал, что подобного изображения не помнит, а сам рисунок к тому времени был давно уже стерт, так что императору оставалось лишь гадать, не явилось ли все это плодом его фантазии.

Дешвант сумел быстро стать самым блестящим художником дворцовой школы живописи. Он прославил себя изображениями бородатых гигантов, летящих на волшебных кофейниках, волосатых и пятнистых карликов — дэвов, бушующего моря, голубых с золотом драконов и небесных колдунов, просовывающих руки сквозь облака, чтобы чудесным образом спасти героя от гибели. Все сюжеты его рисунков имели один источник и служили одной цели — воплотить странные, не признающие никаких границ образы, которые рождались в воображении его юного господина, императора Акбара, — в его *кхаял*.^[25] Снова и снова Дешвант изображал легендарного героя Хамзу, разящего на своем волшебном трехглазом коне разнообразных чудовищ, и лучше, чем кто-либо из

собратьев-живописцев, четырнадцать лет подряд воссоздававших эпизоды из жизни Хамзы, с гордостью и ликованием в душе сознавал, что его рука, держащая кисть, на самом-то деле воспроизводит то жизнеописание, которое выдумал для себя Акбар. Это его видения, его фантазии возникали на полотне. Величие императора — в его деяниях, и оно, как и величие его *альтер эго*^[26] Хамзы, не только утверждалось его победами над всякого рода темными силами — непокорными князьками, реалистически изображенными драконами, таинственными дэвами — оно практически было сотворено благодаря серии подобных рисунков. Дешвант создал героя, который стал зеркальным отображением Акбара, и все собратья-художники (числом более сотни), включая великих мастеров-персов Мир-Саеда Али и Абдус-Саада, учились у него и перенимали эту его манеру. Их коллективное творчество на сюжеты героических свершений Хамзы и его друзей явило собой художественное воплощение Хиндустана Моголов; содружество художников символизировало и предвосхитило объединение империи под властью Великих Моголов и в какой-то степени содействовало ему.

— Все мы отображаем душу нашего императора, — меланхолично говорил Дешвант своим собратьям. — А когда его душа покинет тело, она будет жить в этих картинах. Они сделают его бессмертным.

Слава художника ничуть не изменила его пессимистического взгляда на жизнь. Он так и не завел семью и, подобно древнеиндийским мудрецам-риши, вел аскетический образ жизни. С годами Дешвант все более замыкался в себе, бывали периоды, когда он вообще не мог взяться за кисть и одиноко просиживал в своей мастерской, уставившись в угол, словно там притаилось одно из чудищ, которых столь виртуозно он изображал много лет подряд. Несмотря на все усугублявшиеся странности поведения, Дешвант по-прежнему вызывал всеобщее восхищение как самый талантливый живописец Хиндустана и лучший ученик двух великих персов, которых отец императора Хумаюн привез с собой, вернувшись после долгих лет изгнания. Поэтому именно Дешванта и призвал к себе Акбар, когда ему пришлось в голову исправить суровый приказ деда и посмертно вернуть исчезнувшую принцессу в лоно семьи.

— Возврати ее в этот мир, — сказал он. — Твоя кисть обладает магической силой, и, может статься, однажды принцесса вспорхнет с твоих полотен и явится к нам, чтобы отведать вина.

Магические силы самого Акбара, судя по всему, были уже подорваны сотворением и поддержанием жизни любимой Джодхи, а потому, не будучи в состоянии сделать это сам, он решил положиться на силу искусства.

Дешвант немедля принялся за работу, и вскоре у него появилась целая серия великолепных рисунков, затмивших собою даже его знаменитые картины о подвигах Хамзы. На них предстала вся Ферганская долина — с трехвратной, жадной до воды крепостью Андижан (девять речек несли ей свои воды да так и оставались ее вечными пленницами); с ее горным хребтом, вздымавшим к небесам свои двенадцать вершин у города Ош; с ее дикими просторами, где затерялись, подхваченные ветром, двенадцать дервишей; с ее змеями, дикими быками и множеством зайцев. На самом первом рисунке он изобразил принцессу четырехлетней девочкой, посреди цветущих лугов в предгорьях Йети-Кента. Она собирала листья и корни белладонны (возможно, для того, чтобы сделать еще ярче свои глаза, а может, чтобы извести ее ядом своих врагов). Возле ее ног простиралась поляна, поросшая волшебным растением, которое местные называли ауїқ оті, иначе именуемым мандрагорой. Над землей оно имело такой же вид, как и прочие пасленовые, однако под землей напоминало маленьких человечков, и когда корни его выдергивали, они кричали совсем как люди, погребенные заживо. Колдовские свойства мандрагоры общеизвестны, и всякому, кто видел этот, самый первый, рисунок, сразу становилось ясно, что благодаря своему невероятному художественному чутью, своему дару предвидения Дешванту удалось показать, что принцесса — одна из избранных, та, которая инстинктивно знает, как и чем защитит себя и как завоевать сердце мужчины (а нередко это одно и то же).

Сам рисунок, видимо, тоже обладал магическими свойствами, потому что, едва взглянув на него, Гюльбадан тут же вспомнила имя пропавшей, которое до той поры она силилась вызвать в памяти — даже в ущерб своему аппетиту, — но так и не преуспела в этом.

— Ее матерью была Макдум-Салтан-бегум, — низко склоняясь над ярким рисунком, произнесла она. Гюльбадан говорила так тихо, что императору и самому пришлось наклониться, чтобы разобрать ее слова. — Да-да, точно, Макдум, последняя любовь шейха Умара Мирзы. А девочку... Ну конечно же! Ее звали Кара-Кёз, и Ханзада ненавидела ее лютой ненавистью, пока не решила, что будет разумнее показать всем, что она ее нежно любит.

Тут Гюльбадан вспомнила и другие рассказы по поводу тщеславия Ханзады. Когда старшая принцесса по утрам открывала глаза, говорила она Акбару, старшей придворной даме было велено провозглашать: «О радость! Вот она просыпается, наша Ханзада-бегум, самая прекрасная женщина в мире! Вот она открывает очи и озирает царство красы своей!». Тот же ритуал повторялся, когда Ханзада приходила к своему отцу, шейху Умару

Мирзе: «Радуйся, о господин! К тебе явилась дочь твоя, самая красивая женщина в мире, та, что славится красотой, подобно тому как ты славен силою!» Когда же она являлась к матери, то грозная драконша-царица Кутлу-Нигар-ханум, сверкая огненными очами и жарко дыша, торжественно провозглашала: «О, Ханзада, прекрасная дочь моя! Подойди ближе и услади мои бедные слабеющие глаза красою своею!»

И тут Макдум-Салтан родила дочь. С самого ее появления на свет ее прозвали Кара-Кёз, то есть Черноглазка, за необычную, притягательную силу, которую чувствовал всякий, на кого она смотрела. С той поры Ханзада заметила существенное изменение в тоне славящих ее: искренности в славословиях явно поубавилось, и это было нестерпимо. В последующие годы на девочку было совершено несколько покушений, но связь между этими попытками и Ханзадой установить не удалось. Однажды яд подмешали в чашу с молоком, которое принесли ребенку. Она это молоко выпила и осталась невредимой, зато ее любимая собачка, которой Кара-Кёз отдала остатки, сдохла в страшных мучениях у нее на глазах. В другой раз к ее питью подмешали толченые алмазы, что должно было предопределить ее жуткую кончину: это называлось «выпить жидкое пламя», — но и алмазы не причинили ей ни малейшего вреда. О покушении на убийство стало известно лишь тогда, когда рабыня, чистившая горшок, обнаружила в кашках принцессы блестящие камешки.

Когда ни у кого не осталось сомнений в том, что Черноглазка обладает чудесным даром, покушения на ее жизнь прекратились и Ханзада, смилив гордыню, принялась, напротив, всячески привечать маленькую принцессу. Прошло совсем немного времени, и гордячка Ханзада целиком и полностью оказалась под влиянием своей младшей сводной сестренки. В окружении шейха Умара Мирзы заговорили о том, что в облике его младшей дочери на землю возвратилась легендарная Аланкува — монгольская богиня солнца, от которой пошел род Темучина, именуемого также Чингисханом. Считалось, что, будучи госпожой над светом, она держала в подчинении и все темные силы, угрожая тем, что в любой момент может рассеять мрак и уничтожить таким образом их единственное надежное убежище. Аланкува властвовала также над жизнью и смертью человека. Многими людьми подраставшая девочка стала восприниматься как богиня солнца.

Правда, это продолжалось недолго. С отцом Черноглазки, Умаром Мирзой, судьба обошлась жестоко. Однажды он отправился в город-крепость Акси, неподалеку от Андижана (Ах, Акси, родина сладчайших в

мире дынь *миртимурти!* Акси, возведенный, судя по рисункам Дешванта, на самом краю бездонной пропасти), и когда он навещал своих любимых голубей, земля подалась под его ногами, и он вместе с голубями и голубятней полетел вниз. На трон взошел двенадцатилетний сводный брат Черноглазки, Бабур. Ей самой было всего четыре года.

После неожиданной смерти Умара Мирзы и в последовавшие за нею смутные времена людям стало не до маленькой Кара-Кёз с ее сверхъестественными способностями, и богиня солнца Аланкува снова была возвращена туда, где ей и надлежало пребывать, то есть на небеса.

Падение Умара Мирзы, прадеда Акбара, тоже стало сюжетом одной из самых выдающихся работ Дешванта. На ней Умар Мирза летел вниз головой на фоне отвесных черных стен пропасти. Основной рисунок окаймляли изысканно выписанные, обрамленные растительным орнаментом сценки из жизни Умара Мирзы, дававшие представление о его личности: тучный, невысокого роста, добряк и говорун, любитель игры в триктрак, человек справедливый, но вспыльчивый. Как и все его потомки — Бабур, Хумаюн, Акбар и сын его Селим, — он имел слабость к крепким напиткам, а также к сладким шарикам из конопли, известным как *маджун*, что, собственно, и привело его к трагической гибели. Одурманенный маджуном Умар хотел схватить одного из голубей, слишком близко подошел к краю пропасти и рухнул вниз, после чего оказался там, где уже неважно, толстый ты или тонкий, короткий или длинный, разговорчивый или молчаливый; где не с кем играть в триктрак и не с кем драться и где можно оставаться под кайфом хоть целую вечность.

Картина Дешванта позволяла заглянуть и на самое дно, где собрались демоны, приветствующие падающего правителя. Со стороны художника это было очень рискованно, ибо намек на то, что предок императора попал в ад, мог стоить Дешванту жизни: ведь это давало основания предположить, что и сам Акбар обречен на адские муки.

Однако когда император увидел рисунок, он всего лишь со смехом заметил, что ад кажется ему намного забавнее, чем общество скучающих ангелов. «Водохлеб» Бадауни, когда ему передали слова Акбара, сказал, что империя обречена на гибель, потому что Всевышний не станет терпеть правителя, который открыто заигрывает с Сатаной. Империя, однако, устояла и просуществовала хоть и не вечность, но еще довольно долго; уцелел и Дешвант, хотя его век был значительно короче.

Следующие несколько лет жизни Черноглазки пришлись на тяжкий период смуты. Ее старший брат и покровитель Бабур все время проводил в походах. Победы сменялись поражениями, он то завоевывал новые земли,

то снова терял их; дядья нападали на него, он нападал на своих двоюродных братьев, а потом и на их отцов, но это всё были дела обычные, семейные. Меж тем где-то за ними уже маячила грозная фигура злейшего врага Тимурова клана, безродного узбека и непобедимого воина Древооточца — Шейбани-хана. Дешвант изобразил пяти-, шести- и семилетнюю Кара-Кёз в облике волшебного существа, заключенного в яйцо света посреди кипевшей вокруг битвы. Бабура захватил Самарканд, но потерял Андижан, потерял Самарканд, захватил опять, но затем потерял снова, и на этот раз вместе с сестрами. Древооточец-Шейбани осадил великий город, и у каждого из четырех его ворот — у Железных, у Ворот иголочников, у Ворот красильщиков и у Аметистовых ворот — кипели бои. И все-таки в конце концов голод заставил Бабура просить о пощаде. Шейбани-хан, наслышанный о несравненной красоте его сестры, отправил к Бабуру гонца с предложением выпустить его семейство из города в обмен на Ханзаду. Бабура не оставалось ничего другого, кроме как принять это условие, а Ханзаде — кроме как смириться с решением брата.

Итак, Ханзада стала жертвенным подношением, живой добычей, пешкой в большой игре, словно одна из черных рабынь на мраморной доске императорского двора. Однако во время прощального сбора всей семьи в царских покоях она сумела-таки навязать им свой личный выбор. Пальцы ее правой руки, словно когти легендарной птицы Рух, впились в запястье левой руки ее младшей сестры, и она выкрикнула: «Я готова уйти, но только вместе с Черноглазкой!» Никто из присутствующих не мог бы сказать с полной определенностью, чем руководствовалась при этом Ханзада — ненавистью или любовью, поскольку в ее отношениях с Кара-Кёз всегда присутствовало и то и другое. На картине Дешванта центральной в этой сцене была фигура Ханзады. Ее раскрытый рот указывал на то, что она громко выражает свое возмущение. Черноглазка рядом с нею выглядела испуганным ребенком, но стоило пристальнее взглянуть в ее бездонные черные глаза, становилось понятно, какая грозная сила в них таится. Она тоже была изображена с приоткрытым ртом, — видимо, сетовала на свою горькую судьбу и кричала, что не смирится. Примечательно другое: на картине Дешванта ее правая рука тоже сжимала чье-то запястье. Этим она давала понять, что коли Ханзада обречена стать пленницей Древооточца-Шейбани, а ей самой суждено зависеть от воли старшей сестры, то и она, в свою очередь, берет с собой свою маленькую рабыню по прозвищу Зеркальце.

Картина, таким образом, воспринималась как аллегория порочности абсолютной власти, показав, как эта власть сковывает общество — от

верхов до самых низов. Власть, цепляя сильнейших, которые тянут за собой тех, кто от них зависит, сковывает таким образом всех одной цепью. Если верховная власть — это вопль, то существование всех остальных — эхо, отзвук этого вопля. От него простые люди глохнут. И еще одна немаловажная особенность бросалась в глаза при взгляде на картину: в композиции Дешванта руки персонажей образовывали замкнутый круг, потому что свободная правая рука маленькой рабыни лежала на левом запястье Ханзады-бегум. Так они и стояли, три беспомощных существа, заключенные в кольцо собственных рук.

Замкнутая цепь служила указанием на то, что эхо может пойти в обратном направлении и временами рабыня способна взять верх над госпожой. История может, цепляясь, продвигаться не только сверху вниз, но и карабкаться снизу вверх. Случается, что и власть глохнет от воплей тех, кто внизу.

По мере того как Дешвант создавал новые картины, представлявшие Кара-Кёз в расцвете красоты и юности, все яснее становилось, что его кисть обладает прямо-таки магической силой. Изображения были столь полны жизни, что Бирбал, когда увидел их в первый раз, пророчески молвил: «Я боюсь за Дешванта. Он настолько увлечен этой давно умершей женщиной, что ему будет трудно оторваться от нее и вернуться в настоящее». Акбар же, глядя на сияющую красотой женщину, рожденную, вернее, возвращенную к жизни гением Дешванта, узнал в ней черноокую красавицу, воспетую «принцем среди поэтов» — блестящим версификатором Алишером Навои из Герата, который писал: *Свей себе гнездо в глубине глаз моих, о прекрасная! Тело твое, словно молодое деревце, цветет в саду моего сердца. За капельку пота на лице твоём я готов проститься с жизнью.* Именно последнюю строку этого стиха — *Я готов проститься с жизнью* — Дешвант умудрился вплести в узор на платье Кара-Кёз.

Герат, или, как его называли, Флоренция Востока, пал под натиском Шейбани вскоре после взятия им Самарканда, и именно в этом городе Ханзада, Кара-Кёз и Зеркальце провели большую часть своей жизни в плену. Люди говорили, что если весь мир — океан, то Герат — это самая крупная из его жемчужин. Навои утверждал, что поэты там на каждом шагу. «О славный Герат, с его мечетями, дворцами, с его базарами, где можно купить волшебный летающий ковер! Без сомнения, это удивительное место», — думал Акбар. Но Герат Дешванта, озаренный красотой принцессы Кара-Кёз, был в тысячу раз прекраснее настоящего — Герат-мечта, созданный специально для женщины-мечты, в которую, как

справедливо догадался Бирбал, Дешвант безнадежно влюбился. Дешвант рисовал день и ночь, рисовал как безумный — и так неделя за неделей, не давая себе передышки даже на день. Он совсем отоцал, его глаза вылезали из орбит, а он всё рисовал. Друзья стали опасаться за его жизнь.

— Он совсем ушел в себя, — шепнул как-то Абдус-Самад Мир-Саеду Али. — Такое чувство, будто он собирается покончить с третьим измерением, существующим в природе реальных вещей, и распластаться на листе в виде рисунка.

Как и замечание Бирбала, эти слова оказались пророческими, что не замедлило вскоре выясниться.

Собратья Дешванта стали потихоньку следить за ним: они опасались, что во время затянувшегося периода черной меланхолии он попытается что-нибудь учинить над собой. Сменяя друг друга, они наблюдали за ним постоянно. Это было несложно, потому что, кроме своей работы, он не обращал внимания ни на что другое. Они видели, как художник в порыве безумия прижимает к груди свои листы, слышали, как он шепчет: «Дыши!» Он работал в тот момент над листом, которому суждено было стать последним в серии, получившей название «Кара-Кёз-наме», то есть «Сказание о Черноглазке». Композицию этого листа отличала динамичность и глубина обобщения. В углу картины был изображен Древоточец, истекающий кровью у Каспийского моря, кишащего странными, фантастическими существами. Остальное пространство рисунка занимала сцена, изображавшая встречу шаха Исмаила с пленницами в Герате. На лице перса застыло мрачное выражение обиды, оно напомнило Акбару выражение лица, характерное для самого Дешванта, и императору подумалось, что, возможно, художник таким способом попытался в историю о пропавшей принцессе включить и себя. Как оказалось, Дешвант шагнул еще дальше.

Дело в том, что, несмотря на неусыпное наблюдение, художнику удалось бесследно исчезнуть. Больше его не встречали нигде — ни при дворе, ни в самом городе, ни в других краях Хиндустана. Его тело не прибывало к берегу озерной волной, его труп не болтался в петле — Дешвант просто исчез, испарился, будто его и не было никогда, а вместе с ним исчезли и все его рисунки — все, за исключением последнего, на котором Кара-Кёз выглядела прекраснее, чем на всех прочих: на нем была изображена ее первая встреча с человеком, которому предстояло стать ее судьбой. Тайну, как и следовало ожидать, разгадал Бирбал. Спустя восемь дней после исчезновения Дешванта этот самый проницательный из придворных Акбара, пристально разглядывая последнюю картину

Дешванта в надежде отыскать ключ к исчезновению художника, обратил внимание на некую странность, которая оставалась до сих пор незамеченной. Казалось, в нижнем левом углу рисунок чуть-чуть вышел за формат, выбранный художником, и был продолжен под широким орнаментальным обрамлением. Картину вернули в мастерскую, туда же проследовали сам Акбар, а также Бирбал и Абул-Фазл. Под руководством обоих мастеров-персов обрамление было осторожно отделено от листа, и, когда скрытый кусочек живописи предстал взорам присутствующих, раздался всеобщий возглас изумления: там, сгорбившийся, как маленькая черепаха, с прижатым к груди рулоном рисунков, стоял Дешвант — великий живописец, автор настенных сатирических картинок, сын носильщика царского паланкина и вор, укравший «Кара-Кёз-наме»; Дешвант, сбежавший в тот мир, который стал для него единственно реальным, — мир, где жила скрытая от всех принцесса.

Дешвант сам создал этот мир, и мир этот взял его себе. Дешвант совершил некий акт, казалось бы невозможный, прямо противоположный тому, который совершил император, вдохнув жизнь в возлюбленную из своих грез: вместо того чтобы воплотить изображение в жизнь, Дешвант, движимый любовью, обратил себя в изображенный персонаж. Акбар понял: если грань между реальным и воображаемым можно пересечь в одном направлении, то возможен и обратный переход — мечтатель может превратить себя в мечту.

— Верните обрамление на место, — велел он, — и пусть бедняга обретет наконец покой.

Его приказ был исполнен, и повесть о Дешванте была оттеснена туда, где ей и надлежало быть, — на задворки истории, в то время как на авансцене, стоя лицом к лицу, остались вновь обнаруженная принцесса и ее новый возлюбленный — Кара-Кёз, она же Анджелика, и персидский шах Исмаил.

II

Где семя повешенного упадет на землю...

«Где семя повешенного упадет на землю, — читал Макиа,^[27] — там и найдешь мандрагору». Мальчишками, когда Нино Аргалья и его лучший друг Макиа еще жили в селении Сант-Андреа округа Перкусина, что во Флоренции, они мечтали найти корень мандрагоры, чтобы обрести волшебную власть над женским полом. Они решили, что рано или поздно отыщут в лесу хоть одного висельника, и неутомимо рыскали в дубовой роще Каффаджо — родового поместья семейства Никколо — и в долине около монастыря Санта-Мария дель Импрунета. Они даже забирались в лес возле замка Биббионе, но находили одни лишь грибы. Однажды, правда, наткнулись на неизвестный темный цветок, но от него они лишь покрылись пылью. Потом они решили, что, возможно, совсем не обязательно, чтобы мандрагору оплодотворило именно семя висельника, и после долгих усилий выдавили из себя по несколько капель, но земля осталась равнодушной к их стараниям, и не произвела мандрагору на свет божий.

Но вот однажды, в пасхальное воскресенье, когда им обоим было почти по десять, восемьдесят заговорщиков, включая архиепископа в полном облачении, по приказу Лоренцо Медичи были вывешены в окнах Палаццо Синьории.^[28] Как раз в это время Аргалья находился в гостях у Макиа и его отца Бернардо, в их особняке напротив Понте Веккьо, совсем близко от упомянутого Палаццо, и когда они увидели бегущих к площади людей, то кинулись следом.

Папаша Бернардо, взволнованный и испуганный не меньше подростков, тоже побежал с ними. Человек начитанный, веселый и кроткий, Бернардо казней и кровопролитий не одобрял, но архиепископа, болтающегося в петле, не каждый день увидишь, на такое стоило посмотреть. Мальчишки успели захватить с собой миски — на случай, если им достанутся желанные капли семени. На площади они увидели своего приятеля Агостино. Он стоял под самыми окнами и, подпрыгивая от возбуждения, осыпал повешенных и всю их родню до седьмого колена отборной бранью, сопровождая это непристойными жестами. «Имел я вас всех!» — вопил он, обращаясь к начинающим разлагаться трупам, покачивающимся на ветру. Аргалья и Макиа шепнули ему про волшебные свойства мандрагоры, и он с миской в руках встал там, куда, по всей

видимости, должна была упасть вожделенная капля с архиепископского пениса. Позднее, у себя дома в Перкуссине, они закопали эти миски, пошептали над ними «сатанинские» слова и принялись тщетно ждать всходов любовного зелья.

«Истории о повешенных предателях никогда не бывают до конца правдивыми», — сказал в этом месте Акбар Могору дель Аморе.

Они с самого начала дружили втроем — Антонио Аргалья, Никколо Макиа и Аго Веспуччи. Самый дерзкий из них, златовласый Аго, принадлежал к драчливому и бранчливому клану Веспуччи. Они жили все скопом в перенаселенном городском квартале Онъиссанти, промышленяли торговлей оливковым маслом, вином и шерстью на противоположном берегу Арно, с жителями округа, который называли Драконье гнездо. Аго тоже сквернословил и кричал, что было вполне понятно, потому что темпераментные Веспуччи иначе изъясняться просто не умели; они и друг на друга орали, словно цирюльники или торговцы снадобьями от хворей со Старого рынка. Отец Аго служил нотариусом в канцелярии Лоренцо Медичи, так что после пасхальной резни и казней он оказался в стане тех, кто победил. «Только чертово войско Папы все равно сюда нагрянет, мы же убили его гребаного служителя, — шепнул Аго своим друзьям. — И Неаполь тоже нами недоволен».

Его двоюродного брата, двадцатичетырехлетнего Америго, или Альберико, Веспуччи, срочно пристроили сопровождать отца, которого звали Гвидо, в Париж — просить короля Франции о помощи клану Медичи. По блеску в глазах кузена Аго понял, что того гораздо больше интересует Париж, нежели встреча с королем. Сам Аго к путешествиям не стремился.

— Я-то заранее знаю, кем стану, когда вырасту, — сказал он приятелям, когда они бродили по лесам Перкуссины, где мандрагора так и не обнаружилась, — гребаным торговцем. Буду торговать овцами либо вином, а если поступлю на службу в канцелярию, то стану скребопером, нищим как церковная крыса и без всяких надежд на будущее.

Несмотря на унылые перспективы, которые он сам себе предрекал, Аго любил фантазировать и знал множество невероятных историй. Это были истории о путешествиях, подобных тем, какие совершил Марко Поло. Никто не верил его рассказам, но слушать их любили все. Особенно нравились его истории про самую красивую девушку в городе, а может статья, и во всем свете. Прошло всего два года, как Флоренция оплакала

умершую от чахотки Симонетту Каттанео. Она вышла замуж за одного из кузенов Аго, Марко Веспуччи, которого за глаза звали не иначе как Марко-рогоносец или Чудак. Дело в том, что устоять перед томной красотой белокурой Симонетты было невозможно. При одном взгляде на нее мужчины млели и готовы были целовать землю, по которой ступали ее ножки. Да что мужчины — ее любили даже женщины, ее любили кошки и собаки. Болезни, видимо, тоже ее любили, потому что она умерла, не дожив до двадцати четырех лет. Она стала женой Марка, но бедняга был вынужден делить ее со всем мужским населением, что он поначалу и делал с покорным добродушием, которое, по мнению вечно интригующих, завистливых родичей, явно свидетельствовало о том, что у Марко не всё в порядке с головой. «Подобная красота, — говорил этот бесхитростный человек, — не может принадлежать кому-то одному. Это всеобщее достояние — как река, или золотая казна, или прозрачный свет и легкий воздух Тосканы». Живописец Алессандро Филиппеи изображал ее много раз и в разных обликах: и как Венеру, и как Весну, и ее как таковую. Позируя, она всегда называла его «мой маленький бочонок», путая его со старшим братом, которого действительно прозвали Боттичелли, то есть «бочоночки», за его округлые формы. Филиппеи ничуть не был похож на бочонок, но поскольку Симонетте угодно было так его называть, он не протестовал и вскоре стал откликаться на это прозвище. Чаровница Симонетта имела над людьми такую власть, что ей не составляло труда превратить мужчину в то, чего ей в данный момент хотелось: в бога, в комнатную собачонку, в стульчик, на который она могла бы ставить ножки, и уж конечно в страстного любовника. Вокруг Симонетты сложился целый культ, люди даже украдкой молились ей в церкви, шепотом повторяя ее имя. Вскоре начали ходить слухи о сотворенных ею чудесах: будто бы встреченный ею человек, едва подняв на нее глаза, был поражен внезапной слепотой, другой же, наоборот, прозрел, когда она в порыве сострадания коснулась бледными пальчиками его лба; параличный ребенок вдруг встал на ножки и кинулся следом за нею, другой же мальчишка обезножил после того, как позволил себе сделать непристойный жест у нее за спиной. Братья Медичи — Лоренцо и Джулиано — сходили по ней с ума и даже устроили турнир в ее честь, причем Джулиано держал в руках знамя с ее портретом, выполненным Филиппеи, с девизом на французском: «La sans pareille» — «Несравненная». Этим он давал понять, что сумел опередить брата и завоевать благосклонность божественной Симонетты. Братья переселили ее к себе во дворец, и тут даже простак Марко понял, что супружеская жизнь его дала трещину, однако был предупрежден, что протесты могут

стоять ему жизни. После этого Марко Веспуччи сделался единственным во всем городе мужчиной, абсолютно равнодушным к прелестям Симонетты. «Она просто шлюха, — возглашал он в тавернах, которые стал часто посещать, дабы утопить в вине горечь измены. — По мне, так она страшна, как Медуза-горгона». Приезжие, которые были не в курсе семейных дел Марко, частенько избивали его за клевету на «несравненную», и в конце концов он вынужден был засесть у себя дома, в Онъиссанти, и напиваться в одиночку. Вскоре Симонетта занедужила и умерла, и все во Флоренции заговорили о том, что город утратил великую чаровницу и вместе с нею умерла часть его души. Люди даже стали верить в то, что однажды она воскреснет из мертвых, что до ее второго пришествия флорентийцы будут как потерянные и станут прежними лишь после ее возвращения. Тогда она, как Спаситель, возродит их к новой жизни. «Вы не представляете, на что решился Джулиано, чтобы она продолжала жить! — страшным шепотом рассказывал своим друзьям Аго под покровом монастырской рощи. — Он сделал ее вампиршей!» По словам шурина Симонетты, Джулиано вызвал к себе лучшего охотника на вампиров, некоего Доменико Салседо и велел тому привести к Симонетте одного из известных вампиров. На следующую ночь Салседо доставил к больной вампира, и тот укусил ее. Однако Симонетта не захотела примкнуть к этому бледному сообществу вечно живущих. Поняв, что стала вампиршей, она бросилась с башни Палаццо Веккьо и повисла на пике одного из стражей. Можно себе представить, чего стоило братьям Медичи сохранить все это в секрете.

Именно так, по словам шурина, окончила свою жизнь первая чаровница Флоренции, и после этого ни о каком ее воскрешении уже не могло быть и речи. Марко Веспуччи от горя лишился рассудка. «Ну и дурак, — цинично добавил от себя Аго. — Если бы мне досталась в жены такая горячая штучка, я бы запер ее в высокой-превысокой башне, чтобы никто не мог причинить ей вреда». Что до Джулиано Медичи, то во время мятежа клана Пацци он был заколот одним из заговорщиков. «Бочоночек» Филиппеи по-прежнему продолжал писать Симонетту, как будто надеясь тем самым вернуть ее к жизни.

— Совсем как Дешвант, — прошептал изумленный Акбар.

— Возможно, проклятие рода человеческого заключается не в том, что все мы разные, а именно в том, что все мы очень похожи, — отозвался Могор дель Аморе.

Трое друзей теперь почти все время проводили в блужданиях по лесам: искали мандрагору, выжимали из себя капельки семени и рассказывали друг другу всякие семейные небылицы — и все это для того, чтобы как-то заглушить свой страх. Дело в том, что вслед за подавлением мятежа в городе стала свирепствовать чума и детей ради безопасности отправили в деревню. Оставшийся в городе Бернардо, отец Никколо, подхватил заразу, но оказался в числе немногих выживших. Никколо уверял товарищей, что отец спасся благодаря своей жене Бартоломее, которая лечила их всех при помощи знаков. «Когда кто-нибудь в семье заболевает, мать обмазывает его кашей, — с серьезной миной рассказывал Никколо шепотом, чтобы его не могли подслушать совы. — Она использует разную крупу, в зависимости от болезни. От простой хвори — сладкую желтую кукурузу, если что посерьезнее — добавляет белое фриули, а от той болезни, что нынче, бросает туда еще капусту, помидоры и какие-то другие чудодейственные штуки. Мать велит нам раздеться догола и обмазывает с головы до пят горячей кашей. Эта каша всасывает в себя болезнь, и ты как новенький, вот! Видно, и чуму мамино средство одолело». После его рассказа Аргалья дал всему семейству Макиа новое имя: он стал называть их всех Полентини — кукурузники — и начал распевать припевки о воображаемой любимой по имени Полента: «Была бы она золотой флорин, я бы истратил ее один, — горланил он. — Книжкой была бы — отдал бы другу..»— «Луком была бы — согнул бы в дугу, — подхватил Аго. — Стала бы шлюшкой — отдал бы в аренду, сдал бы в аренду подружку Поленту». Под конец Макиа надоело дуться, и он присоединился к приятелям: «Стань она письмецом, послал бы ее — и дело с концом, а если она со значением — занялся б его уяснением».

Вскоре пришло горестное известие: родителей Нино Аргальи настигла чума — оба скончались, и Аргалья в десять лет стал сиротой.

Как раз в тот самый день, когда Нино пришел в лес, чтобы сообщить об этом, его друзья наконец-то нашли мандрагору. Она, словно испуганный зверек, пряталась под упавшей веткой.

— Осталось совсем чуть-чуть, — уныло сказал Аго, — узнать то волшебное слово, чтобы побыстрее стать мужчинами.

Когда подошел Аргалья, то по его взгляду ребята сразу поняли, что он свое волшебное слово уже знает. Они показали ему мандрагору, но Аргалья, пожав плечами, равнодушно произнес:

— Эта чепуха меня больше не интересует. Отправлюсь в Геную и вступлю в отряд кондотьеров.

Для кондотьеров — наемных солдат, предоставлявших свои услуги

любому городу-крепости, которому было слишком накладно иметь собственную армию, — то была уже пора заката. Прошло сто лет, а Флоренция до сих пор помнила своего спасителя — доблестного кондотьера Джованни Милано, шотландца по происхождению, известного там под именем Джон Хоуксбенк. Во Франции его звали Жан Обенк, в немецких кантонах Швейцарии — Ханс Хох. В Италии его прозвали Джованни Милано, потому что «милан» по-итальянски значит «сокол». Именно он командовал Белой ротой, а впоследствии в чине генерала сражался на стороне флорентийцев и одержал победу при Полпетто над ненавистными венецианцами. Сам знаменитый Паоло Уччелло работал над его надгробием, которое и сейчас можно увидеть в Дуомо. Всё так, но эпоха кондотьеров неумолимо подходила к концу.

По словам Аргалья, самым влиятельным из оставшихся кондотьеров был Андреа Дориа, который в то время помогал Генуе выйти из-под контроля Франции.

— Но ты же флорентиец, а французы — наши союзники! — вскричал Аго, вспомнив миссию, с которой отправились в Париж его родственники — отец и сын Веспуччи.

— Когда ты солдат удачи, то все твои личные и кровные обязательства уже не в счет, — солидно ответил Аргалья, проводя рукою по подбородку, будто там уже пробивалась щетина.

Солдаты Андреа Дориа были вооружены аркебузами. Эти аркебузы напоминали небольшие переносные пушки, и для стрельбы их устанавливали на треноги. В войске Андреа было много швейцарцев, а швейцарцы, как известно, самые лучшие воины и настоящие машины для убийства — бездушные, беспощадные, не ведающие страха. Андреа планировал, разделавшись с французами, возглавить генуэзскую флотилию и отправиться воевать с главным турком — Османом. Аргалью привлекала мысль о морских сражениях.

— У нас и так-то никогда не было денег, — вслух рассуждал он, — а теперь и дом в городе, и этот клочок земли — все уйдет на погашение отцовских долгов, так что мне остается или побираться на улицах, или рискнуть жизнью, чтобы разбогатеть. Вы оба раздобреете, народите от каких-нибудь куриц кучу ребятишек и, пока ваши жены будут утирать им сопли, будете проводить время в публичном доме у Сингаретты или у другой какой-нибудь пухленькой и дорогостоящей потаскушки — такой, которая смогла бы декламировать вам стихи, пока вы будете утрахивать ее до потери пульса. Я же в это время испущу дух на охваченной пламенем каравелле где-нибудь под Константинополем, с турецкой саблей в животе!

Или, как знать, может, я сам перейду в турецкую веру. Турок Аргалья, обладатель заговоренной сабли... А что — красиво звучит! И у меня в подчинении — четыре громадных швейцарца, тоже принявших мусульманство. Неплохо, по-моему. Когда ты кондотьер, то самое главное — захватить побольше золота и сокровищ, а за этим надо отправляться на Восток.

— Ты еще мальчишка, как и мы, — попытался разубедить его Макиа. — Неужели тебе не хочется сначала стать взрослым, а потом уж умирать?

— Это не для меня. Отправлюсь в неизведанные края, и буду воевать с чужими богами. Не знаю, на кого там люди молятся — на скорпионов, на чудищ или на червей, но готов спорить, они мрут, как и все.

— Если тебе так уж не терпится умереть, то хоть не богохульствуй перед смертью, — упрекнул его Никколо. — А лучше перебирайся-ка жить к нам! Отец любит тебя не меньше, чем меня. Или живи у Аго. В Онъиссанти целая орава Веспуччи, одним больше, одним меньше — не все ли равно? Они и не заметят.

Но Аргалья стоял на своем.

— Я уезжаю, — сказал он. — Андреа Дориа уже почти вытеснил из Генуи всех французов, и когда придет день освобождения, я хочу быть там.

— А сам-то ты каков, со своими тремя богами — плотником, отцом, духом, да еще с матушкой плотника в качестве богини? — с заметным раздражением спросил император. — Ты ведь из святой земли, где дозволяется вешать верховных слуг церкви и жечь простых священнослужителей на кострах, меж тем как сам глава церкви командует войском и расправляется с непокорными безо всяких церемоний, как настоящий воин или князь, — тебе-то самому из всех прочих религий какая больше по душе? Или все противны одинаково? Не сомневаюсь, что отцы Аквавива и Монсеррат думают о нас так же, как этот твой Аргалья, то есть считают нас грязными свиньями и безбожниками.

Ничуть не смутившись, Могор отвечал ему так:

— Меня, о господин мой, больше привлекают верования с пантеоном богов. Легенды их захватывают воображение своим разнообразием. В них больше

драматизма, больше юмора, больше чудесного, к тому же все эти божества отнюдь не паиньки: они постоянно встречаются в дела друг друга, они бывают капризны, тщеславны и мстительны, совершают неблагоприятные поступки, но все это, должен признаться, делает их весьма привлекательными.

— Нам тоже так кажется, — уже вполне миролюбивым тоном произнес император. — Нам нравятся эти любвеобильные и гневные, игривые и равнодушные к людям боги. Мы выбрали специальных людей — их сто один, — для того чтобы они выяснили имена и подсчитали количество хиндустанских богов, причем не только общеизвестных и всеми почитаемых, но и низших, второстепенных, тех, что обитают в разных местах — в шепчущихся рощах, в смеющихся горных ручьях. Мы повелели изыскателям покинуть семьи и странствовать до конца дней своих. Им предстоит выполнить невозможное, а когда человек стремится к невозможному, он ежечасно рискует жизнью. Для него странствие — акт очищения от грехов, чуть к самосовершенствованию. Таким образом, это не просто миссия, связанная с собиранием божественных имен, а путь к самому Всевышнему. Они еще только начали свое дело, но уже собрали целый миллион прозваний. Полагаем, божественных существ в этом краю обитает гораздо больше, чем простых смертных, и нам радостно пребывать на земле, где столько высших сил. И все же мы — это мы, и миллионы богов — это не для нас. Мы всегда останемся привержены суровой вере предков, так же, как и ты будешь жить по заповедям вашего плотника.

Акбар больше не смотрел на Могора. Он впал в глубокую задумчивость. На еще влажных от росы каменных плитах Сикри танцевали павлины, вдали прозрачно поплескивала величавая озерная гладь. Взгляд Акбара заскользил мимо павлинов, мимо озера, он устремлялся все дальше и, пролетев над Гератом и над владениями грозного турка, остановился на башнях и куполах далекого итальянского города.

— Представь себе готовые к поцелую полураскрытые губы женщины, — шепнул Могор. — Такова и Флоренция — сужающаяся к краям, расширяющаяся к самому центру, с рекой Арно, размыкающей ее посередине. Город-чаровница, город-ведьма. Она поцелует тебя — и ты пропал, царь или простой горожанин — неважно.

Акбар бродил по улицам второго такого же каменного, как Сикри, города, где, похоже, никто не хотел сидеть дома. В Сикри жизнь протекала за плотными занавесями, за закрытыми дверями, а в этом чужом городе вся она была на виду, под синим куполом небес. Люди ели в местах, где кружили птицы, играли в карты и в кости там, где сновали карманники, открыто целовались при всех, тискали своих подружек в узких переулках. Интересно, как себя чувствует человек в уличной толпе? Лишенный уединения, он сильнее ощущает свое отличие от других или, наоборот, меньше? Как действует толпа — усиливает она его эго или нивелирует его? В какой-то момент император почувствовал себя багдадским халифом Гаруном ар-Рашидом, который, укрывшись плащом, по ночам ходил по городу, чтобы узнать, как живет его народ. Но плащ Акбара был соткан из времени и пространства, и это был не его народ. Тогда откуда у него такое сильное чувство общности с обитателями этих шумных улочек? Почему он понимал их неразборчивую европейскую речь, как будто они говорили на его родном языке?

— Вопросы управления нас теперь мало волнуют, — заговорил Акбар. — У нас составлен свод законов, есть достойные доверия лица, ответственные за их соблюдение. У нас действует система налогов, позволяющая пополнять казну, но не лишаящая людей средств к существованию. Когда появляется враг, мы его уничтожаем. Короче говоря, в этой области у нас все отлажено. Смущает нас совсем другое — сам человек. Он остается для нас загадкой. Он и, разумеется, связанный с ним вопрос о месте женщины в этом мире.

— В моем родном городе, господин, — сказал

Могор, — на вопрос, что есть человек, давно ответили раз и навсегда. Ну а что касается женщины... Именно женщина — главный персонаж моего повествования, в ней одной весь его смысл, потому что спустя много лет после смерти Симонетты то, о чем шептался тогда народ, на самом деле произошло: чаровница снова явилась, но уже в другом облике.

Все, что любил Аго, находилось тут же, совсем рядом с ним...

Все, что любил Аго, находилось тут же, совсем рядом с ним, и, чтобы осуществить свои мечты, совсем не обязательно было, по его мнению, отправляться на край света и умирать там, среди гортанью говорящих чужаков. Когда-то давно в сумрачном восьмиугольнике баптистерия СанДжованни его, как и положено, крестили дважды: один раз как христианина, а второй — как флорентийца. Шалопай и циник, Аго признавал только второе свое крещение. Его религией был сам город, он искренне считал его земным раем. Великий Буонарроти называл двери баптистерия райскими воротами,^[29] и когда маленький Аго вышел оттуда с окропленной святой водою макушкой, он уже не сомневался, что находится в окруженном стенами раю. В городе имелось пятнадцать ворот, и створки их всех с внутренней стороны были украшены изображениями Девы Марии и различных святых. Отправляясь в путешествие, каждый флорентиец обязательно касался лика одного из святых — считалось, что это приносит удачу, — и всякий раз перед дальней дорогой советовался с астрологом. Аго Веспуччи считал эти суеверия нелепыми, они служили для него лишь подтверждением того, что путешествие само по себе великая глупость. Вселенная для Аго кончалась сразу за их поместьем в Перкусине; все, что находилось дальше, было покрыто мраком неизвестности. Генуя и Венеция казались ему такими же далекими, как планета Сириус или Альдебаран. «Планета» значит «блуждающий», «странник», поэтому к планетам он тоже относился с недоверием и предпочитал им неподвижные звезды. Генуя и созвездие Пса действительно настолько далеко, что трудно поверить в их реальность, но, по крайней мере, они имеют совесть не двигаться.

Как оказалось, ни Папа, ни король Неаполя после разгрома Пацци не стали нападать на Флоренцию. Зато, когда Аго было около двадцати, к ним с большой помпой заявился король Франции — уродливый рыжий карлик, чей несносный французский вызвал у Аго приступ тошноты. Он тогда отправился в бордель и усердно трудился, пока не поправил настроение. В этом вопросе Аго целиком соглашался со своим другом Макиа —

Макиавелли: какие бы сюрпризы ни преподносила жизнь, хорошая ночка с красоткой обычно ставит всё на свои места.

— На свете почти нет таких печалей, дорогой Аго, — наставительно говорил Макиа, когда им обоим было не больше тринадцати, — от которых не смогла бы исцелить женщина с соблазнительной задницей.

Аго, который, несмотря на всю браваду и сквернословие, был вдумчивым и добрым пареньком, наивно спросил:

— А как же сами женщины? К кому же они обращаются, когда им плохо?

Лицо Макиа выразило озадаченность: то ли он об этом как-то не подумал, то ли хотел показать, что не мужское это дело — тратить время на подобные размышления.

— Друг к другу, конечно, — ответил он спустя некоторое время с детской категоричностью, и Аго тотчас ему поверил: действительно, почему бы женщинам не искать утешения в объятиях друг друга, когда точно так же поступает добрая половина молодых флорентийцев?

Общеизвестное пристрастие к однополым связям в среде золотой молодежи Флоренции привело к тому, что город приобрел славу столицы гомосексуалистов. В свои тринадцать Никколо Макиавелли уже переименовал этот город в Новый Содом и тогда же объяснил Аго, что лично его интересуют исключительно женщины.

— Так что можешь не опасаться, что однажды я наскочу на тебя в лесу, — добавил он.

Многие из их сверстников, например Бьяджо Буонаккорси или Андреа ди Ромоло, имели иные склонности, и поэтому для борьбы с этим новомодным увлечением власти города при полной поддержке церкви учредили Комитет нравственности. Его задачей стало создание и содержание «веселых домов», а также подбор сутенеров и проституток как в самой Италии, так и в других частях Европы — для заполнения открывшихся вакансий. Веспуччи из Оньиссанти усмотрели в этом новые возможности расширения своего дела и наряду с шерстью и оливковым маслом стали торговать женщинами.

— Может, я даже не буду конторщиком, а кончу свою жизнь содержателем борделя, — уныло объявил другу шестнадцатилетний Аго, но Макиа тут же указал ему на положительную сторону подобного занятия:

— Зато тебя тогда будут обслуживать бесплатно, и все мы будем тебе завидовать, — утешил он.

Путь в Содом никогда не привлекал Аго Веспуччи, и, несмотря на бахвальство, он был на редкость стеснительным, в отличие от Макиа,

который, казалось, решил соревноваться с самим Приапом.^[30] Он с одинаковой страстью ухлестывал за всеми подряд — как за профессионалами, так и за дилетантками. По несколько раз на неделе водил упирающегося Аго в публичный дом. В самом начале, когда Аго приходилось сопровождать туда друга, он всегда выбирал одну и ту же, самую молоденькую, шлюшку, которая звалась Скандалисткой, но вела себя на удивление скромно. Тощая как скелет, она была родом из селения Биббине, никогда не раскрывала рта и казалась почти такой же напуганной, как сам Аго. Долгое время он платил ей просто за то, чтобы она сидела на краешке постели, когда он лежал, притворяясь спящим, пока хлипкая стенка не переставала содрогаться от любовных подвигов Никколо Макиа в соседней комнатухе. Затем Аго решил всерьез заняться ее просвещением и стал читать ей стихи. Как женщина отзывчивая, она делала вид, будто ей это нравится, хотя на самом деле умирала от скуки, более того — стихи ее раздражали, поскольку напоминали ей речи мужчины, произносящего заведомую ложь.

И вот настал день, когда она решила изменить положение дел. С робкой улыбкой Скандалистка приблизилась к Аго, одной рукой прикрыла его набитый сонетами Петрарки рот, а другою вытащила на свет божий его мужское достоинство. Аго покрылся пунцовым румянцем и вдруг начал чихать. Он чихал без остановки целый час, пока у него не пошла носом кровь. Тощая девушка решила, что он умирает, и кинулась за подмогой. Она вернулась с самой толстой женщиной, какую ему когда-либо доводилось видеть, и едва его нос уловил ее запах, он сразу успокоился и чих прекратился.

— Все ясно, — объявила толстуха Матрассина, — тебе хочется думать, что ты любишь худышек, а на самом деле тебе, малыш, нужно мясо.

Она обернулась к своей костлявой товарке и безо всяких церемоний велела ей отвалить, но тут, ни с того ни с сего, нос Аго опять взбунтовался.

— Матерь Божия! Да ты у нас, оказывается, проказник! — воскликнула толстуха. — Ты хочешь получить нас обоих зараз!

После этого Аго настолько вошел во вкус, что готов был заниматься любовью все дни напролет, чем немало поразил даже Никколо.

— Долго запрягаешь, да резво скачешь! — одобрительно заметил он. — Ты серая лошадка, но у тебя задатки чемпиона.

Аго стукнуло двадцать четыре, когда его пламенная любовь к родному городу подверглась суровому испытанию. Семейство Медичи было отправлено в изгнание, бордели позакрывали, и городской воздух пропитался духом религиозного ханжества. К власти прорвались

«плакальщики» — тупые фанатики, про которых Аго, стараясь, чтобы никто не слышал, сказал другу: «Может, они и родились флорентийцами, но, думаю, когда их при крещении кропили святой водой, вода испарилась, не успев подействовать потому что внутри у них бушевало адское пламя». Когда же их темной власти пришел конец, Аго высказался по этому поводу так: «Дьявол нарочно прислал их, дабы все поняли, что такое дьявольщина. Подумать только — они изводили нас целых четыре года! — И добавил: — Я знал, что под сутанами всегда таится зло!»

В тот день Аго мог произносить все это уже в полный голос, потому что обожаемый им город, подобно фениксу, возродился к новой жизни из пепла очистительного костра. Главный «плакальщик», монах Джироламо, [31] превративший жизнь горожан в кошмар, поджаривался посреди ратушной площади, точь-в-точь на том месте, где несколько лет назад его «похоронная команда» пыталась обратить в пепел самое красоту, швыряя в пламя картины, женские наряды, украшения и даже зеркала. Идиоты, они полагали, что тягу человека к красивым вещам, потребность в любовании чем-либо можно выжечь и уничтожить ханжеством!

— Жарься, жарься, поганый святоша! — выкрикивал Аго, прыгая вокруг костра, что никак не соответствовало его новому, солидному статусу канцелярского служащего. — Ведь это ты нам идею-то подкинул! Помнишь тот костер, четыре года назад?

Едкий запах горелой плоти ничуть не испортил Аго настроения: ему только что исполнилось двадцать восемь, и бордели открывались снова.

Город богатых купцов славился также красотой своих куртизанок. Как только «плакальщикам» пришел конец, в нем сразу же возродилась былая атмосфера похоти и сластолюбия. Бордели снова расцвели пышным цветом. В самом большом публичном доме «Маччиана», в центре города, рядом со Старым рынком и баптистерием, открыли ставни и ради праздника, а также для восстановления репутации снизили в тот день плату за услуги. Район «веселых домов» возле Пьяцца дель Фраскато вновь наводнили пляшущие медведи, карлики-жонглеры, ручные обезьянки в военных мундирах, обученные картинно падать, когда дрессировщик выкрикивал «Умри за родину!», и попугаи, при виде клиента безошибочно приветствовавшие его по имени. А самое главное — в город вернулись

куртизанки всех мастей и темпераментов: диковатые славянки, меланхолические польки, крикливые римлянки, толстушки немки, боевые швейцарки — в постели они были столь же воинственны, как и их соотечественники-мужчины на полях сражений, — ну и, разумеется, местные красотки — лучшие из всех. Аго и на ложе страсти оставался патриотом-домоседом: он снова вернулся к давно облюбленной парочке тосканок — Скандалистке и Матрассине. Кроме них он завел себе еще одну. Ее звали Беатриче Пизана, но она взяла себе имя предводительницы амазонок — Пенфесилея, поскольку, как и та, родилась с одной грудью, зато эта одна грудь считалась самой прекрасной грудью в городе, а для Аго это было все равно что в целом свете.

Когда село солнце и погас, выполнив свое назначение, костер на площади, из окон «Маччианы» и конкурировавшего с ним «веселого дома» в Коровьем переулке, грянула музыка, будто сами ангелы приветствовали таким образом возрождение радости жизни. Аго и Макиа решили в эту ночь оттянуться, заодно отпраздновав и конец беззаботной юности, ибо не успел еще погаснуть костер, как новая власть в лице Совета восьмидесяти призвала Никколо Макиавелли в Палаццо Синьории и назначила его на пост секретаря Второй канцелярии — ведомства, которое в Республике Флоренция занималось иностранными делами. Никколо тут же заявил, что берет к себе Аго.

— При чем тут я?! — завопил Аго. — Ты же знаешь, чья я этих вонючек-иностранцев терпеть не могу!

— Во-первых, *фурбо*, терпеть их буду я, а на тебя взвалю всю бумажную волокиту. Во-вторых, ты сам предсказал возвращение прежних времен, так что изволь не ворчать, когда это происходит.

— Пошел ты, *бугьяроне*, в задницу, — мрачно отозвался Аго и показал ему кукиш. — Ладно, давай напьемся и отпразднуем мой дар ясновидения.

Словом *фурбо* обычно обзывали уличных забияк и щеголей. *Бугьяроне* было прозвищем куда более оскорбительным, а применительно к Никколо вообще не соответствующим действительности, поскольку ни он, ни сам Аго однополый любовью, как правило, не баловались, хотя нынче, когда «плакальщики» спасались бегством или умирали от удара ножом в закоулках и конюшнях, Флоренция перестала таиться, а это означало, что молодые мужчины снова ходили в обнимку и целовались при всем честном народе.

— Буонаккорси и ди Ромоло могут теперь миловаться совершенно открыто, — заметил Никколо. — А кстати, я их тоже пристрою к себе, так что ты сможешь наблюдать, как они будут делать это прямо на службе, пока

я разъезжаю по делам.

— Эти чокнутые не могут мне показать ничего такого, чего бы я уже не видел, включая и жалкие маленькие сливы у них в штанах.

Возрождение, воскрешение, расцвет жизни! Прихожане родной церкви Аго в Онъиссанти, порог которой он переступил всего однажды, и то когда прошел слух, будто туда зашла одна из знаменитых куртизанок, клялись и божились, что скорбное лицо Мадонны великого Джотто в ту ночь просияло улыбкой. Именно вблизи этой церкви, снова заполненной до отказа богомольными куртизанками, разодетыми по последней миланской моде и демонстрирующими драгоценности — подарки своих богатых покровителей, к Аго и Макиа подошла *руффиана* — карлица Джульетта Веронезе, дуэнья, а, по слухам, еще и партнерша в любовных играх самой прославленной королевы ночи Алессандры Фьорентины. Друзья получили приглашение на ночной бал по случаю открытия знаменитого салона в Доме Марса, названного так в честь статуи бога войны, которая когда-то стояла на этом месте — на берегу Арно, у моста Граций, — пока ее не смыло во время наводнения. Приглашение изумило обоих. Даже если учесть, что Фьорентина через своих информаторов всегда получала самые свежие новости обо всех перемещениях во власти, новое назначение Макиа во Вторую канцелярию вряд ли могло считаться достаточным основанием для высокой чести быть включенным в число гостей этого салона для избранных. Приглашение туда же такой незначительной личности, как Аго Веспуччи, было вообще случаем беспрецедентным.

Разумеется, они не раз с восхищением разглядывали многочисленные миниатюры, изображающие Алессандру, любовались ее длинными белокурыми волосами, при виде которых невольно вспоминалась покойная Симонетта, чей муж, Марко-рогоносец, давно и безуспешно пытался получить приглашение в салон Алессандры. Для успеха дела Марко даже нанял *меццано* — специального посредника для переговоров с карлицей Фьорентины. От имени Марко тот сочинял любовные письма, распевал серенады под окнами ночной красавицы и даже отправил ей свиток с сонетом Петрарки, выполненный каллиграфическим почерком, однако двери салона так и остались для него закрытыми. «Мою госпожу не интересуют некрофильские фантазии безумного рогоносца, — сообщила посланцу Жюльетта Веронезе. — Скажи своему хозяину — пусть сделает дырку в картине, на которой нарисована его покойница, и воссоединяется с ней сколько душе угодно».

Спустя неделю Марко Веспуччи повесился.

Его тело болталось перед окнами Алессандры, на мосту Граций, но

Алессандра Фьорентина его не видела и безмятежно заплетала в косы свои золотистые волосы, как будто Марко был человек-невидимка. Она в совершенстве овладела искусством видеть лишь желаемое, а это самое важное, если хочешь принадлежать к хозяевам жизни, а не к жертвам. И город существовал на основе ее принципа: если эта женщина тебя не замечает, значит, тебя просто нет. Не увиденная ею смерть Марко Веспуччи стала для него второй смертью.

Десять лет назад, когда Алессандра была в расцвете юности, друзья часами глазели на нее, когда она, выйдя на балкон и облокотившись на красную бархатную подушечку, устремляла взор на воды Арно, благосклонно позволяя всем желающим рассматривать в глубоком декольте свою роскошную грудь (при этом она то и дело бросала взгляд на раскрытую книгу — предположительно «Декамерон» Боккаччо). Годы вынужденного публичного воздержания от утех, судя по всему, нисколько не повредили ее красоте. Теперь у нее было собственное палаццо, она стала признанной хозяйкой Дома Марса и намеревалась нынче же устроить большой прием. Приглашая Макиа и Аго, ее наперсница Джульетта Веронезе сообщила, что люди низшего сословия будут в это время иметь возможность развлечься в казино этажом ниже. Во время девятилетнего правления «плакальщика» Джульетте Веронезе пришлось несладко: она зарабатывала на жизнь, причесывая дам, предсказывая будущее и изготавливая приворотное зелье. Поговаривали, будто она раскапывала и грабила могилы, крада пуповины умерших младенцев, вырезала плеву у мертвых девственниц и выковыривала у покойников глаза — все это она использовала для своих снадобий. Аго пришел в ярость, ему не терпелось объяснить ей подходчивее, что уж кому-кому, но только не ей говорить о людях низшего сословия. Никколо успел сильно ущипнуть его, чтобы тот забыл о своем намерении, и Аго действительно перенес весь свой гнев на друга, но тут же забыл и об этом, потому что карлица засыпала их градом наставлений:

— Принесите Джульетте какие-нибудь стихи, она любит поэзию больше, чем цветы, — цветов у нее и так хватает. Принесите какую-нибудь новинку Саннадзаро или Чеччо д'Асколи, на худой конец разучите один из мадригалов Парабоско и вызовитесь спеть. Помните: с ней лучше не шутить — будете плохо петь, она и пощечину залепить может. Не надоедайте ей, иначе один из ее любимчиков выкинет вас в окно, как наскучившую игрушку. Не вздумайте компрометировать ее, иначе живыми домой не доберетесь: ее покровитель тут же велит заколоть вас в темном переулке. Вас пригласили с вполне определенной целью, и не суйте свой

нос туда, куда не просят.

— Так зачем же именно нас пригласили?

— Об этом она вам скажет сама... Если пожелает, конечно.

Великому Акбару донесли о неожиданной перемене к лучшему в жизни двух жриц любви из дешевого борделя, что у Слоновых ворот: Скелетина и Матраска обзавелись собственной виллой на берегу озера. Абул-Фазл сообщил государю, что люди связывают этот успех с возвышением их любимчика — иноземца Веспуччи, предпочитающего называть себя сомнительным именем Могор дель Аморе. «Что касается их внезапного обогащения, то о его источнике слухи ходят самые разные», — заключил Абул-Фазл. Умар Айяр, со своей стороны, тоже подтвердил, что «веселый дом» у озера, названный в честь хиндуистского бога войны Домом Сканды, приобрел большую популярность среди столичной знати. Утверждали, что подобное название нового дома вполне оправданно, потому что пребывание в постели с этими двумя особами скорее напоминает сражение, чем любовную забаву. Умар сообщил, что сам гений музыки Тансен сочинил в честь этих дам рагу двипака,^[32] и когда он исполнил ее там в первый раз, магическая мелодия заставила вспыхнуть незажженные светильники.

Император самолично посетил этот бордель, который в его сне стоял не на берегу озера, а у неизвестной реки, в чужой стране. По всей видимости, Могор дель Аморе тоже находился под властью гипнотического сна, потому что именно он в своем повествовании переместил двух этих шлюх на берега Арно. «Почему-то когда речь заходит о шлюхах, мужчины, как правило, прибегают ко лжи», — подумал Акбар — и простил рассказчика. У него и без того было достаточно причин для беспокойства.

«Если во сне ты устремляешься на поиски любви, это верный признак того, что ты ее утратил», — проснувшись поутру, подумал император. На следующую ночь он посетил Джодху и овладел ею с

такую бешеной страстью, какой не испытывал со времени возвращения из последнего похода. Когда император ушел от нее, чтобы слушать продолжение рассказа Могора дель Аморе, Джодха не знала, что и думать: то ли этот взрыв чувств означал возрождение их любви, то ли прощание с нею.

Если женщина хочет нравиться мужчине, говорил Акбар, она непременно должна обладать приятным голосом и быть искусной в пении. Она должна быть обучена игре на всех музыкальных инструментах и танцам, более того — ей надлежит, если потребуется, уметь делать все три вещи одновременно — петь, танцевать и играть на флейте или на струнном инструменте. Она должна владеть искусством каллиграфии, рисовать, уметь наносить татуировку и быть готовой к тому, чтобы и ей самой накололи рисунок на том месте, где его угодно видеть мужчине. Ей следует знать язык цветов — это нужно для того, чтобы подобающим образом украсить постель, мягкие подушки или ложе на земле. Цветок вишни означает верность, нарцисс — радость соединения, лотос — чистоту и правдивость. Ива — символ женщины, пион — символ мужчины. Бутоны граната даруют потомство, оливки приносят почет, сосновые шишки — знак долголетия и богатства. Всякого рода цветов на ползучих растениях следует избегать, ибо они напоминают о смерти.

В императорском гареме каждой женщине было отведено небольшое помещение, отделенное от соседнего глинобитной стенкой и выложенное большими, мягкими, подушками. Эти комнаты, словно стойла, окружали обширный двор, укрытый от палящего солнца огромным матерчатым, с зеркальцами шатром — шамианой. В один из дней Могору дель Аморе была

оказана великая честь сопровождать императора во время посещения гарема. За ними тенью следовал молодой евнух Умар Айяр, с гладкой, как у девушки, кожей, без единого волоска на теле, без бровей, с блестящим голым черепом, напоминающим шлем. Его возраст невозможно было определить, но инстинкт подсказывал Могору, что этот тонкий, гладкий мальчик убьет не моргнув глазом и, будь на то воля императора, без колебаний отсечет голову лучшему из своих друзей. Женщины гарема окружили их. Рисунок движения их гибких, божественно прекрасных тел, которые то свивались в клубок, то раскручивались, словно спирали, напомнил Могору картину планет вращающихся — да-да, именно так — вращающихся вокруг Солнца.

Он стал излагать императору новую гипотезу о гелиоцентрическом строении Вселенной. Он говорил тихо, поскольку в те дни за такое еретическое высказывание у него на родине можно было запросто сгореть на костре. О подобных вещах не полагалось говорить в полный голос, хотя здесь, в гареме Великого Могола, Папа навряд ли мог его услышать.

Акбар весело рассмеялся:

— Об этом известно уже сотни лет — сказал он. — До чего же отстала ваша новорожденная Европа! Она как ребенок, который выкидывает погремушку из воды во время купания, потому что ему не нравится ее звяканье.

Могор не стал возражать и несколько переменял тему:

— Я всего лишь хотел сказать, что вы, Ваше Величество, словно солнце, а они — как звезды, — заметил он.

— По крайней мере, что касается лести, нам есть чему у тебя поучиться, — отозвался Акбар и похлопал его по спине. — Нужно будет сказать нашему главному льстецу Бхактираму Джайну, чтобы перенял от тебя кое-что.

В полном молчании, медленно и бесшумно, словно создания, рожденные грезами, женщины продолжали

свое кружение — лишь воздух чуть колыхался, напоенный множеством возбуждающих желание ароматов. Никакой суеты, никакой спешки. Да и зачем спешить? Власть императора безгранична, и само время подчиняется ему. В их распоряжении — целая вечность.

— Искусством расцветивания, отбеливания и нанесения узора на зубы, ногти и тело женщина обязана владеть в совершенстве, — продолжал император.

От возбуждения его речь становилась все более невнятной. Он втянул в себя дым кальяна, глаза его затуманились. Женщины сужали круг, и теперь их тела то и дело касались Акбара и его гостя (тех, кому выпадала честь сопровождать императора, на время пребывания в гареме они почитали и ласкали так же, как и своего господина). А император меж тем заплетающимся языком объяснял гостю: женщине надлежит уметь извлекать музыку из бокалов, наполнив их разным количеством различных жидкостей. Она должна знать, каким образом установить на полу бокал из цветного стекла так, чтобы он не опрокидывался; должна уметь правильно обрамить и повесить картину, нанизать ожерелье, составить букет и сплести венок или гирлянду. Ей следует знать всё о сохранении воды чистой. Ее долг — разбираться в запахах и в том, какие украшения нужны для ушей. Кроме того, она должна владеть актерским мастерством, а также быть искусной кулинаркой, уметь делать шербет и лимонное питье, знать толк в драгоценностях, уметь закручивать тюрбан и, разумеется, быть искусенной в магии. Только в этом случае женщину можно приравнять к самому что ни на есть темному невежде мужского пола.

Императорские жены слились в единое тело — само олицетворение женщины. Она была подле обоих мужчин, она манила и желала. Евнух незаметно выскользнул из магического круга сладострастия, и, многорукая, многоопытная, она заставила смолкнуть их языки. Податливая женская плоть, множеством касаний приникала к твердой мужской. Могор отдал себя на милость сверхженщины, вспоминая при этом других,

далеких женщин прошлого: Симонетлау Веспуччи, Алессандру Фьорентину и ту, ради рассказа о которой он прибыл в Сикри. Они тоже стали частью нынешнего любовного переживания.

Позже, гораздо позже, обессиленно откинувшись на подушки, Могор сказал:

— В моем родном городе знатную женщину ценят прежде всего за скромность. Она ни в коем случае не должна допускать, чтобы о ней сплетничали, обязана быть верной, стыдливой, целомудренной и милосердной. Во время танца ей не следует делать резких движений, в ней не должно быть ничего от звучания медных труб и грохота барабанов. Рисовать ее рекомендуется безо всяких вольностей, улавливая лишь чисто внешнее, весьма отдаленное сходство, и прическа у нее должна быть строгой.

Император, уже почти заснувший, презрительно фыркнул.

— Ваши знатные мужчины, должно быть, подымают с ними от скуки, — пробормотал он.

— Зато наши куртизанки полностью соответствуют вашему идеалу, — отозвался Могор, — за исключением разве что фокуса с бокалом из цветного стекла.

— Никогда не имей дела с женщиной, которая не умеет установить бокал, — назидательно молвил Его Величество. — Такая женщина просто грязная потаскушка.

Той ночью Аго впервые в жизни влюбился по-настоящему и понял, что обожание — это тоже своего рода странствие по неизведанным краям. Он убедился, что, как бы ни претила ему — в отличие от его непоседливых друзей — мысль о путешествиях, пути любви тоже могут быть полны опасностей, там тоже могут подстерегать свои драконы и демоны и в любую минуту можно потерять не только жизнь, но и бессмертную душу. Для того чтобы осознать все это, ему хватило всего лишь одного взгляда.

Через полузатворенную дверь будуара он увидел Фьорентину. Она возлежала на позолоченной козетке в окружении небольшой группы знатнейших молодых людей Флоренции. Один из них, ее патрон Франческо дель Неро, в тот момент целовал ее левую грудь, а лохматая комнатная собачонка облизывала правую. Тут-то Аго понял, что пропал. Франческо дель Неро приходился родственником Макиавелли — весьма возможно, что именно благодаря ему друзья оказались в числе приглашенных, — но Аго было все равно. Он был готов немедленно придушить этого подонка, а заодно и чертову собачонку.

Да, чтобы завоевать ее благосклонность, ему предстоит победить множество соперников, нажить много денег. И по мере того как это будущее, словно волшебный ковер, разворачивалось перед его мысленным взором, беззаботность юности покидала его. Ее вытесняла решимость, сокрушительная и несгибаемая, как толедский клинок.

— Она будет моей, — шепнул он другу.

Макиа хмыкнул:

— Ну да, когда меня сделают Папой! Ты только посмотри на себя — разве таких любят прославленные красотки?! Нет, таких, как ты, они гоняют с поручениями и ноги об них вытирают.

— Пошел к черту! — вспыхнул вдруг Аго. — У тебя проклятое свойство всё предвидеть; мало того, тебя так и подмывает высказать человеку это прямо в лицо, а на его чувства ты плевать хотел! Отвали!

Широкие, как крылья летучей мыши, брови Никколв взметнулись вверх. Возможно, он понял, что зашел слишком далеко, и, расцеловав Аго в обе щеки, покаянно сказал:

— Ты прав, друг мой. Именно человеку двадцати восьми лет от роду, не отличающемуся особой статью и уже с большими залысынами, тому, чье тело представляет собою наволочку, которая явно слишком тесна для набивших ее пухлых подушечек, тому, в чьей памяти удерживаются лишь непристойные стишки, и великому сквернослову суждено раздвинуть ножки царицы Алессандры.

— Должен признаться, что даже ты не представляешь какой я сукин сын, — упавшим голосом отозвался Аго. Я хочу не только ее тело, но и ее сердце.

В салоне Алессандры Фьорентины, с высоченным потолком, где в центре синего купола, обрамленного порхающими херувимами, на пухлом, как перина, облаке Афродита и Арес предавались любви под переливчатые звуки музыки великого корнетиста Германа Генриха Цинка, Аго почувствовал себя так, будто в полночь на него направили яркий солнечный

луч, и превратился в подобие ошеломленной старой девы, которая, сидя на кровати тощей потаскушки, вынуждена, запинаясь на каждом слове, читать ей стихи великих поэтов. Ноги у него словно приросли к полу. Фьорентина все не появлялась, и среди веселящихся он одиноко стоял у фонтана с чашей в руке — единственный живой среди безумствующих духов, не в силах заставить себя присоединиться к остальным. Макиа на какое-то время покинул его — ринулся в расписанный под рощу павильон, к двум обнаженным дриадам. Аго было тоскливо и скучно.

Никто в возрожденном городе не спал в эту ночь. Музыка была везде, ею полнились улицы, она лилась из окон таверн, «веселых домов» и вилл почтенных горожан, звучала на рынках и монастырских дворах. Сами боги сошли со своих пьедесталов и смешались с ликующими толпами, прижимаясь своей мраморной плотью к теплой плоти живых. Казалось, всеобщий любовный угар передался даже животным и птицам: под мостами бешено скакали крысы, под крышами кружили, гоняясь друг за дружкой, летучие мыши. Какой-то человек бежал по улице нагишом и звонил в колокольчик с криком: «Утрите слезы и расстегните штаны, господа! Время слез миновало!» В Доме Марса Аго Веспуччи услышал этот звон, и его охватил необъяснимый страх. Мгновение спустя Аго понял его причину: пока он неподвижно стоит тут один, жизнь его утекает, как вода сквозь пальцы; этот миг может унести двадцать лет его жизни, а музыка вот-вот подхватит его, беспомощного, и унесет в будущее, к параличу и бессилию, когда само время прекратит для него свой бег, сокрушенное последним воплем его боли.

И тут наконец его поманила к себе Джульетта Веронезе.

— Ты счастливчик, так тебя перетак, — сказала она. — Несмотря на потрясающий успех сегодняшнего вечера, Фьорентина все же согласилась принять тебя и твоего похотливого приятеля.

С торжествующим воплем Аго сорвался с места, влетел в расписной павильон, стащил Макиа с его дриад, бросил ему одежду и, не дожидаясь, пока тот полностью приведет себя в надлежащий вид, потащил его за собою к заветной опочивальне, где их ожидала сама Красота в лице божественной Алессандры.

В святая святых царил хаос: на бархатных козетках, распластавшись в полном изнеможении, спали глубоким сном мужчины самых знатных фамилий. Они заснули и во сне все еще продолжали ласкать тела обнаженных дев, составлявших некий фон для главной исполнительницы, госпожи Алессандры. Сначала для самых достойных юношей города они лишь танцевали, а позже про приличия уже никто не вспоминал — настала

пора животных страстей. Ложе самой Фьорентины было в полном порядке, и в сердце Аго закралась глупая надежда: «Что, если у нее нет любовника на сегодня? Что, если она ждет меня?» Алессандра, однако, отнюдь не производила впечатление сексуально озабоченной женщины. Прикрытая лишь роскошными золотыми волосами, она полулежала на постели, рассеянно пощипывая гроздь винограда, и, казалось, почти не обратила внимания на появление в будуаре двух мужчин в сопровождении своей телохранительницы и наперсницы. Они молча ждали. Наконец Фьорентина заговорила — задумчиво и тихо, будто сама себе рассказывала на ночь сказку.

— Жили-были трое друзей — Никколо Макиа, Агостино Веспуччи и Антонино Аргалья. Их детство прошло в заколдованном лесу. Потом родителей Нино забрала чума. Тогда он отправился попытать счастья в чужие края, и друзья никогда больше о нем не слышали.

Ее слова немедля заставили обоих мужчин забыть о том, что с ними происходило в настоящий момент, и перенестись мыслями в далекое детство.

— Вскоре после того как девятилетний Нино Аргалья отправился в Геную, чтобы присоединиться к отряду наемников с аркебузами под командованием кондотьера Андреа Дориа, мать Никколо, Бартоломея де Нелли, которая так искусно врачевала все хвори с помощью каши, тоже умерла. Отец Никколо, Бернардо, сделал все что мог: он сварил кукурузную кашу, точно по ее рецепту, но она все-таки умерла, то пылая, то дрожа как в лихорадке, и Бернардо уже никогда не оправился от этого удара. Теперь он проводил все время на ферме в Перкуссине, еле-еле сводя концы с концами и проклиная себя за то, что у него не хватило умения спасти жену. «Если бы я только более внимательно смотрел, как она варит эту свою кашу! — по сто раз на дню говорил он. — А я просто обмазал ее всю этой горячей гадостью, и она, бедная, умерла от отвращения».

Пока Никколо вспоминал покойную мать и несчастного отца, Аго вспомнил тот день, когда Аргалья уходил от них — с узелком на палке, словно нищий бродяжка.

— В тот день, когда ушел Аго, кончилось наше детство, — произнес он, а про себя подумал, что именно в тот день они нашли корень мандрагоры, и тут же стал прокручивать в голове план, как ему покорить Алессандру Фьорентину.

Отсутствие какой бы то ни было реакции с их стороны раздосадовало Алессандру, но она была слишком хорошо воспитана, чтобы показать это.

— Какие вы, однако, бессердечные, бездельники этакие, — всего лишь

произнесла она, не повышая голоса. — Неужто имя пропавшего без вести друга не вызывает у вас никаких эмоций, пусть даже со дня его исчезновения и прошло девятнадцать лет? — ленивым, равнодушным тоном спросила она.

До крайности взволнованный Аго не нашел что ответить, но, сказать по чести, девятнадцать лет — срок немалый. Они любили Аргалью и, когда он пропал, месяцы, даже годы ждали от него вестей. Затем они перестали упоминать в разговорах его имя, поскольку каждый решил про себя, что молчание может означать лишь одно: их друг погиб. Ни тот ни другой не желали сказать об этом открыто, полагая, что, покуда не высказывать это вслух, остается надежда, что он все-таки жив. Но они давно стали взрослыми, и теперь Аргалья затерялся среди других воспоминаний детства. Там от него осталось одно лишь имя, больше никогда ими не произносимое. Вызвать Аргалью к жизни оказалось нелегко. Да, вначале их было трое, потом каждый пошел своей дорогой. Ненавидевшему путешествия Аго выпало идти каменистой тропой любви; более привлекательный Макиа предпочел погоню за властью, которая, как известно, пьянит и возбуждает сильнее любого волшебного зелья. Аргалья? Аргалья пропал, затерялся, стал блуждающей звездой на небосклоне.

— Дурная весть? — спросил Макиа. — Извините нас! Мы всю жизнь страшились этого момента.

— Отведи их туда, — произнесла Алессандра, обращаясь к Джульетте, и жестом указала на боковую дверь. — Сейчас я слишком утомлена, чтобы отвечать на ваши вопросы. Она склонила голову на вытянутую правую руку, и ее изящный носик произвел звук, весьма похожий на всхрап.

— Слышали, что она сказала? Пошевеливайтесь! — грубо сказала карлица и уже другим, более мягким, тоном добавила: — Все ответы вы сейчас получите.

Комната за дверью тоже оказалась спальней, но, как выяснилось, женщина, там находившаяся, не была раздета и не спала. В помещении царил полумрак, его освещала всего одна оплывшая свеча в канделябре, но, когда глаза попривыкли к темноте, друзья увидели женщину, одетую по-восточному: в тесной, обтягивающей верхнюю часть туловища кофточке, в широких шальварах и с голым животом. Она стояла перед ними, прижав к груди обе руки.

— Тупая сучка, — произнесла карлица. — небось, все еще воображает, что она в султанском гареме. Не хочет, дурочка, посмотреть правде в глаза.

Она подошла вплотную к одалиске вдвое выше ее ростом и, задрав голову, которая находилась где-то на уровне пупка женщины, заорала:

— Ты попала в плен к пиратам! К пиратам — поняла? Это случилось две недели назад! Тебя продали на рынке рабов в Венеции! Ты меня слышишь? Ты понимаешь, что я говорю? — Выкрикнув ту же фразу по-французски, она обернулась к двум друзьям: — Ее хозяин на время отдал ее нам, чтобы мы смогли оценить, сгодится ли она для нас, но мы еще не решили, берем или нет. Так-то она красотка, ничего не скажешь — и грудь, и задница — все что надо. — Она плотоядно потрогала руками «товар». — Только вот уж больно странная.

— Как ее зовут? — спросил Аго. — И почему ты обращаешься к ней на французском? И отчего у нее такой вид, словно ее превратили в камень?

— До нас дошел слух о французской принцессе, которая топала в плен к туркам, — отозвалась Джульетта, кружа возле женщины, словно хищная птица. — Может, это она и есть, а может, не она. Французский она понимает, это точно, только имя свое не называет. Когда спрашивают, как ее зовут, она отвечает: «Я дворец воспоминаний». Давайте, спросите ее сами! Или боитесь?

— Как ваше имя, мадемуазель? — мягко, как умел только он один, спросил ее на французском Макиа, и окаменевшая женщина произнесла:

— Je suis le palais des souvenirs.

— Вот видите! — торжествующе возгласила карлица. — Говорит, будто она вовсе не человек, а место.

— Какое отношение она имеет к Аргалье? — поинтересовался Аго.

При упоминании этого имени женщина встрепенулась, будто собираясь что-то сказать, но тут же снова застыла в неподвижности.

— Дело в том, — ответила Джульетта, — что, когда ее привели, она вообще ничего не говорила. Можно сказать, это был дворец с запертыми дверями и наглухо закрытыми окнами. Моя госпожа спросила, знает ли пленница, где находится. Я, естественно, перевела ее вопрос, а хозяйка добавила: «Ты сейчас во Флоренции», — и будто ключ повернулся в замке — она вдруг заговорила. «У меня во дворце есть комната с таким названием», — сказала она и вдруг, стоя на месте, стала делать какие-то странные движения, как человек, который куда-то направляется, что-то ищет, а затем сказала нечто такое, что заставило госпожу призвать вас.

— Что она сказала?

— Можете сами послушать, — отозвалась карлица и, снова приблизившись к неизвестной, спросила: «Qu'est que se trouve dans cette chambre du palais?»^[33]

И тут, не сходя с места, рабыня жестами стала изображать, будто идет по коридорам, поворачивает, входит в двери, а затем вдруг начала говорить

на чистейшем итальянском:

— Вначале друзей было трое: Никколо Макиа, Агостино Веспуччи и Антонино Аргалья. Все их детство прошло в волшебном лесу.

У Аго затряслись коленки.

— Откуда она знает об этом? Где она могла это услышать? — вскрикнул он.

Макиа, однако, догадался, в чем дело, главным образом благодаря бесценной отцовской библиотеке (Бернардо никогда не был богачом, и приобретение каждой книги стоило ему долгих, мучительных размышлений). Рядом с любимой книгой Макиа «Ab urbe condita» Тита Ливия^[34] — стояла «De oratore»^[35] Цицерона, а следом за ней — тоненькая книга неизвестного автора под названием «Rhetorica ad Herennium».^[36]

Вспомнив это, Макиа произнес:

— Цицерон утверждает, что подобная техника запоминания была изобретена греком Симонидом Кеосским. Однажды он ушел с пира, на котором присутствовало множество знатных особ, за минуту до того как в зале рухнул потолок, похоронив под собою всех до единого. Когда потом его попросили перечислить присутствовавших, он назвал всех, потому что точно помнил, где кто сидел.

— Что это за способ такой? — спросил Аго.

— Он именно так и называется — дворец воспоминаний. Мысленно ты возводишь здание, изучаешь все его ходы, переходы, комнаты и обстановку, а затем закрепляешь за каждым предметом какое-нибудь конкретное воспоминание. Таким образом, совершая воображаемый обход дворца, ты вызываешь в памяти нужные тебе в данный момент сведения со всеми деталями.

— Но эта женщина называет дворцом себя, — возразил Аго, — как будто само ее тело — вход в хранилище воспоминаний.

— Что ж, это может означать только одно, — сказал Макиа, — кто-то очень постарался и возвел ей дворец такого размера, что для ее собственных воспоминаний места уже не осталось: ее память либо вообще истреблена, либо заперта в каком-нибудь чулане. Таким образом ее и вправду превратили в хранилище воспоминаний другого лица. Мы же ничего не знаем о придворной жизни Османской империи. Возможно, там это практикуется сплошь и рядом; может статься, это каприз самого деспота или одного из его фаворитов. Предположим, что этим фаворитом и является теперь наш друг Аргалья и именно он, а не кто-то другой соорудил этот дворец или какую-либо его часть. Возможно также, что

архитектором здания стал тот, кто хорошо знал нашего друга. В любом случае отсюда следует, что милый нашему сердцу друг детства еще жив или, по крайней мере, был жив до недавнего времени.

— Смотрите, — воскликнул Аго, — она снова собирается заговорить!

— Жил однажды принц по имени Аркалья, — слышались слова «дворца воспоминаний». — Это был великий воин. Он обладал волшебным оружием, и четыре свирепых великана служили ему. А еще он был самым красивым мужчиной в мире.

Теперь уже и Макиа перестал сомневаться.

— Аркалья или Аргалья — не суть важно! Похоже, это действительно наш приятель! — возбужденно произнес он.,

— Аркалья. Турок Аркалья, — вещал «дворец». — Тот, кто выковал волшебную саблю.

— Это точно он, наш прохиндей! — с восторгом крикнул Аго. — Он сделал то, что собирался, — перешел на сторону врага!

Опустевшая гостиница при дороге, ведущей в Геную...

Опустевшая гостиница при дороге, ведущей в Геную, стояла с темными окнами и распахнутыми настежь дверями. Хозяин, его жена, дети и постояльцы — все сбежали оттуда, после того как в одной из комнат наверху поселился «не совсем мертвый великан». Со слов Аргалья, его называли так потому, что, мертвый в течение дня, он оживал по ночам. «Если ты собираешься провести там ночь, — сказали Аргалье жители соседних домов, — то до утра не доживешь, он тебя сожрет». Аргалья, однако, не испугался, зашел в гостиницу и поел досыта в одиночестве. Оживший ночью великан несказанно обрадовался и проговорил: «А, закуска сама ко мне пожаловала!» — на что Аргалья ответил: «Если ты меня съешь, то не узнаешь моей тайны». Как часто бывает с великанами, этот оказался очень любопытным, да к тому же еще и глупым: «Открой мне свою тайну, рыбка моя, и даю слово, что не съем тебя, пока не доведешь свой рассказ до конца». И Аргалья, отвесив глубокий поклон, сказал: «Моя тайна вот в этом камине. Кто доберется до самого верха каминной трубы, станет самым богатым парнем на земле». — «Или самым богатым великаном», — добавил «не совсем мертвый». — «Ну да, или великаном, — согласился Аргалья великодушно, но без особой уверенности в голосе. — Понимаешь, ты уж слишком здоровый, тебе туда не пролезть». — «А клад-то большой?» — «Больше не бывает, — отозвался Аргалья. — Тот хитроумный принц, которому принадлежало сокровище, потому и запрятал его в камине захудалой гостиницы, что знал: никому в голову не придет искать клад великого императора в таком неподходящем месте». «Все принцы — дураки», — заявил великан. «Не то что великаны», — задумчиво прибавил Аргалья. «Вот именно», — отозвался «не совсем мертвый» и попытался протиснуться в камин. «Я так и думал: ты слишком большой — вздохнул Аргалья. — Что делать, не повезло тебе!» — «Я не отступлюсь, черт возьми!» — проревел великан и оторвал себе одну руку. — Видишь? Уже лучше!» Однако и это не помогло. «Может, тебе стоит убрать и вторую? — предположил Аргалья, и гигант, щелкнув мощными челюстями, откусил вторую руку, словно кусок бараньей ноги, но все равно почти не продвинулся вверх. «Слушай, я придумал! — сказал

Аргалья. — Отруби-ка ты голову, подкинь ее повыше, а уж она посмотрит, что там есть!» — «У меня ведь нет рук, — печально ответил гигант, — и хотя твоя идея хороша, я не могу ею воспользоваться». — «Разреши мне!» — воскликнул Аргалья и, вскочив на стол, с боевым кличем отсек великанову башку разделочным ножом.

Когда хозяин, его семейство и постояльцы (все они провели ночь в ближней канаве) узнали, что Аргалья обезглавил «не совсем мертвого» и теперь тот не будет злодействовать по ночам, потому как стал мертвым окончательно и бесповоротно, все они принялись просить-молить Аргалью помочь им разделаться с местным притеснителем-феодалом, который превратил их жизнь в настоящий ад. «Это уже не мои проблемы, решайте их сами. Я просто хотел спокойно провести ночь. А теперь мне пора в путь. Хочу отправиться в плавание под началом адмирала Андреа Дориа и разбогатеть». — С этими словами он предоставил селян их судьбе и двинулся дальше в поисках собственной.

Эта история, рассказанная впоследствии Аргальей, была, разумеется, вымыслом с начала до конца, но вымыслы такого рода частенько выручают человека в реальной жизни, и в данном случае так оно и вышло: нескончаемые, самые невероятные истории, услышанные Нино Аргальей от Аго Веспуччи, спасли девятилетнему Нино жизнь, когда его извлекли на свет божий из носового отсека флагманского корабля Андреа Дориа. Сведения Нино Аргальи по поводу событий в Генуе несколько устарели: к тому времени, как он добрался туда, французов из Генуи уже изгнали, и когда Нино услышал, что флотилия Дориа готова к отплытию, чтобы сражаться с турками, то решился на отчаянный шаг. Восемь трирем^[37] с вооруженными до зубов — аркебузами, пистолями, кинжалами, саблями и гарротами^[38] — сквернословящими головорезами находились в плавании уже пятый день, когда оголодавшего бродяжку вытащили за ухо из его укрытия и привели к самому адмиралу. Аргалья, со своим жалким узелком, был похож на замызганную тряпичную куклу.

Здесь следует упомянуть, что Андреа Дориа добросердечием отнюдь не отличался, деликатничать не умел, более того — был мстителен до чрезвычайности, деспотичен и тщеславен. Его свирепые солдаты наверняка восстали бы против него, не будь он, при всем при том, умелым командиром, прекрасным стратегом и человеком, не ведающим страха. Одним словом, это был настоящий монстр, и когда он пребывал в раздражении, то становился страшен, как сказочный великан, который — с руками или без рук — внушает ужас.

— Даю тебе две минуты, — сказал он мальчику, — убеди меня, почему я не должен сейчас же швырнуть тебя за борт.

Аргалья поднял на него взгляд:

— Это было бы очень неосмотрительно с вашей стороны, — ответил он, — потому что я много чего знаю и умею. Во время странствий — а их было немало — я сокрушил великана, умертвил колдуна, лишённого души, узнал все его тайны и научился языку змей. Я встречал владыку рыб, я жил в доме женщины, у которой было семьдесят сыновей и один чайник. Я запросто могу принять облик льва, орла, пса или муравья, так что готов драться за вас как лев, высматривать предателей с зоркостью орла, быть верным как пес, а то и стать невидимым, словно муравей, — вы даже не заметите, как я заползу вам в ухо и смертельно ужалю, так что лучше меня не злить. Я маленький, но вполне достоин стоять рядом с вами, потому что живу по тем же правилам, что и вы.

— И что же это за правила, разрешите узнать? — не без интереса спросил Андреа Дориа. Борода его топорщилась, рот кривился в насмешливой улыбке, а блестящие глазки были прикованы к лицу мальчика.

— Цель оправдывает средства! — выпалил Нино. Он вспомнил, что именно эту фразу любил произносить Макиа, когда они втроем обсуждали разные способы использования мандрагоры, чтобы вызвать страсть к себе какой-нибудь недоступной красавицы.

— Цель оправдывает средства? — удивленно повторил Дориа. — Чертовски хорошо сказано!

— Я сам это придумал, — соврал Аргалья. — Как и вы, я сирота, как и вы, неожиданно стал нищим и был вынужден, подобно вам, заняться поиском денег. Сиротство учит нас в любую минуту быть начеку и действовать по обстоятельствам. Для нас нет ничего невозможного. — Что там сказал Макиа, когда повесили епископа? И, вспомнив, Нино произнес: — Выживает сильнейший!

— Выживает сильнейший, — снова повторил вслед за мальчиком Дориа. — Ещё одно стоящее высказывание Тоже твоя придумка?

Нино скромно потупился и продолжал свои откровения:

— Вы тоже были сиротой, вы должны понимать, что, несмотря на малые годы, я далеко не беспомощное дитя. Ребенок — существо нежное, няньки оберегают его от правды жизни, он попусту тратит время на игры, он верит, что учеба дает ему нужные знания. Детство? Как и вы, я не мог позволить себе такой роскоши. Правда о детстве кроется в самых неправдоподобных историях. Дети побеждают чудовищ и демонов и

остаются в живых, только если они не знают страха. Дети умирают с голоду, если им не помогает волшебная золотая рыбка; тролли съедят их заживо, если они не сумеют хитростью оттянуть время до рассвета, когда злые силы снова обратятся в камень. Ребенку нужно уметь гадать на бобах, чтобы узнать будущее; нужно уметь рассыпать фасолины так, чтобы взрослые мужчины и женщины неожиданно для себя выполняли его желания; ему нужно знать, как и где посеять боб, чтобы потом собрать волшебные стручки. Сирота — это Ребенок с большой буквы. Вся наша жизнь — сплошная страшная сказка.

— Дай поесть этому нахальному философу, — приказал Дориа свирепого вида боцману по имени Чева. — Он может пригодиться. Путь нам предстоит неблизкий, пускай развлекает меня своими небылицами.

Боцман, жесткой рукой схватив Аргалью за ухо, выволок его из каюты со словами:

— Не думай, что ты выкрутился благодаря своей трепотне. Ты еще жив лишь по одной-единственной причине.

— Ой! — вскрикнул Аргалья. — Могу я узнать, что это за причина?

Чева еще раз больно дернул его за ухо. На правой щеке боцмана была татуировка в виде скорпиона, а глаза светились мертвенным блеском, как у человека, который ни разу в жизни не улыбнулся.

— Причина простая, — бросил он. — У тебя хватило мужества или просто наглости смотреть ему прямо в глаза. Если человек прячет взгляд, адмирал скармливает его печень чайкам.

— Вот увидишь, — ответил Аргалья, — я еще успею в этой жизни стать таким же командором, как он, и тоже буду принимать решения, кого казнить, а кого миловать, так что и тебе лучше бы на всякий случай научиться не прятать от меня глаза.

Чева наградил его крепким подзатыльником:

— Ты сначала подрасти, ошпырыш! Пока что твои глаза как раз на уровне моего члена.

Что бы там ни говорил Скорпион, рассказы Аргальи, видимо, все же помогли ему выжить, потому что, как выяснилось, грозный адмирал, подобно любому тупоумному великану, обожал сказки. Вечерами, когда море чернело, а звезды прожигали дыры в небесах, адмирал отправлялся вниз, обкуривался опиумом, а потом посылал за мальчишкой, и тот начинал одну из своих занимательных историй. «Поскольку у всех ваших судов по три палубы, — говорил Аргалья, — то хорошо бы вам на одной иметь сыр, на другой — мешки с хлебными крошками, а третью загрузить протухшим мясом. Когда причалите к Крысиному острову — бросите им сыр;

хлебными крошками ублажите обитателей Острова муравьев, а протухшее мясо приберегите для Острова орлов-падальщиков. Таким путем вы обретете в них могучих помощников. Крысы станут прогрызать для вас путь сквозь крепостные стены, а если нужно, и сквозь горы; муравьи помогут вам справиться с препятствиями, требующими действий скрытных. Что же до орлов — любителей падали, то они, если их вежливо попросить, могут перенести вас на крышу мира, к источнику живой воды». — «Все это очень здорово, — с хриплым смешком замечал Андреа Дориа, — только знать бы, где находятся все эти долбаные острова». — «Ну, с этим уже не ко мне, — отвечал Аргалья. — Это вы у нас великий кормчий, вот и ищите на своих картах».

Подобная непочтительность почему-то сходила ему с рук, и тогда мальчик награждал терпение адмирала очередной историей: например, про три апельсина, внутри каждого из которых — прекрасная дева. Проблема заключалась в том, чтобы успеть напоить ее в самый момент появления из апельсина, иначе ей угрожала мгновенная Смерть. Окутанный кольцами одуряющего дыма, адмирал, свою очередь, заплетающимся языком делился с маленьким рассказчиком своими планами, тревогами и сомнениями.

Море кипело от пролитой крови. Суда берберов Северной Африки свободно пиратствовали в этих водах, грабя и похищая людей, а после падения Константинополя сюда же устремились за добычей и турецкие галеры Османа. Изрытое оспинами лицо адмирала выражало твердую решимость покончить с этими нехристями.

Я очищу от них Mare Nostrum^[39] и сделаю Геную хозяйкой здешних вод! — хвастливо заявлял он, и Аргалья почитал за лучшее ему не перечить. — То, что известно нам с тобой, знают и наши враги, — горячечно шептал адмирал, буравя мальчика молочно-мутными от опиума глазами. — Противник — он тоже действует по закону сироты.

— Какого еще сироты? — с недоумением спрашивал Аргалья.

— Магомета. Их бог, Магомет, тоже был сиротой.

Аргалья понятия не имел, что по сиротству числится в одной когорте с пророком.

— Цель оправдывает средства, — продолжал бормотать Андреа. — Ты понял? Они следуют тому же принципу, что и мы. Их, можно сказать, первая и самая главная заповедь: «Добиться цели любыми средствами». Выходит, по сути мы с ними одной веры.

Тут Аргалья, собравшись с духом, задал рискованный вопрос:

— Если это и вправду так, то враги ли они нам на самом деле? Ведь по-настоящему противник должен бы во всем не такой, как мы сами. Разве

к своему отражению в зеркале мы можем относиться как к врагу?

— То-то и оно, — пробормотал Дория. Откинувшись на спинку стула, он уже начал всхрапывать. — А вообще-то у меня один враг, и я ненавижу его больше, чем всю мусульманскую свору вместе взятую.

— Кто же это?

— Венеция. Вот уж кого я с радостью разделаю под орех, так это смазливых выскочек-венецианцев.

По мере того как восемь трирем в боевом порядке бороздили море, гоняясь за добычей, Аргалья все сильнее утверждался в мысли, что вопросы веры не имеют к происходящему ни малейшего отношения. Корсаров Барбароссы^[40] ничуть не волновала проблема обращения кого бы то ни было в истинную веру, они занимались вымогательством и торговлей пленными.

Что касается турок, то они, понимая, что само существование их новорожденной столицы, Стамбула, целиком зависит от бесперебойного снабжения города продовольствием, сражались за торговые пути на море. Правда, в последние месяцы они тоже стали в открытую заниматься грабежом, посылая свои корабли для нападения на прибрежные торговые города Эгейского моря, а зачастую, и еще дальше: они тоже недолюбливали Венецию. Власть и богатство, господство и покорение, а главное — нажива — вот всё, вокруг чего кипели страсти. Аргалье тоже по ночам снились бриллианты невиданной красоты. Он дал себе клятву, что не ступит на землю Флоренции нищим. «Если вернусь, — загадал он, — то только как принц с несметными сокровищами». Теперь, когда Нино понял, что на самом-то деле правит миром, он поставил перед собой простую и ясную цель — разбогатеть. Однако, как это часто случается, ясность и простота бывают обманчивы.

После успешной разборки с братьями-барбаросцами из Митилены адмирал вдосталь напился сарацинской кровушки. Он самолично руководил казнью плененных пиратов (их обмазали смолой и сожгли на главной площади родного города), и замыслил дерзкий план — дать бой туркам в их собственных водах — в Эгейском море. Но едва его флот оказался в овеянном легендами море и устремился навстречу турецким галерам, случилось непостижимое: на воду пал неизвестно откуда взявшийся густой туман, словно древние боги Олимпа, которым наскучило быть не у дел, после того как смертные перестали с ними считаться, решили порезвиться и, потрянув стариной, разрушить людские планы. Восемь генуэзских трирем пытались соблюсти боевой порядок, но при нулевой видимости это оказалось невозможным. К тому же туман

наполнился странными звуками: воем каких-то чудовищ, ведьмиными визгами, воплями утопленников. В воздухе стоял запах смерти. Даже самых закаленных бойцов охватил страх, система сигналов посредством рожков, разработанная адмиралом именно для подобных случаев, не сработала. Каждое судно имело свой собственный позывной, основанный на чередовании коротких и длинных гудков, но, когда от запаха смерти и дурных предзнаменований моряков охватила паника, гудки стали беспорядочными. Впрочем, то же самое произошло и у противника, так что вскоре никто уже не знал, где свой, где чужой.

Внезапно с обеих сторон заговорили пушки. В пространстве, плотно забитом туманом, яркие вспышки казались отсветами адского пламени. Захлопали пистолы, и в белой мгле, словно по мановению волшебной палочки, расцвел целый сад мерцающих цветов смерти.

Никто не знал, куда стрелять, вся стратегия боя поломалась, и катастрофа казалась неминуемой. И вдруг все смолкло, словно это стало ясно обеим враждующим сторонам в один и тот же момент. Ни выстрелов, ни голосов, ни гудков. Тишина была абсолютной. В молочной белизне всюду что-то двигалось. Одинокое стоявший на палубе Аргалья вдруг ощутил на своем плече руку Судьбы и с изумлением почувствовал, что эта рука дрожит. Он обернулся. Это была вовсе не Судьба, а боцман, но уже не прежний наводящий страх Скорпион, а дрожащий, как побитый пес, донельзя перепутанный человек по имени Чева.

— Ты нужен адмиралу, — прошептал он и повел Аргалью на нижнюю палубу, где его встретил Андреа Дориа с бесполезным сигнальным рожком в руках.

— Сегодня твой день, маленький болтун, — тихо произнес он. — Сегодня тебе предстоит доказать, что ты герой не на словах, а на деле.

План адмирала состоял в следующем. Аргалья должен был, забравшись в шлюпку, грести что было сил прочь от корабля.

— Через каждые сто ударов веслами ты будешь дудеть в рожок. Противник примет нашу хитрость за маневры перед лобовой атакой и направит свои корабли в твою сторону, надеясь сорвать куш — взять в плен меня самого. Мы же тем временем нанесем ему сокрушительный удар оттуда, откуда он этого удара не ожидает.

Аргалье этот план совсем не понравился.

— А как же я? — спросил он. — Что прикажешь делать мне, когда флот неверных окружит меня со всех сторон?

Вместо ответа Чева Скорпион сгреб мальчика своими ручищами и кинул в шлюпку. Нино уловил его свистящий шепот:

— Гребь, герой! Гребь что есть мочи, от этого будет зависеть твоя жалкая жизнь!

— Когда туман рассеется и враг будет повержен, мы тебя опять подберем, — не вдаваясь в детали, произнес дмирал.

— Обязательно, — добавил Чева, и сильным толчком пихнул шлюпку от борта.

Плеск волн, сплошная белая пелена тумана — и более ничего. Небо и земля исчезли, как в древних сказках. Вселенная уместилась в покачивающейся на волнах лодке. Какое-то время Аргалья все же следовал указанию — дул в рожок после каждых ста взмахов веслами. Один раз, второй, третий... Ни звука в ответ. Мир вокруг оставался глух и нем. Скоро корабли турок устремятся к нему и раздавят, как блоху. И тогда он перестал подавать сигналы. Ему стало ясно, что адмирал принес в жертву своего маленького сказителя, и сделал это с такой же легкостью, с какой избавлялся от мокроты, сплевывая ее за борт. Он всего лишь сгусток слюны, который вот-вот поглотит вода. Аргалья пытался ободрить себя, припоминая всякие истории, но в голову почему-то лезли сплошные кошмары: про Левиафана, который поднимается из морской пучины и могучими челюстями превращает лодку в щепы, о всплывающих на поверхность гигантских червях, обвивающихся вокруг тела жертвы, об огнедышащих драконах. Вскоре он уже не мог вспомнить ничего; без мыслей и без надежды, он стал просто одинокой душой, бесцельно плывущей в никуда, — тем, что остается от человека, отчужденного от родного дома, семьи и друзей, от своей родины и от привычного мира; существом вне контекста жизни, чье прошлое затерялось в тумане, а будущее неопределенно и мрачно; существом безымянным, ненужным, для которого единственным подтверждением того, что он еще жив, служит лишь биение собственного сердца.

«Меня нет, — сказал он себе. — Таракан, уносимый в куске дерьма, значит больше, чем я». Много лет спустя при встрече со скрытой принцессой Кара-Кёз, когда его судьба сложилась наконец так, как ему мечталось, он уловил в ее взгляде выражение такого же безысходного отчаяния и понял, что ей тоже знакомо ощущение чудовищной абсурдности бытия, когда человек отчужден от привычной среды обитания. Уже за одно это Аргалья готов был полюбить ее, но у него были к тому и другие причины.

Туман обволакивал его все плотнее, он лез в глаза, забивал ноздри. Аргалья чувствовал, что начинает задыхаться. Воля его была сломлена, он приготовился безропотно принять любую участь, которую уготовила ему

судьба. Аргалья лег на дно лодчонки и стал вспоминать Флоренцию; он увидел лица родителей, какими они были до того, как их обезобразила чума, вспомнил блуждания по дубравам в компании своих закадычных друзей Макиа и Аго. Воспоминания наполнили его сердце любовью, и через мгновение он потерял сознание.

Когда он очнулся, туман, а вместе с ним и восемь трирем адмирала Дориа исчезли. Доблестный кондотьер бежал, как побитый пес. Гудки и шлюпку он использовал в качестве отвлекающего маневра. Лодчонка Аргалья беспомощно подпрыгивала на волнах в кольце вражески судов, словно мыш, окруженная со всех сторон голодными котами. Он поднялся во весь рост, затрубил в свой рожок и закричал: «Я сдаюсь! Берите меня, чертовы безбожники! Я ваш!»

В Ушкюбе, где располагался лагерь для захваченных в плен детей...

В Ушкюбе, где располагался лагерь для захваченных в плен детей (рассказывала «дворец воспоминаний»), говорили на множестве языков, но поклонялись лишь одному богу. Ежегодно специальные отряды головорезов обшаривали земли новой разрастающейся империи, собирая своеобразную живую подать во имя Аллаха — *девширме*. Они отбирали самых сильных, самых сообразительных, самых красивых детей, чтобы превратить их в рабов, сделать слепыми исполнителями воли султана. Принцип воспитания в султанате заключался в полной трансформации детской личности. *«Мы заберем у вас детей и сделаем их заново. Мы заставим их забыть о родителях и создадим из них элиту, которая будет держать вас в повиновении. Вами вскоре станут управлять ваши собственные дети»*, — говорили вербовщики. В Ушкюбе, где начинался процесс перековки, было многоязычие, но всех одевали одинаково, как рекрутов, — в просторные штаны и рубахи. У нашего героя отобрали одежду, вымыли его, накормили, дали вдоволь напиться. Христианство от него тоже отобрали сразу и тут же облачили в ислам. В лагере были греки, албанцы, боснийцы, хорваты и сербы, были мамлюки — белые рабы со всего Кавказа: грузины, мингрелы, черкесы, абхазы, — а также армяне и сирийцы. Из Италии был только один Аргалья — итальянцы не платили дань детьми, но турки были уверены, что это всего лишь вопрос времени. Его командиры считали, что у него слишком трудное имя. Смеясь, они называли его то аль-Гази — «победитель», то аль-Кхали — «пустой горшок». Однако имя здесь не имело ни малейшего значения. Аргалья, Аркалия или аль-Кхалия — не все ли равно? Важно было другое — ему надлежало переподчинить душу другому господину.

На лагерной площади дети в одинаковой мешковатой одежде хмуро стояли рядами перед человеком в балахоне Его белая шапка возвышалась на три дюйма над головою, а всю грудь закрывала длинная белая борода, отчего создавалось впечатление, что голова у него невероятных размеров. Это был святой человек, турецкий дервиш-*бекташи*. Он приобщал их к исламу, и перепуганные дети, как попугаи, на разные голоса повторяли за ним главный завет: «Нет божества, кроме Аллаха, а Мухаммад —

посланник Аллаха». С этого началось их преобразование.

Разъезжая по делам государственной важности, Макия не переставал думать о «дворце воспоминаний». Настал июль. Он скакал по дороге на Равенну, направляясь в Форли, чтобы убедить графиню Екатерину Сфорца позволить своему сыну Оттавиано объединиться с Флоренцией за значительно меньшую сумму, чем та потребовала. В противном случае Флоренция собиралась отказать ей в защите от известного своей жестокостью сына Папы Александра Шестого, герцога Чезаре Борджа из Романьи. Екатерина Сфорца, или, как ее величали, Форлийская Мадонна, была столь хороша собой, что даже приятель Макиа, Бьяджо Буонаккорси, на какое-то время позабыл про свою греховную страсть к Андреа ди Ромоло и перед отъездом взял с Никколо слово, что тот привезет ему портрет Форлийской Мадонны. Мысли самого Никколо Макиа занимала другая — безымянная француженка, стоявшая неподвижно, словно мраморное изваяние, в маленькой спальне у Алессандры в Доме Марса.

«Макиа, — писал ему Аго Веспуччи, — ты нужен нам адесь. Без тебя ни напиться толком, ни в карты перекинуться. К тому же в этой твоей Канцелярии полным-полно мерзавцев, каких свет не видывал, и все они спят и видят, как бы нас, твоих друзей, вышвырнуть вон, так что от этих твоих бесконечных разъездов да отлучек дело тоже страдает».

Макиа, однако, не думал ни о кознях завистников, ни о загулах с друзьями. Он собирался совершить налет — налет на тело женщины, при том условии, что ему удастся подобрать ключ к ее запертой душе, удастся пробиться к ней самой — той, что скрыта под «дворцом воспоминаний».

У Никколо была склонность проводить аналогию между совершенно, казалось бы, непохожими ситуациями, поэтому, когда Екатерина Сфорца отклонила его предложение, он увидел в этом дурной знак, решив, что потерпит фиаско и с «дворцом воспоминаний». Вскоре после этого Чезаре Борджа, как и предвидел Макиа, напал на Форли, а Екатерина, поднявшись на крепостную стену, задрала перед герцогом подол и велела катиться к чертям собачьим. Для графини все кончилось хуже некуда: ее заключили в папскую тюрьму — замок Сант-Анджело, но Макиа расценил это как хорошее предзнаменование. В судьбе плененной Сфорца он усмотрел зеркальное отражение судьбы женщины, запертой в полутемной

комнатушке в Доме Марса, а то, что она заголилась перед Борджа, означало, по его мнению, только одно: скорее всего и «дворец воспоминаний» впустит его к себе.

По возвращении он отправился в Дом Марса и испросил у карлицы разрешения навещать «дворец воспоминаний» в любое время. Посредница Джульетта такое разрешение дала: она надеялась, что Макиа удастся расшевелить чокнутую девицу и превратить ее из говорящей статуи в полноценную куртизанку. Оказалось, предчувствия не обманули Никколо. Оставшись с девушкой наедине, он ласково взял ее за руку, подвел к широкой кровати под балдахин с занавесями из подходящего для данного случая французского голубого шелка, расшитого золотыми лилиями, и бережно уложил. (Она была высокого роста, и Никколо решил, что так будет удобнее им обоим.) Сам он вытянулся на ложе рядом с нею, стал ласкать ее золотые волосы и тихим шепотом задавать ей вопрос за вопросом, одновременно расстегивая ее восточного покроя кофточку. Грудь у нее оказались маленькие, и это тоже его восхитило. Она не чинила ему ни малейших препятствий. Казалось, по мере того как она извлекает из своей памяти новые эпизоды и пересказывает их, ей становится легче дышать, и ее голос сделался звонче.

— Расскажи мне всё-всё, — шептал Макиа, осыпая поцелуями ее обнажившуюся грудь. — Всё, до конца, — и ты станешь свободной.

После того как живая дань была собрана, вещала «дворец воспоминаний», ребят привозили в Стамбул и распределяли в зажиточные турецкие семьи в качестве слуг, а также для того, чтобы там их обучили турецкому языку и всему, что надлежит знать и делать принявшему ислам. Далее следовала воинская подготовка. Затем их отправляли прислужниками в императорский гарем или зачисляли в отряды янычар в качестве *аям-оглы* — новобранцев. В одиннадцать лет герой и непобедимый воин, обладатель волшебной сабли и самый прекрасный мужчина в мире сделался, слава Всевышнему, доблестным янычаром — лучшим бойцом, который когда-либо служил в этих элитных отрядах. «И да будут благословенны грозные янычары, и да распространится их сила и власть на другие края!» — скороговоркой произнесла женщина-дворец. Они не были турками по крови, но они являли собой опору империи. Правда, в янычары

не брали евреев: считалось, что те никогда не отступятся от веры предков. Не допускали цыган, потому что они трусы и бездельники, не брали также молдаван и румын из Валахии. И как раз на время янычарства нашего героя пришлось столкновение турок с правителем Валахии вампиром Владом Дракулой.

«Дворец воспоминаний» повествовала о янычарах, а Макиа тем временем смотрел на ее рот. Слушая рассказ о том, как по прибытии в Стамбул юных рекрутов раздевали для осмотра, он видел лишь, как красиво складывались ее губы, когда выговаривали французское «ню». Она рассказывала, как их готовили к профессиям мясников и садовников, и, пока она произносила все эти слова, его указательный палец следовал за очертаниями ее губ. Женщина говорила, что у детей отняли даже их имена и все они получили новые, в составе которых было слово *абд*, то есть «раб», — такие, например, как Абдулла или Абдулмомин, а он, вместо того чтобы печалиться по поводу искалеченных детских душ, испытывал раздражение и досаду, когда слышал из ее прелестных уст чуждые его уху восточные звуко сочетания. Он легонько целовал ее в уголки губ, а она рассказывала о старшем белом евнухе, о старшем чернокожем евнухе, наставлявших мальчиков, как следует ублажать султана, а также о том, что ее герой сразу же получил недостижимый для новенького пост сокольничего. Пока она говорила, друг детства вырослел у Никколо на глазах, превращался из ребенка во взрослого мужчину или в то, чем становится мужчина, у которого отрочество не состоялось, — возможно, в человека, так и не сумевшего повзрослеть. О да, его друг Аргалья освоил в совершенстве науку войны и заставлял других восхищаться им и бояться его; он уже отбирал под свое начало воинов из бывших детей-пленников, он обзавелся четырьмя гигантами — телохранителями (это были швейцарцы-альбиносы, купленные им на рынке живого товара в Танжере, — Отто, Ботто, Клотто и Д'Артаньян) и рабом-сербом по имени Константин, который был взят в плен при осаде Ново-Брдо.

О да, Аргалья где-то там уже стал взрослым, достиг высоких постов и власти, — все это было важно знать Никколо, но он поймал себя на том, что, следя за едва заметной мимикой «дворца воспоминаний», за движениями ее губ и языка, глядя на ее гладкую, розовеющую, словно подсвеченный алебастр, кожу, он впадает в мечтательность.

Возле их фермы в Перкусине он часто, лежа на мягком опавших листьях, слушал убаюкивающие птичьи голоса, в которых высокий звук чередовался с низким: твик-твик-твик-твик — щебетали птицы. Иногда же, сидя у ручья, он любил следить за плавными извивами потока, бегущего по

галечному дну. Женское тело, если приглядеться внимательнее, тоже жило и дышало в определенном ритме, созвучном с дыханием земли; в нем ощущалась не слышимая ухом музыка, своя, сокрытая от глаз, истина. Макиа веровал в эту истину, как другие верят в Бога или в любовь; веровал в то, что истина всегда скрыта, что явное и внешнее на поверку неизменно оборачивается ложью. Поскольку он любил во всем точность, то прилагал массу усилий к тому, чтобы докопаться до истинной, скрытой сущности предмета, осознать, что он являет собой, отбросив при этом представления о хорошем и дурном, о прекрасном и безобразном. Все они были относительно, вводили в заблуждение и не имели ничего общего с истинным положением дел — с сутью вещей, с механизмом их действия, с их кодом, их тайной.

Именно подобного рода тайну заключало в себе тело лежащей рядом женщины. Тело, ставшее инертной оболочкой, из которой либо изъяли обитавшую там личность, либо упрятали ее в ворох бесконечных историй; тело, превращенное в лабиринт комнат, забитых рассказами. Чистый лист. Сомнамбула, механически сыпавшая словами, пока он раздевал и ласкал ее. Он обнажал ее без всякого стеснения и смущения, не испытывая ни малейшего чувства вины. С пристрастием ученого он искал ее душу. В еле заметном движении бровей, легком подергивании мускула на бедре, во внезапно дрогнувшем уголке правой губы он усмотрел наличие жизни. Сокровище, принадлежавшее только ей, — ее личность не была разрушена. Она заснула, но ее можно пробудить. «Ты рассказываешь эту историю в последний раз, — прошептал ей на ухо Макиа. — Дай ей уйти вместе со словами». Он исполнился решимости слово за словом, эпизод за эпизодом разобрать до основания «дворец воспоминаний» и освободить подавленное эго. Он легонько куснул ее за ухо и заметил ответное движение головы, он прижал своей ногой ее ногу, и большой пальчик благодарно шевельнулся. Он стал ласкать ее грудь — и едва уловимо, так, что это мог заметить только ищущий, выгнулась, откликнувшись на ласку, ее спина. В том, что он проделывал, не было ничего дурного. Он ее спасал, и когда-нибудь она скажет ему за это спасибо.

Во время осады Трабзона дождь лил не переставая. Холмистая местность кишела татарами и прочими язычниками. Дорога в долину превратилась в сплошной поток грязи, и лошади увязали в ней по самое брюхо. Они бросили повозки и перегрузили мешки с запасами на спины верблюдов. Одно животное упало, ящик с царской казной раскололся, и шестьдесят тысяч золотых рассыпалось по всему взгорку. В мгновение

ока герой вместе со своими швейцарцами и сербом обнажили сабли и встали на страже, пока не прибыл сам султан. После этого случая султан стал доверять ему больше, чем кому-либо из своей родни.

Ее тело наконец-то расслабилось. Доступное и соблазнительное, оно покоилось возле него на шелковых простынях. Она продолжала говорить, но теперь ее повествование касалось совсем недавнего времени. Аргалья почти, достиг того же возраста, что и его друзья, хронологическая последовательность была восстановлена, вскоре она закончит рассказ, и тогда Макиа ее разбудит. Чертовой карлице не терпелось. Она убеждала Макиа взять ее спящую. «Давай, не тяни, нечего миндальничать, — говорила она. Отходи ее по полной — глядишь, и глаза откроет». Он поступил иначе — решил не трогать ее, пока она не проснется сама, и в этом заручился согласием Алессандры. Он убедил ее, что «дворец воспоминаний» хоть и рабыня, но женщина редкой красоты и заслуживает бережного обращения.

Воевода Валахии Влад Третий, он же Дракула, он же Вампир и Казикли-бей, считался непобедимым. Шептались, будто он высасывал кровь посаженных на кол людей, и это давало ему сверхъестественную силу. Он был бессмертен, его невозможно было убить, и о его злодействах ходили легенды. Рассказывали, что для устрашения он послал венгерскому государю отсеченные носы плененных им венгров. Все эти рассказы внушали ужас, и поход на Валахию никого не радовал. Для поднятия духа султан распорядился раздать янычарам тридцать тысяч золотых и объявил, что в случае победы им будут возвращены их прежние имена и дано право владеть землей. Дракула уже успел сжечь всю Болгарию и посадить на кол двадцать пять тысяч человек, но у него армия была значительно меньше, чем у султана Османской империи. Он начал отступать, оставляя за собой выжженные земли, отравленные колодцы и перебитый скот. Отряды султана нередко оказывались без пищи и воды, и тогда валахское чудовище совершало на них неожиданные нападения. Войско несло большие потери, и множество воинов приняли мучительную смерть на дубовых кольях. Дракула заперся в Тырговиште, и султан объявил, что пора покончить с этим дьяволом.

Однако у Тырговиште их ожидало ужасающее зрелище: бревенчатый палисад крепости был утыкан телами. Двадцать тысяч мужчин, женщин и детей посадили на колья с целью устрашения неприятеля. Мертвые младенцы висели на руках мертвых матерей, и вороны уже вили гнезда

там, где некогда у женщин были груди. Этот лес мертвецов вызвал у султана такое отвращение, что он отдал приказ перепуганным отрядам повернуть вспять. Кампания грозила завершиться бесславно, но тут из рядов со своими верными слугами выступил наш герой. «Мы сделаем что требуется», — сказал он и через месяц вернулся в Стамбул с головой Вампира в кувшине с медом. Тело его было насажено на кол точно так же, как он проделывал это с десятками тысяч других людей. Его оставили монахам Снагова для совершения тех церемоний, которые они сочтут нужными. Вот тогда-то султан и понял, что герой — существо сверхъестественное и оружие у него заговоренное и слуги у него тоже не простые смертные. Герой был удостоен высшего звания «Носитель магической сабли», и ему вернули свободу. «Отныне, — провозгласил султан, — ты моя правая рука и такой же сын мне, как и все зачатые мною. Ты теперь не раб и не мамлюк, отныне ты турок и будешь зваться паша Аркалия».

«Счастливым концом, как и полагается в любой сказке. — не без иронии подумал Макиа. — Нашему другу удалось-таки добиться желаемого — он разбогател. „Дворцу воспоминаний“, пожалуй, самое время подвести итоги».

Он вытянулся на постели и попробовал представить Нино Аргалью в облике восточного вельможи: евнух-нубиец колышет над ним опахало, вокруг выются юные девы...

И ему стало тошно. Этот ренегат, сменивший христианство на ислам, пользующийся услугами шлюх падшего Константинополя — теперь Стамбула; человек, творящий молитву в мечети, равнодушно проходящий мимо сброшенной с пьедестала, разбитой статуи византийского императора Юстиниана; человек, радующийся вместе со своими новыми единоверцами усилению власти Османской империи, вызывал у него отвращение. Подобная предательская трансформация могла произвести впечатление на такого простака и добряка, как Аго, который в путешествии друга видел захватывающее приключение, недоступное ему самому, но только не на Никколо. Макиа видел в поступке Аргальи преступление против основы основ человечества — против древнейшего принципа верности своему роду. В его глазах это означало конец их дружбе, и если в будущем им суждено встретиться лицом к лицу, то это уже будет встреча врагов. Аргалья пошел против своих, а ни род, ни племя этого никогда не прощали. И все-таки в то время, да и годы спустя, Макиа не ожидал увидеть своего друга в этой жизни еще раз.

— Ну как? — спросила карлица Джульетта, просовываясь в дверь.

Никколо задумчиво склонил голову набок и произнес:

— Думаю, синьора, она скоро проснется и придет в себя. Что касается моей скромной роли в восстановлении ее личности, ее человеческого достоинства, которое, по определению великого Пико.^[41] лежит в основе гуманизма, то должен признаться, что даже горжусь достигнутым.

— Уфф! — у карлицы вырвался вздох облегчения. — Да уж пора бы!

В этот момент «дворец воспоминаний» снова заговорила. Ее голос окреп, и Никколо понял, что это ее последний рассказ, тот, что лежал у самого порога возведенного дворца; и прежде чем переступить сей порог и жить как все, ей необходимо рассказать и эту, последнюю, историю — ее собственную. Время будто побежало вспять, ее история разматывалась как клубок — от конца к началу. С возраставшим ужасом Макиа следил за тем, как перед ним разворачивается сцена внушения, как орудует над ней по заказу новоиспеченного паши длиннородый колдун-бекташи в своей высокой шапке, некромант и гипнотизер, специалист по возведению дворцов воспоминаний, чужодействует с тем, чтобы, стерев из памяти ее собственную жизнь, превратить девушку в хранилище жизнеописания Аргальи, — разумеется, в его собственной, приукрашенной версии. Султан подарил ему прелестную женщину, а он использовал ее в своих грязных целях. Варвар, предатель — вот он кто! Пусть бы лучше умер от чумы вместе со своими родителями! Пусть бы утонул тогда, когда Андреа Дория швырнул его в шлюпку. Смерть на колу от рук воеводы Дракулы — это еще слабое наказание за его черное дело!

Макиа задыхался от ярости и возмущения, но в этот момент перед ним нежданно-негаданно возникла маленькая сценка из далекого детства: малыш Аргалья насмешничает по поводу чудесных лечебных свойств кукурузной каши — поленты, которую варила его матушка, и весело распевает на ходу сочиненную песенку про любимую девушку по имени Полента: «Была бы она золотой флорин, я бы истратил ее один. Книжкой была бы — отдал бы другу..» — «Луком была бы — согнул бы в дугу», — подхватывает Аго. — «Стала бы шлюшкой — отдал бы в аренду, сдал бы в аренду подружку Поленту». Никколо почувствовал, как по его щекам побежали слезы. Тихонько, словно не желая потревожить только что вызволенную им из неволи женщину, он пропел: «Стань она письмецом, послал бы ее — и дело с концом, а если она со значением, занялся б его уяснением». С памятью об Аргалье, один на один с только что захлестнувшей его волной гнева и далекими, но милыми сердцу воспоминаниями детства, Макиа горько заплакал.

Меня зовут Анджелика, я дочь Жака Кёра из Бурже, поставщика двора Его Величества... Меня зовут Анджелика, я дочь Жака Кёра. Отец вел торговлю на Востоке, он доставлял орехи, шелка и ковры из Дамаска в Нарбонну. Его обвинили в том, что он отравил любовницу короля, и он бежал в Рим. Меня зовут Анджелика, я дочь Жака Кёра, Папа был милостив к нему. Семь папских галер под его командованием были посланы для освобождения Родоса, но во время плавания он заболел и умер... Меня зовут Анджелика, я из семейства Жака Кёра. Братья и я направлялись по торговым делам в Левант^[42], когда на нас напали пираты. Меня взяли в плен, а потом продали в гарем султана. Меня зовут Анджелика, я дочь Жака Кёра... Я Анджелика, дочь Жака... Я Анджелика, и я дочь... Я Анджелика и... Я Анджелика...

В ту ночь он заснул, лежа рядом с нею. Он решил для себя, что, когда она проснется, он будет с ней нежен, а она поблагодарит его с учтивостью, свойственной девушке из добропорядочной французской семьи. Он жалел ее от всего сердца. Подумать только — пережить нападение пиратов, быть проданной и перепроданной! Вряд ли она помнит, через сколько рук прошла, сколько мужчин пользовались ее телом. И даже теперь она все еще не на свободе. Да, у нее благородная внешность, но она всего лишь рабыня в публичном доме. Быть может, братья ее живы, и тогда они, разумеется, сделают всё возможное, чтобы вернуть потерянную сестру, свою любимую Анджелику. Они выкупят ее у Алессандры Фьорентины, и она сможет вернуться на родину — в Нарбонну, Монпелье или в Бурже. Как знать — возможно, ему будет дозволено и потрахать ее до того (нужно переговорить об этом утречком с карлицей Джульеттой, — в конце концов, Дом Марса у него в долгу за восстановление ценности подпорченного товара). Он славно поработал, и при этом почти бескорыстно...

Ночью ему приснился странный сон. Под куполом небольшой беседки, стоявшей на пирамидальном, в пять этажей, строении из красного камня, сидел некий падишах и смотрел на озеро, позолоченное лучами заходящего солнца. Позади него виднелись фигуры слуг с опахалами, а подле стоял человек — не понять, мужчина или женщина, но явно европейского вида, с длинными, желтого цвета волосами, в пестром плаще из разноцветных кожаных ромбиков — и вел рассказ о какой-то скрытой от всех принцессе. Желтоволосый (или желтоволосая?) стоял спиной к нему, спящему, зато падишаха он видел совершенно отчетливо. Это был могучий человек с довольно светлой кожей и пышными усами. Красивый, увешанный

драгоценностями, склонный к полноте. Похоже, все персонажи сна были исключительно плодом его собственной фантазии, поскольку восточный владыка определенно не походил на турецкого султана, а желтоволосый мало напоминал итальянского вельможу.

«Ты твердишь только о любви между мужчиной и женщиной, — говорил падишах, — нас же волнует любовь народа к своему правителю. Мы желаем, чтобы нас любили». — «Такая любовь непостоянна, — отвечал его собеседник. — Сегодня вас любят, завтра могут позабыть или возненавидеть». — «Тогда что же делать? Стать жестоким тираном? Править так, чтобы тебя возненавидели?» — «Зачем? Достаточно того, чтобы тебя боялись, ибо страх более живуч». — «Ты дурак! — воскликнул падишах. — Всем известно, что страх и любовь неразлучны».

Его разбудили крики и топот ног. Было светло, окна в комнате были распахнуты, и Джульетта визгливым голосом кричала ему в самое ухо: «Что ты с ней сделал?!» Растрепанные и невымытые, ненакрашенные и без обычных побрякушек девицы металась по комнатам. Все двери были раскрыты настежь, и отрезвляющий, разоблачающий всякую фальшь дневной свет проникал беспрепятственно во все углы и закоулки Дома Марса. Пресвятая Дева, как безобразно, как непотребно выглядели сейчас эти сумеречные существа с дурным запахом изо рта, с вульгарными ужимками и пронзительными голосами! Макиа стал поспешно одеваться. «Что ты наделал?!» Да не наделал он ничего. Он помог, он привел ей в порядок голову, высвободил из плена душу и практически пальцем ее не тронул! Надо думать, с него не собираются требовать денег? С чего эта карлица так на него взъелась и по какому случаю тут такой персполох? Необходимо поскорее уносить отсюда ноги.

Надо срочно отыскать Аго, Бьяджо, Ромоло и плотно позавтракать... «Кретин! — вопила Веронезе. — Зачем браться за дело, если в нем ничего не смыслишь!» Он уже успел привести себя в порядок и двинулся к выходу из утратившего всякое очарование Дома Марса, стараясь, чтобы его уход не! был похож на трусливое бегство. При его появлении куртизанки переставали галдеть. Некоторые тыкали в него пальцем, некоторые шипели, как разъяренные кошки. Окно в зале, выходившее на Арно, было разбито вдребезги. Хотелось бы знать, что же все-таки здесь произошло. И

тут перед ним возникла сама хозяйка заведения, Фьорентина, прекрасная даже в своем естестве. «Господин секретарь, сюда вас не пригласят больше никогда», — произнесла она ледяным тоном и исчезла в вихре кружевных юбок, после чего причитания и крики возобновились с новой силой. «Будь ты проклят! — проскрежетала Джульетта. — Ее невозможно было остановить. Она выскочила из комнаты, где ты спал, словно фурия ада, раскидывая всех, кто попадался на дороге».

Ты можешь как-то существовать, пока твой мозг спит, пока не осознаешь, что с тобой сотворила жизнь. Зато когда способность мыслить возвращается к тебе, то сойти с ума ничего не стоит. Разбуженная память может нанести тебе непоправимый вред. Память о множестве унижений, насилий, совершенных над телом твоим, память о великом множестве мужчин, обладавших тобой, — это уже не дворец, это просто бордель воспоминаний. А вдобавок — безжалостно-трезвое осознание того, что все дорогие тебе люди мертвы и неоткуда ждать спасения. Всего этого вполне достаточно, чтобы заставить тебя опрометью бежать. И если бежать изо всех сил, то, может, удастся оставить прошлое и все, что там с тобой случилось, далеко позади, а заодно избавить себя от будущего, которое не сулит ничего доброго. Никакие братья не кинутся на выручку, они мертвы. Может, мир стал одним большим кладбищем? Наверное, так оно и есть. Тогда и тебе, как всем остальным, следует умереть. Надо бежать, бежать стремительно, чтобы не успеть ничего почувствовать, и преодолеть стеклянное препятствие между двумя мирами так, будто стекло стало воздухом, а воздух — стеклом, и, пока ты летишь, он осыпает тебя осколками. Как хорошо падать. Как хорошо выпасть из жизни. Хорошо.

После того как в Доме Сканды Тансен пропел рагу двипака...

После того как в Доме Сканды Тансен пропел рагу *двипака*, отчего загорелись все светильники, оказалось, что огонь не пощадил и самого музыканта. В порыве вдохновения Тансен не заметил, как воспламенилась его одежда. Акбар повелел тотчас отправить певца в своем собственном паланкине в его родной Гвалиор и запретил возвращаться, пока силы его не восстановятся полностью. Дома Тансена ожидали две его сестры — Тана и Рири. При виде страданий своего обожженного брата опечаленные девушки запели рагу *мегх малхар* — песнь в честь дождевых облаков. Вскоре на лежавшего под навесом Миана Тансена посыпал легкий морозящий дождичек. Это был не совсем обычный дождь. Тана и Рири продолжали петь, осторожно удаляя повязки с тела брата, и по мере того как влага омывала ожоги, его кожа снова становилась гладкой. О великом чуде исцеления заговорили во всем Гвалиоре. По возвращении в Сикри Тансен рассказал императору о замечательном даре девушек, и Акбар немедленно отправил к ним Бирбала с богатыми подарками и приглашением переселиться во дворец. Выслушав Бирбала, девушки в замешательстве переглянулись и, не притронувшись к подаркам, пошли к себе, «чтобы обсудить предложение». Вскоре они вернулись и объявили, что ответ дадут на следующий день поутру. Бирбал всю ночь пировал у махараджи Гвалиора, а когда утром явился к дому сестер, то застал всю округу в горести и смятении: сестры утопились в колодце. Как истинные брахманки, они не пожелали служить императору-мусульманину, но побоялись, что их отказ разгневет правителя и их семья впадет в немилость. Они предпочли умереть.

Весть о самоубийстве сестер, чьи голоса обладали волшебной силой, повергла Акбара в великую печаль, а когда император впадал в меланхолию, столица замирала. Дискуссии в шатре Нового учения между «водохлебами» и «винолюбями» прекратились, смолкли перебранки на женской половине дворца. Ближе к вечеру, когда стал спадать зной, Никколо Веспуччи, называвший себя Могором дель Аморе, явился, как обычно, в покои Акбара, но император был не в настроении и его не принял. Перед самым заходом солнца Акбар неожиданно вышел и в

сопровождении охраны быстрым шагом направился к Панч-Махалу.

— А, это ты, — произнес он так, словно позабыл о самом существовании Могора, и, уже отворачиваясь, бросил: — Ладно, можешь пойти со мной.

Группа стражников расступилась, и Никколо оказался внутри магического круга власти. Ему пришлось почти бежать. Акбар спешил.

Устроившись в малой беседке Панч-Махала, император Хиндустана устремил взгляд на отливающее золотом озеро. За его спиной встали держатели огромного опахала из павлиньих перьев, а рядом — желтоволосый европеец, жаждавший продолжить рассказ о потерявшейся принцессе.

— Ты говоришь только о любви между мужчиной и женщиной, — сказал император, — нас же волнует любовь народа к своему правителю. Мы желаем, чтобы нас любили. Эти две девушки приняли смерть, потому что предпочли единству различие и своих богов — нашим; потому что избрали путь не любви, но ненависти. Их поступок наводит нас на мысль, что любовь — чувство преходящее. Следует ли из этого, что нам надлежит проявлять деспотизм? Править, сея страх и ужас? Неужто миром управляет страх?

— Не сомневаюсь, что история о доблестном воине Аргалье и наделенной бессмертной красотой Кара-Кёз способна возродить в сердцах всех мужчин, как и в твоём сердце, о царь царей, самый великий из Моголов, веру в беспредельную силу любви, — ответил ему Могор дель Аморе.

К тому времени, как император, покинув беседку, достиг своей опочивальни, плащ печали соскользнул с его плеч. Город вздохнул с облегчением, и звезды засияли ярче. Мрачность властителей, как известно, угрожает равновесию во вселенной, поскольку имеет свойство внезапно перерастать либо в паралич воли, либо в насилие, либо в то и другое вместе. Доброе расположение духа императора гарантировало тихую жизнь, и даже если это доброе расположение духа обеспечил чужестранец, спасибо ему за это. На Могора при дворе стали смотреть как на друга, и не только на него самого, но и на героиню его повествования, принцессу Черноглазку — Кара-Кёз.

Той ночью императору приснилась целая любовная история. Во сне он снова стал халифом Харуном ар-Рашидом. На этот раз, закутавшись в плащ, он бродил по улицам Исбанира. Внезапно у него начался страшный зуд во всем теле, и он чесался всю долгую дорогу до Багдада. Сначала его искупали в молоке ослиц, затем любимые жены принялись растирать его тело медом, но ничего не помогало. Лучшие врачи испробовали на нем свои снадобья и чуть не уморили совсем. Он прогнал их всех и, когда к нему вернулись силы, принял решение: если болезнь неизлечима, то следует занять себя чем угодно, лишь бы позабыть о ней напрочь.

Он велел собрать самых знаменитых лицедеев, надеясь, что они его рассмешат; он пригласил к себе самых известных философов, надеясь, что умственные усилия отвлекут его от страданий. Соблазнительные танцовщицы одна за другой демонстрировали ему свое искусство, а наложницы угадывали без слов и осуществляли его эротические фантазии. Он велел возводить дворцы, прокладывать дороги, открывать школы. Все это было прекрасно, однако чесотка мучила его по-прежнему. Чтобы искоренить очаг заболевания, он велел изолировать Исбанир и обкурить там все выгребные ямы и свалки, но обнаружилось, что очень немногие тамошние жители страдают от подобного невыносимого зуда. И вот однажды ночной порой, идучи по одной из багдадских улиц, он поднял голову и увидел высоко в окне лицо женщины. В свете свечи оно казалось отлитым из золота. Зуд неожиданно пропал. В следующее мгновение женщина задернула занавес, задула свечу — и зуд возобновился с удвоенной силой. Тут халифу все стало ясно. Он вспомнил, что то же самое лицо он видел всего один миг в Исбанире, после чего и начал чесаться как одержимый. «Разыщи ее, — приказал он визирю. — Это она меня заколдовала».

«Разыщи!» Легко сказать, да трудно сделать! В течение следующей недели к нему ежедневно приводили по семь женщин, но, когда по его повелению они открывали лица, всякий раз обнаруживалось, что среди

них нет той, которую он ищет. Настал день восьмой, и тут ему доложили, что одна женщина пришла добровольно и утверждает, будто может избавить халифа от страданий. Он велел впустить ее и, когда она вошла, сказал:

— Значит, ты и есть колдунья?

— Никакая я не колдунья, — отвечала женщина. — Просто однажды в Исбанире я смотрела из окна, увидела мужчину в плаще с капюшоном и внезапно вся зачесалась. Я даже переселилась в Багдад, надеясь, что перемена места поможет мне излечиться, но надежда не оправдалась. Чтобы отвлечься, я стала ткать покрывала, я сочинила множество стихов, но и это не помогло. Тут я услышала, что халиф разыскивает женщину, которая напустила на него чесотку, и тогда поняла, в чем разгадка. — С этими словами она решительно отвела от лица покрывало. В тот же миг зуд у халифа пропал, его сменило совсем другое ощущение.

— И у тебя тоже? — спросил халиф.

Она кивнула:

— Этот недуг меня оставил, но появился другой.

— Да, — согласился он, — и от этого нового недуга меня не сможет исцелить ни один мужчина.

— А меня — ни одна женщина, — отозвалась она.

Халиф громко хлопнул в ладоши и повелел готовиться к свадьбе. В согласии и любви супруги прожили долгие годы, пока их не настигла убийца дней и ночей — Смерть.

История о скрытой принцессе стала весьма популярной, и каждый, будь то обитатель богатого поместья или завсегдатай ночлежек и «веселых домов», стал пересказывать ее на свой лад. Мужчины и женщины, аскеты и проститутки бредили ею, видели ее во сне. Исчезнувшая принцесса из далекого Герата — города, который ее возлюбленный Аргалья окрестил Флоренцией Востока, доказывала, что прошедшие годы и более чем

вероятная смерть нисколько не повлияли на ее магические способности. Ей удалось очаровать даже царицу-мать, Хамиду-бану, которую сны вообще никогда не интересовали. Однако Кара-Кёз, привидевшаяся ей, оказалась преданной последовательницей ислама, женщиной примерного поведения, она мужественно противостояла дерзким домогательствам, и никакому чужеземцу не удалось запятнать ее честь. Вынужденная разлука с семьей причиняла ей нестерпимую боль, и, по ее признанию, в этом была виновата ее старшая сестра. Старой принцессе Гюльбадан, напротив, Черноглазка явилась во сне совсем в ином облике. Ее раскованность, ее склонность к авантюрам вызвали у Гюльбадан некоторую оторопь и в то же время невольное восхищение. Что же касается ее любовной связи с самым прекрасным на свете мужчиной, то это было захватывающе интересно! Гюльбадан готова была ей позавидовать, если бы не то ни с чем не сравнимое наслаждение, которое доставляли ей ночные рассказы принцессы. Для хозяйки Дома Сканды Мохини (она же Скелетина) Кара-Кёз стала воплощением эротической изощренности. По ночам она устраивала перед Скелетиной немыслимые по своей сложности акробатические шоу. Правда, сны о скрытой принцессе доставляли радость не всем. Любовница наследника, сиятельная Ман-баи, например, находила, что идиотская шумиха по поводу Кара-Кёз отвлекает внимание людей от ее особы, потому что лишь она, будущая правительница Хиндустана, в расцвете молодости и красоты, по праву должна занимать воображение своих подданных. Что касается Джодхи, то, забытая своим создателем и возлюбленным, она тоже раздумывала над тем, что в лице пропавшей принцессы обрела созданную воображением соперницу, с которой ей, возможно, не удастся справиться.

Очевидно, царственная Черноглазка превратилась для всех в некий символ, который каждый воспринимал по-разному: как пример для подражания, как угрозу благополучию или как источник вдохновения. Она стала сосудом, который люди наполняли согласно своим собственным вкусам, предпочтениям, предубеждениям и опасениям; стала отражением их тайных помыслов, страхов и радостей, их несбывшихся надежд и неосуществленных возможностей, их просчетов и заслуг, сомнений и принципов, а также отражением их взглядов на жизнь — от наиболее оптимистичных до самых что ни на есть мрачных.

Воссоздавший ее в своем повествовании Никколо Веспуччи (он же Могор дель Аморе) стремительно сделался самым желанным гостем в городе. В любое время дня для него были открыты все двери, ночью же он неизменно оказывался в Доме Сканды, где его всегда ожидало женское

божество в двух ипостасях — скелетообразном и тучном. Дом Сканды достиг того статуса, когда его владелицы сами выбирали клиентуру, и гостеприимство, с которым там встречали Могора, уже само по себе являлось признаком его возросшего влияния среди знати. Неизменное предпочтение, которое он оказывал Скелетине-Мохини, находили восхитительным. Самой же Мохини это казалось более чем странным. «Половина городских прелестниц готовы пустить тебя к себе в постель, а ты приходишь ко мне. Неужто и вправду ты никого не хочешь, кроме меня?» — с недоумением спросила его Мохини. В ответ он крепче прижал ее к себе со словами: «Пойми, глупая, я не для того проделал такой долгий путь, чтобы трахаться со всеми подряд».

Действительно, зачем же все-таки он явился? Этот вопрос не давал покоя многим. Среди них были и очень проникательные, и очень мстительные, но ни те ни другие не могли прийти к однозначному выводу. Растущий интерес жителей Сикри к разгульным дням и сексуально насыщенным ночам обитателей далекой Флоренции, разбуженный рассказами Могора во время пиршеств в поместьях богачей и попоек со сбродом в городских харчевнях, навел некоторых на мысль о том, что тайной целью его прибытия является разрушение моральных устоев империи и ослабление авторитета единого, истинного Бога. Жесткий главарь «водохлебов» и наставник все более неуправляемого принца Селима возненавидел Веспуччи-Могора еще с самой первой встречи в шатре Нового учения, когда тот прилюдно посрамил его. Теперь он начал называть его орудием Сатаны. «Сдается мне, — сказал он Селиму, — что твой безбожник-отец специально призвал его из ада в помощь, чтобы смущать народ. — И с фанатичным блеском в глазах добавил: — Должен найтись наконец человек, у которого хватит мужества покончить с этим».

Принц Селим стал сторонником Бадауни по причинам, весьма далеким от политики. Мальчишка сделал это потому, что Бадауни был яростным противником Абул-Фазла, которому Селим не мог простить дружбы с отцом. Воздержанность была не в его характере, по натуре он был сибаритом, и его склонности по этой части ужаснули бы человека-жердь, если у кого-либо хватило бы смелости рассказать о них главе «водохлебов».

Селим не верил утверждениям Бадауни о том, что император каким-то образом вызвал из ада посланника Сатаны для возбуждения в людях похоти. Он невзлюбил Веспуччи за то, что тот в качестве покровителя имел свободный доступ в Дом Сканды и обладал исключительным правом на Скелетину-Мохини. Несмотря на лихорадочные попытки сиятельной Манбаи привязать принца к себе при помощи эротических изысков, со

временем его влечение к Мохини не только не слабело, но и неуклонно росло. Ярость Ман-баи по поводу того, что ее возлюбленный по-прежнему желает ее бывшую рабыню больше, чем ее, поистине не имела границ. Если добавить к этому зависть к придуманной Веспуччи и при его содействии коварно завладевшей воображением толпы принцессе, то станет понятно, почему сиятельная Ман-баи испытывала такие мучения, словно у нее образовался отвратительный гнойный нарыв, который требуется вскрыть немедленно.

Когда Селим в очередной раз удостоил ее своим посещением, Ман-баи встретила его, приняв соблазнительную позу: ему предлагалось достать языком виноградину которую легонько покусывали ее зубы. «Любовь моя, — спустя некоторое время зашептала она, — думаешь ли ты о том, что может случиться, если император поверит или по каким-то своим причинам сделает вид, что поверил будто Могор — его близкий родственник? Задумывался ли ты о серьезных, весьма опасных последствиях этого лично для тебя?» Принц Селим всегда предпочитал, чтобы все сложные и серьезные проблемы ему разъясняли и за него решали другие, и Ман-баи на сей раз взяла эту задачу на себя: «Неужели ты не видишь, о будущий владыка Хиндустана, что это позволит твоему отцу заявить, будто у этого Могора больше прав на престол, чем у тебя? Даже если предположить, что вряд ли император на это решится, то что ему мешает усыновить Могора? Или тебе безразлично, о мой бесценный, будешь ты императором или нет? Как женщине, которая не желает для себя иной судьбы, кроме как стать твоей супругой, мне будет очень больно узнать, что мой избранник не прирожденный владыка, а всего лишь слабак и полное ничтожество».

Привязанность императора к чужаку вызывала беспокойство и разного рода опасения даже среди самых близких к Акбару людей. Царица-мать Хамида-бану, например, полагала, что Могор дель Аморе заслан к ним безбожниками, с тем чтобы внести смуту и ослабить государство любимых детей Аллаха. Бирбал и Абул-Фазл придерживались мнения, что это почти наверняка негодяй, бежавший от справедливого возмездия за какое-нибудь преступление, мошенник, которому пришлось искать себе другое место под солнцем и надевать новую личину, потому что оставаться там, откуда он явился, стало уже опасно. Не исключено, что дома ему грозила смерть на костре, повешение, четвертование или просто пожизненное заключение. «В его представлении все люди Востока — доверчивые простаки, — говорил Абул-Фазл. — Мы не должны идти у него на поводу. Я, например, ни минуты не сомневаюсь, что именно он виновен в смерти Хоуксбенка».

Бирбала больше заботила особа самого императора. «Я не хочу сказать, будто он лично желает вам зла, — говорил он, — но, согласитесь, Могор вас околдовал, а это, в конце концов, действительно может плохо кончиться, потому что он отвлекает ваше внимание от дел государственных».

Акбара доводы друзей не убеждали, он был склонен проявить терпимость. Он видел в Могоре несчастного, который потерял родину и стремится обрести душевный покой. «Как, должно быть, истосковался этот человек по любви и привязанности, если решился устроить подобие семейного очага в Доме Сканды, избрав себе в подруги шлюху Скелетину! — со вздохом говорил он. — Скиталец, как правило, обречен на одиночество, он везде чужак, И лишь сила воли позволяет ему продолжать путь по жизни. Как давно он слышал последний раз от кого-нибудь слова любви и заботы, слова ободрения? Как давно он слышал последний раз от женщины, что он ей дорог, что он — ее и больше ничей? Когда у человека в целом свете нет родной души, что-то в нем постепенно отмирает. Оптимизм, мой многомудрый Бирбал, когда-то кончается, и силы человеческие, мой дальновидный Абул-Фазл, не беспредельны. Любому мужчине днем нужны друзья, на которых он может опереться, а ночью — женщина, в объятиях которой он может забыть обо всем. Думается, Могор не имел ни того ни другого долгие годы. Когда мы увидели его в первый раз, внутренний свет его готов был угаснуть, теперь же он делается ярче с каждым днем — отчасти благодаря нам, отчасти благодаря этой малышке Мохини.

Возможно, таким образом она спасает ему жизнь. Мы не знаем, какая это была жизнь. Что правда, то правда — мы ничего не знаем о его прошлом. По словам отца Аквавивы, в городе, откуда он родом, семейство Веспуччи занимает высокое положение, но если это так, то, видимо, родня лишила его своего покровительства. Почему? Этого мы тоже не знаем. Нам приятно его общество, и в настоящий момент его тайны нас интересуют мало. Возможно, он преступник, может быть, даже убийца, но мы не знаем этого наверняка. Зато нам известно, что он пересек полмира, чтобы расстаться с прошлой своей историей и поведать нам совсем о другом. Эта, другая, история — единственное его достояние. По сути дела, он страстно желает того же, что и наш бедняга Дешвант, — целиком и полностью уйти в свое повествование и начать там жить заново. Иными словами, он существует в мире сказок, а искусный сказитель еще никому не причинял вреда». — «Хотелось бы мне верить, о господин, что я не доживу до момента, когда обнаружится вся ошибочность подобного утверждения», —

сухо отозвался Бирбал.

По мере того как росла популярность скрытой принцессы, репутация ее старшей сестры, Ханзады-бегум, становилась в глазах людей все более сомнительной. Сиятельная принцесса, которая после своего триумфального возвращения из долгого плена у Шейбани-хана стала считаться при дворе Бабура оплотом царского дома Великих Моголов, та, без совета с которой не принималось ни одно важное политическое решение, превратилась в пугало. Ее имя сделалось нарицательным, когда речь заходила о злобной старшей сестре; им обзывали друг друга женщины в разгар ссоры, когда хотели обвинить кого-то в зависти, тщеславии или предательстве. Теперь уже считалось, что именно козни Ханзады-бегум, а не только любовь Черноглазки к чужеземцу привели к отлучению младшей принцессы от семьи, подтолкнули ее к бегству в чужедальние края, где она и канула в безвестность. Со временем всеобщее чувство враждебности по отношению к «злобной сестрице» приняло несколько иные, довольно тревожные, формы. История Ханзады разбудила в людях, особенно в женщинах, склонность к сведению счетов, словно какой-то зловонный зеленоватый болотный дымок злобы заразил их всех. Стали поступать донесения о яростных стычках между некогда любящими сестрами, о подозрениях, взаимных обвинениях, драках, даже с применением кинжалов, — и все это началось как раз после того, как Ханзаду-бегум разоблачил в своем повествовании желтоволосый чужак. Мало-помалу враждебные настроения распространились и среди других особей женского пола. Дошло до того, что даже в гареме самого императора ненависть достигла невиданного прежде, абсолютно неприемлемого уровня.

Как заметил Бирбал, женщины вообще склонны жаловаться на мужчин. «Однако теперь выясняется, — говорил он, — что тяжелее всего и больнее всего они переживают обиды от себе подобных. Причиной, наверное, является то, что они считают мужчин в целом существами ненадежными, склонными к предательству и слабохарактерными, о самих же себе они более высокого мнения и ожидают друг от друга большего понимания, преданности и любви. Похоже, теперь все они в одночасье решили, что глубоко заблуждались». Абул-Фазл не без язвительности добавил, что в свете последних событий неоспоримость замечаний господина и повелителя насчет безобидности сказочек вызывает серьезные сомнения. Все трое — и император, и оба его друга — прекрасно понимали, что женскую свару не удавалось прекратить еще ни одному мужчине. Во Дворец сновидений были срочно вызваны царица-мать Хамида-бану и престарелая Гюльбадан. Они прибыли, пыхтя, пихая друг

дружку локтями и переругиваясь. Тут стало окончательно ясно, что ситуация в целом вышла из-под контроля.

Дом Сканды был одним из немногих мест, не охваченных женскими распрями, и однажды Скелетина и Матраска пришли к дворцовому комплексу и попросили аудиенции у императора, уверяя, будто им известно, как погасить вражду. Их отчаянное решение добиться встречи с Акбаром имело серьезную причину. «Нужно немедленно что-то с этим делать, — прошептала Мохини, лежа ночью с Могором, — иначе вот-вот кому-нибудь придет в голову свалить всю вину за происходящее на тебя, и тогда нам конец».

Невиданная дерзость шлюх позабавила императора, к тому же происходившее действительно внушало тревогу. Поэтому он согласился принять их у Несравненного водоема. Нежась на подушках на помосте посередине водоема, Акбар милостиво разрешил им высказать свое мнение.

— О Джаханпана! — произнесла Мохини. — Велите всем женщинам Сикри снять одежду.

От удивления Акбар приподнялся с ложа.

— Всю? — заинтересованно спросил он.

— Всю, до последней нитки, — серьезно подтвердила Матраска, — включая нижние юбки, носки, даже ленты в волосах. Пускай они походят голышом один день, и тогда все это безобразие прекратится.

— Вам должно быть известно, о прибежище сирых, — сказала Мохини, — что в «веселых домах» все спокойно. Это потому, что у нас, женщин ночи, нет тайн, мы отскребаем и отмываем одна другую, мы точно знаем, у кого на каком месте прыщ или другой изъян. Когда все до одной горожанки походят нагишом и поглядят на себе подобных — старых и молодых, пузатых и тощих, волосатых и гладких, — они посмеются над собою и решат, что глупо видеть врага в ком-то из этих довольно несовершенных созданий.

— Что касается мужчин, — встряла Матраска, — то вели им на день завязать себе глаза, и сам поступи так же. Не позволяй ни одному мужчине смотреть в этот день на женщину. Дай женщинам время успокоиться и примириться с самими собой и друг с другом.

«Если ты полагаешь, что я на такое пойду, — провозгласила почтенная Хамида-бану, — это будет означать, что ты и вправду свихнулся от рассказней чужестранца». Император смерил ее немигающим взглядом и медленно произнес: «Неподчинение императорскому приказу карается смертью».

В День обнажения небеса были милостивы. Над городом нависли облака и подул легкий ветерок. Мужчины Сикри в этот день не работали, лавки оставались закрытыми, поля — безлюдными, на дверях мастерских ремесленников и художников — решетки. Знатные горожане предпочли остальным занятиям сон. В отсутствие мужчин женская половина населения Сикри имела полную возможность заново убедиться, что их подлинная суть не в заговорах, не во лжи и предательстве; что все они созданы из плоти, кожи и волос и все по-своему несовершенны; что им нечего делить и нечему завидовать и что даже сестрам ничто не мешает жить в мире и согласии друг с другом. После захода солнца женщины снова оделись, мужчины сняли с глаз повязки, и ужин, как после долгого поста, в тот день состоял у всех из фруктов и воды.

С тех пор Дом Сканды стал единственным ночным заведением, получившим право существовать на законном основании — с разрешения самого императора, а обе его хозяйки были удостоены звания советников при Его Величестве. Лишь два обстоятельства омрачили небо над Сикри в тот памятный день. Одно имело отношение к принцу Селиму. Напившись пьяным, он хвастался во всеуслышание, что не подчинился отцовскому приказу и целый день глазел на обнаженных женщин. Услышав об этом, Акбар велел немедленно арестовать его, и не кто иной, как Абул-Фазл придумал для принца наказание в соответствии с проступком. Утром следующего дня его привели в гарем, и там, на открытой площадке, раздели догола, после чего евнухи-мужчины и мускулистые женщины, надзирающие за порядком, отхлестали его прутьями. Затем они кидали в него камешки и комья грязи до тех пор, пока он не взмолился о пощаде. После этого инцидента стало очевидно, что пропойца, пристрастившийся к опиуму, — принц Селим однажды непременно предпримет попытку расквитаться как с Абул-Фазлом, так и со своим отцом — императором Хиндустана.

Другим последствием Дня обнажения стала жестокая простуда престарелой Гюльбадан, от которой она скоропостижно скончалась. Перед смертью она призвала императора и попыталась восстановить репутацию Ханзады-бегум: «Когда твой отец вернулся после долгого изгнания, не кто иной, как Ханзада-бегум взяла на себя заботу о тебе. Твоей матери не было рядом. Не забывай, Ханзада нежно любила тебя. Она покрывала поцелуями твои ручки и ножки, говоря, что ты напоминаешь ей отца. Каковы бы, ни были ее отношения с принцессой Кара-Кёз, тебя она любила — это чистая правда. Плохая сестра, но любящая тетка...» Гюльбадан всегда отличалась

точностью в описаниях событий прошлого, но в смертный час мысли ее явно стали путаться. Она то называла Акбара именем его отца — Хумаюн, то, видимо, принимала его за деда, Бабура. В лице Акбара словно все три Великих Могола встали у ложа Гюльбадан, чтобы ее душа могла спокойно отойти в мир иной. Хамида-бану была уверена, что смерть Гюльбадан на ее совести. «Я толкнула ее, — причитала она, — я толкнула ее так сильно, что она едва не упала, а она ведь была старше! Я не относилась к ней с должным почтением, и вот теперь она умерла!» — «Гюльбадан знала, что ты ее любишь, — утешал ее Акбар. — Знала, что ты была ей верным другом». Но царицу-мать его слова не убеждали. «Гюльбадан всегда казалась такой молодой, — стонала она. — Ангел смерти просто ошибся, умереть должна была я, а не она!»

Когда миновали сорок дней траура, Акбар призвал к себе Могора.

— Послушай, — сказал он, — ты не мог бы изложить всю историю покороче? Доведи свой рассказ до конца как можно скорее, только уж постарайся при этом не будоражить женщин.

— О хранитель вселенной! — отвечал Могор с глубоким поклоном. — Я и сам больше всего на свете желаю окончить повествование как можно быстрее, однако, прежде чем привести принцессу Кара-Кёз в объятия турка Аргальи, мне необходимо коснуться военных событий, которые произошли на пространстве между Италией и Хиндустаном, — событий, связанных с тремя великими личностями: узбекским воителем Древоточцем, владыкой Персии шахом Исмаилом из рода Сефевидов и султаном Османом.

— Черт бы побрал всех сказителей! — проворчал Акбар. — Чтоб детей твоих оспа пощипала!

У берегов Каспийского моря старухи — картофельные ворожеи...

У берегов Каспийского моря старухи — картофельные ворожеи стенали. Они громко голосили и горестно завывали. Вся Трансоксания оплакивала великого Шейбани-Древоточца, правителя Хорасана, господина Самарканда, Герата и Бухары, прямого потомка Чингисхана и сокрушителя Могола-выскочки Бабура...

«Нам неприятно, когда в нашем присутствии повторяют хвастливые речи какого-то проходимца, упоминая имя нашего деда», — угрожающе прервал рассказчик тихий голос императора.

Шейбани, этот варвар и настоящий злодей, потерпел поражение при Мерве от Исмаил-шаха. Тот велел изготовить из его черепа оправленный в золото и украшенный рубинами кубок для вина, а части тела Шейбани — в доказательство того, что узурпатор и вправду мертв, — приказал разослать в разные земли, прежде ему принадлежавшие. Именно так окончил свои дни в возрасте шестидесяти лет этот закаленный в сражениях, но дикий и внушавший страх воин: его унизил, его изрезал на куски зеленый юнец, которому едва исполнилось двадцат четыре.

«Вот это уже лучше, — с удовлетворением отозвался император, делая глоток вина из своего собственного кубка. — Ибо как можно называть доблестным человека, который убивал своих соплеменников и друзей, человека без веры, без чести, не ведавшего, что такое сострадание. Подобные действия могут привести к власти, но никогда не прославят в веках». — «Сам флорентиец Никколо Макиавелли не смог бы выразить это лучше», — пробормотал Веспуччи-Могор.

Ворожба на картофеле зародилась в районе Астрахани, на берегах реки Итиль, впоследствии получившей название Волга. Ввела ее в практику легендарная колдунья Ольга, однако между ее последовательницами произошел раскол. Ворожеи, которые жили возле Каспия, в ту пору именуемого Хазарским морем, в районе Ардабила, родного гнезда Исмаил-шаха, примкнули к шиитам^[43] и радовались победам двенадцатого правителя Персии, в то время как жалкая горстка тех, которые остались на восточном побережье, среди узбеков, поддерживала Шейбани. Впоследствии, когда армия Османа разбила Исмаила в пух и прах, эти суннитские ведьмы возомнили, будто их ворожба более эффективна, чем у их шиитских сестер по ремеслу. «Хорасанский картофель всемогущ! — как заклинание, твердили они. — Его сила безгранична!»

С помощью картофельной магии, утверждали суннитские ведьмы, можно найти себе мужа, отбить избранника у более привлекательной соперницы и даже решить исход сражения. Шах Исмаил стал жертвой крайне редко используемого великого противошиитского заклятия. Для этого требовалось невероятное количество картофеля и осетровой икры, причем последнее представляло значительную трудность. Следовало также добиться полного единогласия среди суннитов — задача не менее трудная, чем добыча икры осетров. Когда пришло известие о поражении Исмаила, ведьмы-суннитки утерли глаза, перестали выть и пустились в пляс. (Пляшущая хорасанка — зрелище уникальное, и тот, кто видел это хоть раз, вряд ли когда-нибудь забудет.) Раскол же в среде картофельных ворожей, произошедший после применения великого икорного заклятия, существует и по сей день.

Можно предположить, однако, что исход решающего сражения (при Чалдыране) был обусловлен более прозаическими причинами. Армия турок имела численное превосходство, к тому же у них были ружья, в то время как персы, считая их оружием, недостойным мужчины, от их применения отказывались, вследствие чего гибли в огромном количестве, хотя и весьма достойно, вполне по-мужски. Можно предположить также, что турки выиграли бой, потому что их армией командовал несокрушимый янычар, избавивший мир от Влада Дракулы, доблестный турок из Флоренции по имени Аргалья. Сколь бы ни мнил себя великим Исмаил-шах — а по самомнению ему не было равных в мире, — он оказался не способен долго сопротивляться обладателю заговоренной сабли.

Шах Исмаил объявил себя двенадцатым имамом.^[44] По всеобщему мнению, он был высокомерен и тщеславен и прослыл истовым приверженцем ислама шиитского толка. Он любил повторять слова суфия Шейха Захида: «Я искрошу в щепы клюшки противника, и все поле станет моим». К изречению святого он сделал собственное добавление: «Я то, что тебе нужно. Приди ко мне, слепец, потерявший дорогу, и обрети Истину! Я тот, кто может всё и вся!» Его почитали как земное воплощение Аллаха, и своим верным «красноголовым» солдатам-кызылбаши он действительно представлялся божеством. Никто не назвал бы Исмаила скромным, благородным или добрым. Тем не менее именно в таких выражениях говорила о нем вычеркнутая из истории принцесса Кара-Кёз, когда после победы при Мерве с головой Шейбани-хана в кувшине с медом он торжественно вступил в Герат. Шах Исмаил стал ее первой любовью. Тогда ей исполнилось семнадцать.

— Значит, это все-таки правда! — воскликнул Акбар. — Выходит причина отказа Черноглазки вернуться вместе с Ханзадой ко двору нашего деда, причина запрета упоминать ее имя заключается вовсе не в том, что ее соблазнил ваш Аркалья или Аргалья, как полагала незабвенная Гюльбадан, а в ее любви к персидскому шаху!

— В сказании о Кара-Кёз две главы, о хранитель вселенной, — пояснил Могор. — Две главы и два героя. Первая посвящена победителю, вторая — тому, кто его уничтожил. Нужно признать, что женщина — существо несовершенное, и у молодой особы, о которой идет речь, имелась своя слабость — она любила быть на стороне победителей.

Герат. Жемчужина Хорасана, родина создателя непревзойденных миниатюр Бехзада и бессмертного философа любви — поэта Джами; место упокоения покровительницы самой красоты, царицы, названной Гаухар-Шаад, то есть «сверкающая, словно алмаз». «Теперь ты принадлежишь Персии, о Герат! — повторял про себя Исмаил-шах, следуя улицами покоренного города. — Твоя история, твои оазисы и купальни, мосты, каналы и минареты — все это теперь мое». Из окна дворца за ним следили две пары глаз — две принцессы из рода Великих Моголов. «Теперь мы либо умрем, либо получим свободу», — произнесла Ханзада. Она

постаралась, чтобы ее голос звучал спокойно. Она заметила запечатанный кувшин, притороченный к седлу коня, следовавшего за Исмаилом, и поняла, что в нем находится. «Если отец мертв, его сына ожидает та же участь», — добавила она. Предчувствие не обмануло ее: к тому времени, как Исмаил явился к ним, мальчика уже отправили вслед за отцом. Почтительно склонив голову перед принцессами, шах Исмаил обратился к ним с краткой речью:

— Вы сестры великого брата моего, и я дарую вам свободу. В знак своего расположения к почтенному Бабуру я намерен отправить вас вместе с дарами в Кундуз, где он сейчас пребывает. Думаю, для него вы станете самым дорогим из всех моих подарков.

— До сегодняшнего дня я была не только сестрой, но еще женой и матерью, — отвечала Ханзада. — Две трети меня ты уже уничтожил, а то, что осталось, думаю, можно отправить к родным.

Ее сердце — сердце супруги Древоточца и матери восьмилетнего принца — разрывалось от горя, но ни словом, ни жестом, ни взглядом она не позволила себе показать свои истинные чувства, поэтому шах Исмаил посчитал ее холодной и бездушной. В свои двадцать девять Ханзада-бегум по-прежнему оставалась красавицей, и у Исмаила возникло искушение взглянуть на ее прикрытое кисеей лицо, однако он сдержался и перевел взгляд на младшую сестру.

— А что вы скажете своему освободителю? — со всей учтивостью, на какую только был способен, спросил он.

Ханзада-бегум взяла девушку за локоть, как бы собираясь увести.

— Мы с сестрой одного мнения, — сказала она. — Мы отправимся домой.

И тут произошло неожиданное. Кара-Кёз отстранила сестру, откинула тонкую кисею и, смело глядя в лицо Исмаилу, произнесла:

— Я предпочла бы остаться.

После череды жестоких сражений мужчина особенно остро осознает, сколь хрупкая это вещь — жизнь; его дух слабеет, он начинает ценить жизнь с особой силой, словно драгоценную чашу, которая чуть-чуть не разбилась вдребезги. В такие моменты все мужчины на какое-то время делаются трусами; они думают только об одном — как бы забыться в женских объятиях, услышать исцеляющие слова любви, которые шепчут только женщины; они жаждут одного — затеряться в смертельно опасных лабиринтах любви. В подобном состоянии мужчина готов совершать поступки, которые могут свести на нет все тщательно продуманные планы, и давать обещания, которые способны круто изменить его судьбу. Так

случилось и с Исмаил-шахом — он утонул в черных глазах принцессы.

— Тогда оставайся, — вымолвил он.

— О да! — со вздохом проговорил император, вспоминая собственные ощущения. — Женщина — на нее упоаешь, когда душа твоя опустошена, когда руки твои в крови, ее жаждешь, чтобы своим прикосновением она стерла чувство вины за пролитую кровь, если ты победил, и избавила бы от уязвленного тщеславия, если победили тебя. Женщина — чтобы унять пробирающую до костей дрожь, чтобы осушить слезы стыда и облегчения от того, что всё уже позади; женщина — чтобы окропила тебя лавандой и ты перестал ощущать запах крови на кончиках пальцев и зловоние собственной бороды. И пусть женщина скажет, что ты принадлежишь ей одной, отвлечет тебя от мыслей о смерти, избавит от тревожного чувства, что когда-то и тебе придется предстать перед судом Всевышнего, изгонит из твоего сердца зависть к тем, кто успел пройти через это испытание до тебя и удостоился лицезреть Его. Женщина — только она одна способна заглушить самое страшное и самое тайное из всех твоих сомнений — сомнение в возможности жизни после смерти, сомнение в самом существовании Всевышнего, ибо смерть настолько очевидна, безусловна и окончательна, что исполнение какого-либо высшего предназначения после этого представляется невозможным.

Позднее, после того как Исмаил потерял ее навсегда, он говорил о том, что был околдован, о том, что в ее взгляде было нечто потустороннее. Говорил, что в нее вселился Сатана, который и привел его к гибели. «Никогда не подозревал, — делился он со своим глухим слугой, — что подобная красота может сочетаться с такой черствостью. Не ожидал, что она бросит меня так же бездушно, как выбрасывают старые туфли. Я думал, что меня любят. Никогда не ожидал, что, как Меджнун,^[45] сам буду сходить с ума от любви. Она разбила мне сердце».

Ханзада вернулась в Кундуз, к Бабуру, без сестры. Ее встретили торжественно: перед ней прошли маршем полки, гремели барабаны, звенели песни, кружились в танце стройные девушки. Сам Бабур подошел,

чтобы заключить ее в объятия, когда она вышла из паланкина. Однако душа его кипела от ярости, и именно тогда он повелел вычеркнуть имя Черноглазки из семейной хроники. Правда, еще какое-то время он делал вид, что питает к Исмаилу дружеские чувства. В оборот были пущены монеты с профилем Исмаил-шаха, а тот, в свою очередь, дал Бабуру войска, чтобы вытеснить из Самарканда узбеков. Вскоре после этого Бабур перестал скрывать свою неприязнь и дал знать Исмаилу, что пора бы ему убраться с его территории к себе в Персию.

— Вот это интересно, — заметил Акбар. — Для нас всегда оставалось непонятным, что побудило нашего деда сразу после взятия Самарканда вдруг потребовать, чтобы Исмаил увел свои войска. Как раз тогда он перестал писать историю своей жизни и вернулся к этому лишь спустя одиннадцать лет. Как только персы ушли, он снова потерял Самарканд и был вынужден податься па Восток. Мы полагали, что причиной его отказа от помощи персов послужило недовольство религиозной риторикой Исмаил-шаха, настойчивостью, с которой тот навязывал всем идею о своем божественном статусе, и претензиями на роль главного шиита. Однако если истинной причиной явилось накопившееся у деда раздражение из-за Черноглазки, то это означает, что ее поступок оказал огромное влияние на целую цепь дальнейших событий. Ведь именно потеря Самарканда вынудила Бабура устремиться в Хиндустан и положить здесь начало новой династии, третье звено которой — мы сами. Если твои слова верны, то получается, что наша империя возникла благодаря капризу Кара-Кёз! Следует ли нам осуждать ее за это или прославлять? Кем она была — предательницей или родоначальницей, которая определила наше будущее?

— Ни то ни другое, — ответил Могор. — Она была прекрасной, своевольной девушкой, которая и сама поначалу не сознавала, сколь сильна ее власть над мужчинами.

Вот она, Кара-Кёз — Черноглазка. Она в столичном городе Тебризе,

возлежит на коврах, подобно Клеопатре, доставленной в покои Цезаря. Вокруг Тебриза даже горы были устланы коврами, потому что мастера-ткачи сушили там свои изделия. У себя в покоях сиятельная Кара-Кёз каталась по персидским коврам и ластилась к ним, словно к сонму любовников. В углу всегда стоял кипящий самовар. Она лакомилась лепешками в меду, поглощала цыплят, начиненных сливами и чесноком, креветок с тама-риндовой пастой, кебаб с ароматным рисом и при этом умудрялась оставаться тоненькой и гибкой. Она играла в триктрак со своей рабыней Зеркальцем, и никто из придворных не мог ее превзойти. У нее и у Зеркальца были и другие игры: через двери спальни часто доносился визг и хихиканье, и многие подозревали их в любовной связи, однако из страха поплатиться жизнью открыто об этом не говорил никто. Когда молодой шах, играя в поло, заносил клюшку для удара по мячу, она обычно постанывала, будто в любовном экстазе. Мяч Исмаила неизменно оказывался в нужной лунке, меж тем как мячи его соперников ложились далеко в стороне, и люди шептались, будто вскрики Кара-Кёз не что иное, как заклятие. Она купалась в молоке. У нее был ангельский голос, но читать она не любила. Ей исполнился двадцать один год, но она все еще не родила Исмаилу наследника. И однажды, когда шах упомянул о растущем влиянии его западного соседа и давнего врага — султана Баязида Второго, она дала ему роковой совет. «Послушай, — шепнула Кара-Кёз, — отошли ему тот самый кубок из черепа Шейбани-хана. Это напомнит ему, что ждет каждого, кто забывает свое место».

Его тщеславие возбуждало ее. Она была без ума от его недостатков. Вероятно, ей и нужен был человек, вообразивший себя богом, а не обыкновенный покоритель многих земель. «Вот это да! — воскликнула она, когда Исмаил овладел ею. — Ты и вправду можешь сотворить все что по желаешь!» Исмаил пришел в восторг, питая слабость к лести, но не учел, что такая красота, как у нее, не признает над собой ничьей власти, что ни один мужчина на земле не может владеть ею единолично. Она сама себе госпожа и свободна как ветер. Шаху Исмаилу с его непомерным себялюбием казалось вполне естественным, что принцесса в одно мгновение изменила свою жизнь, бросила сестер, братьев ради понравившегося ей незнакомца. Еще бы — ведь этим незнакомцем был он! Ложное тщеславие не позволило ему заметить в Кара-Кёз самого главного — независимости, непостоянства ее натуры. Он не понял, что если женщина бездумно разрывает один союз, то так же легко способна разрушить и следующий.

Бывали дни, когда ей нравилось делать больно — и ему, и себе. На

ложе она тогда шептала ему, что в ней живет злая сила и когда эта сила берет верх, то сама она уже не отвечает за свои поступки и способна буквально на всё. Это приводило его в восторженное исступление. Он видел в ней более чем равную себе — он видел в ней свою владычицу, свою госпожу. Правда, за четыре года она так и не родила ему сына. Ну и пусть, зато она дарит ему небывалое наслаждение. Ради такой как она мужчины убивают. Она — его страсть, она — его мудрый наставник.

— Хочешь, чтобы я послал Баязиду тот самый кубок? Кубок-череп? — хрипло, словно пьяный, произнес Исмаил.

— Когда ты пьешь из этого кубка, он приносит тебе победу, — шепнула она. Но когда Баязид пригубит вино из черепа твоего соперника, страх поселится в его сердце.

Исмаил понял, что она наложила на кубок заклятие.

Аргалье шел сорок шестой год. Он был высок ростом. Несмотря на тяготы военного поприща, лицо его оставалось белым, а гладкая, нежная кожа вызывала неизменное восхищение у женщин. Его страстью были тюльпаны. Их он полагал цветами удачи и приказывал вышивать на своих одеяниях. Комнаты, отведенные для него во дворце, всегда были полны тюльпанов. Из пятнадцати сотен сортов, которыми славился Стамбул, он отдавал предпочтение шести: «сиянию рая», «безупречной жемчужине», «дарителю наслаждения», «внушающему страсть», «сопернику бриллианта» и «утренней розе». Он по-женски любил украшения и в перерывах между сражениями одевался в шелка и увешивал себя драгоценностями; также он любил носить меха, предпочитая те, что доставляли через Феодосию из Московии, — шкуры лис и рысей. Его длинные волосы были черны как вороново крыло, а губы красны как кровь.

Кровь и ее пролитие были основным делом его жизни. При султанине Мехмеде Втором он участвовал в двенадцати кампаниях и всякий раз, когда пускал в ход аркебузу или меч, неизменно одерживал победы. С полком верных янычар и с четырьмя соратниками — гигантами Отто, Ботто, Клотто и Д'Артаньяном, которые служили ему щитом, Аргалье были не страшны дворцовые каверзы, и, пережив семь покушений на свою жизнь, он остался цел и невредим. После смерти Мехмеда страна оказалась на пороге междоусобицы: оба его сына — Баязид и Кем — рвались к власти.

Когда Аргалье стало известно, что главный визирь, в нарушение традиции, решил отложить похороны султана на трое суток, чтобы Кем успел вернуться в столицу и занять трон, Аргалья с четырьмя швейцарцами ворвался в покои визиря и расправился с ним. Затем он возглавил армию Баязида, изгнал из страны потенциального претендента на трон и стал главнокомандующим при новом султানে. Он сражался с египетскими мамлюками на суше и на море и, после того как одержал победу над объединенными силами Венеции, Венгрии и Папы Римского, получил звание адмирала.

Вслед за этим возникли проблемы с анатолийскими *кызылбаши*. Все они носили красные фески с двенадцатью кистями — в знак того, что признают высшим владыкой двенадцатого имама, — и, соответственно, поддерживали шаха Исмаила, присвоившего себе божественный статус. Третий сын Баязида, Селим, по прозвищу Грозный, был за то, чтобы истребить их всех без промедления, но его отец не хотел кровопролития, из-за чего лишился уважения сына. Тот стал считать его трусом и отступником. Когда в Стамбуле получили от Исмаила знаменитый кубок, Селим Грозный воспринял это как личное оскорбление. Он поднял кубок, как дуэлянт поднимает брошенную ему в лицо перчатку, и поклялся, что из этого кубка будет пить кровь Сефевида Исмаила. «Я возьму на себя роль виночерпия», — произнес, выступив вперед, Аргалья. Баязид продолжал удерживать сына, и для Аргальи это послужило сигналом: несколькими днями позже он со своими янычарами перешел на сторону Селима. Старейшему султану было предложено освободить трон, что он и сделал. Баязид отправился к себе на родину, во Фракию, и по дороге умер от горя, что было как нельзя кстати: в мире нет места для тех, кто потерял хватку. Селим при содействии Аргальи взял в плен своих братьев — Ахмеда, Коркуда и Шахиншаха — и велел их задушить. Их сыновей он тоже убил. Таким образом порядок был восстановлен и мятежу положен конец. (Много лет спустя, рассказывая об этом Макиа, Аргалья, в оправдание такого злодеяния, сказал: «Когда новый человек захватывает власть, ему надлежит начать правление с самых жестких мер, тогда каждое следующее решение народ будет воспринимать как улучшение ситуации в стране». Макиа долго хранил молчание, но в конце концов сказал: «Как это ни ужасно, ты прав».) Когда столкновение с Исмаил-шахом стало неизбежным, Аргалья со своими янычарами был послан на север Анатолии,^[46] в Рум, и тысячи *кызылбаши* были брошены в тюрьмы или умерщвлены. Это обеспечило беспрепятственный проход войск через их территорию. Шаху Исмаилу было направлено послание, в котором

говорилось: «Ты более не следуешь заповедям нашей святой веры. Ты превратил свою шиитскую клику в греховное сексуальное сообщество. Ты пролил кровь невинных». Стотысячное войско Селима Грозного расположилось лагерем у озера Ван, в Восточной Анатолии. Среди прочих полков там находились и двенадцать тысяч янычар Аргалья. В их распоряжении было пятьсот пушек. Соединенные цепями, они образовывали непреодолимый для противника барьер.

Чалдыран, где должна была состояться решающая битва, находился к северо-востоку от озера. Войско Исмаила насчитывало от силы сорок тысяч, и почти все — конники, но Аргалья знал по опыту, что численное превосходство не всегда решает исход сражения. Подобно Владу Дракуле, шах Исмаил использовал тактику выжженной земли, и турки на последнем марше от Сиваша до Арзинджана оставались без провианта и без воды. Когда после долгого похода они разбили лагерь у озера Ван, солдаты были голодны и изнурены, а такая армия может оказаться небоеспособной. Позднее принцесса Кара-Кёз объяснила Аргалье, почему победа все же досталась туркам. «Всему виной его глупое рыцарство, — сказала она. — Рыцарство да еще его дурак-племянник, к чьим словам он прислушивался больше, чем к моим».

Дело в том, что обольстительница Кара-Кёз вместе со своей рабыней Зеркальцем в нарушение всех правил находилась во время битвы рядом с Исмаилом, на холме, откуда открывалась панорама боя. Она стояла возле шахского шатра. Ветер трепал ее одежды, и солдаты, глаза на ее лицо и груди, начисто забывали о воинских подвигах.

«Надо было совсем спятить, чтобы позволить тебе находиться здесь», — сказал Аргалья, когда на исходе дня, весь в крови, опустошенный, поднялся на холм, где стояли, всеми покинутые, обе женщины. «Да, — бесстрастно отозвалась Кара-Кёз. — Да, это я свела его с ума».

Ее чары не возымели действия, когда речь зашла о военной стратегии — Исмаил не прислушался к ее советам. «Взгляни, — кричала она, — турки все еще заняты организацией обороны! Атакуй же их сейчас, когда они еще не готовы! Смотри — у них линия из пятисот пушек, а за ней — двенадцать тысяч мушкетеров! Если пойдете в лобовую атаку, от вас ничего не останется! И почему у твоих солдат нет ружей?! Ты же знаешь, какая это подмога! Где они?!»

Шахский племянник Дурмиш-хан ответил ей, что нападать, когда противник еще не подготовился, бесчестно, что атака с тыла — вещь неслыханная и что ружье — оружие, недостойное мужчины. «Его

используют лишь трусы, — у кого недостает смелости приблизиться к врагу. Невзирая на ружья, мы навяжем им рукопашный бой, и победит мужество, а не какие-то там аркебузы и мушкетеры!» — заключил свою отповедь Дурмиш. Не зная, плакать или смеяться, она повернулась к Исмаилу: «Скажи ему, что он полный дурак!» — воскликнула Черноглазка, на что шах персидский отвечивал: «Я не разбойник с большой дороги, чтобы нападать из-за угла. На всё воля Аллаха».

После этого она отказалась наблюдать за боем, ушла в шатер и села спиной к входу. Ее рабыня опустилась возле нее и взяла ее руки в свои. Шах Исмаил возглавил атаку на правом фланге и смел левую цепь обороны турок, но Кара-Кёз не шелохнулась. Обе армии несли страшные потери. Кавалерия персов уничтожила цвет османской конницы: иллирийцев, македонцев, сербов, эфирцев, фессалийцев, фракийцев. Сефевиды теряли одного полководца за другим, и, сидя в шатре спиной к входу, Кара-Кёз называла имя очередного убитого: «Мухаммад-хан, Хусейн-бек Лала, Сару-Пира...» За нею их имена повторяла Зеркальце, и от этого казалось, что по шатру гуляет эхо. «...Амир Низам-ад-дин Абд аль-Баки...» — «...Аль-Баки...»

Но имя того, кто сам себя провозгласил богом, так и не прозвучало под сводами шатра. В центре турки еще держались, но кавалерия на флангах была близка к панике. В этот решающий миг Аргалья бросил вперед своих янычар. «Если хоть кто-то побежит, — крикнул он, отдавая приказ, — я самолично разверну на вас пушки!» Четверо вооруженных до зубов швейцарцев, ободряя и угрожая, пробежались по шеренгам, заговорили мушкетеры, и Кара-Кёз произнесла: «Буря. Началась буря». — «.. Буря», — эхом откликнулась Зеркальце. Теперь уже не было нужды смотреть на поле битвы. Пришло время оплакивать мертвецов. Шах Исмаил уцелел, но битву безнадежно проиграл. Раненый, он бежал с поля боя без нее. Она это поняла. «Он нас бросил», — шепнула Кара-Кёз. «...Бросил», — повторила вслед за ней рабыня. «Теперь мы добыча врага». — «...Добыча врага», — шепнула эхо-Зеркальце.

Приставленная к женщинам охрана бежала вместе с остальными. Они остались одни на холме, внизу простиралось залитое кровью поле битвы с горами мертвых тел. Так и застал их Аргалья, когда после сражения при Чалдыране поднялся на холм и вошел в шатер: сидя спиной к входу с гордо поднятыми головами, они исполняли свой долг — пели погребальную песнь. Принцесса Кара-Кёз обернулась. Она не сделала попытки прикрыть лицо. Их взгляды встретились, и с той минуты все остальное перестало для них существовать.

«Он похож на женщину, — подумала Черноглазка. — Он похож на высокую женщину со смертельно бледным лицом и иссиня-черными волосами. На пресытившуюся жизнью и готовую умереть женщину. Белое, словно маска, лицо, и на нем, как кровавый надрез, красный рот...» В правой руке он держал меч, в левой — ружье. Она словно видела перед собой двоих — мужчину и женщину, меченосца и стрелка, человека и тень его. И подобно тому как покинул ее Исмаил, принцесса изгнала его из своего сердца и снова сделала свой выбор. Это уже потом Аргалья испросит у Селима Грозного право взять себе обеих женщин в качестве военной добычи, и Селим даст на это свое согласие, однако на самом деле всё решил ее выбор и ее воля определила дальнейший ход событий.

— Не бойся, — обратился он к ней на фарси.

— Тем, кто сейчас здесь, неведом страх, — также на фарси ответила она, а затем те же слова произнесла на родном наречии своей матери — на чагатайском. За обменом этими фразами читалось совсем другое: *Ты теперь моя. — Да, твоя навсегда.*

После падения Тебриза Селим захотел было остаться в этой древней столице Сефевидов на зиму, чтобы по весне завершить завоевание остальной Персии, но Аргалья сказал, что войска могут взбунтоваться. Они выиграли решающий бой, они присоединили восточную часть Анатолии и Курдистан, тем самым почти удвоив территорию Османской империи. Нужно обозначить новую границу между двумя государствами по результатам сражения при Чалдыране, и на этом поставить точку. В любом случае в Тебризе им не продержаться — нет провианта ни для людей, ни для лошадей и верблюдов. Солдаты хотят домой. Селиму пришлось с этими доводами согласиться, и спустя семь дней после вступления в Тебриз он отдал приказ оставить город. Войска двинулись на запад.

Свергнутое божество перестает быть богом. Мужчина, бросивший свою женщину на милость врага, перестает быть мужчиной. Разбитый наголову Исмаил вернулся в разграбленную столицу и оставшиеся десять лет провел в пьянстве и унынии. Он носил черные одежды, черный тюрбан, и род Сефевидов тоже мало-помалу окутывал мрак. Никогда больше Исмаил ни с кем не сражался. Приступы черной меланхолии сменялись у него бесшабашными выходками, и эти внезапные переходы от печали к

разгулу явно свидетельствовали о его малодушии и отчаянии. Напившись допьяна, он метался по дворцовым покоем, словно в поисках той, которой там больше не было и никогда не будет. Он умер, не дожив до тридцати семи. Он царствовал двадцать три года, но успел утратить всё, что любил.

Когда, раздевая Аргалью, она увидела вытканые на всей его одежде тюльпаны, то поняла, что он, как и любой другой, всю жизнь имевший дело со смертью, суеверен и делает все возможное, чтобы ее отогнать. Когда же она обнаружила тюльпаны, вытатуированные у него на лопатках, ягодницах и даже на пестике пениса, то поняла, что встретила мужчину своей жизни.

— Тебе больше не нужны все эти цветы, — сказала она, водя рукою по его татуировкам, — теперь у тебя есть я.

«О да, — подумал он, — у меня есть ты. Ты моя. Пока моя. Пока не решишь оставить меня, как оставила сестру; пока не решишь, что пора сменить одного коня на другого, — ведь сменила же ты Исмаила на меня. В конце концов, лошадь всего лишь лошадь...»

Словно прочитав его мысли, Кара-Кёз хлопнула в ладоши, и в спальню тотчас же вошла Зеркальце. Повинуясь легкому движению бровей принцессы, рабыня сбросила с себя одежды и скользнула в постель.

— Она — мое Зеркальце, — произнесла Черноглазка. — Она — моя светящаяся тень. Тот, кто владеет мной, получает и ее.

И тут доблестный воин признал свое поражение. Внезапное нападение с тыла заставило его прекратить сопротивление.

Анджеликой назвал ее он. Чуждые ему сочетания горловых и свистящих ее прежнего имени он сменил на новое — благозвучное и вполне приемлемое для ее будущего окружения. Она, в свою очередь, наделила этим же именем и рабыню. «Если мне суждено зваться Анжеликой, то моему доброму ангелу Зеркальцу это пристало куда больше», — заявила принцесса.

В течение многих лет в качестве фаворита султана ему была предоставлена честь иметь собственные покои в так называемой Обители блаженства — на холме Топкапи, тогда как все прочие военачальники жили на казарменном положении в спартанских условиях. Теперь, с появлением женщин, в дворцовых апартаментах стало уютнее, и Аргалье иногда казалось, что он наконец-то обрел дом. Но для таких как он верить в

безопасность собственного жилища было непозволительной роскошью. Дом легко мог превратиться в западню. Селим Грозный, в отличие от своих предшественников Мехмеда и Баязида, считавших Аргалью незаменимым, видел в нем вполне реального и весьма сильного соперника в борьбе за власть, человека, способного прорваться со своими янычарами в святая святых дворца и расправиться с ним, как однажды тот уже расправился с великим визирем. Человек, поднявший руку на визиря, вполне способен и на цареубийство. Похоже, теперь вполне можно обойтись и без него... И сразу после возвращения в Стамбул Селим, на словах всячески превознося своего военачальника-итальянца за его вклад в победу при Чалдыране, начал готовить почву для его устранения.

Сведения относительно того, что его жизнь под угрозой, дошли до Аргальи благодаря тому, что Кара-Кёз взяла на себя заботу о снабжении своего возлюбленного цветами.

Обитель блаженства утопала в зелени: повсюду были разбиты либо обнесенные стенами, либо вольно раскинувшиеся сады или виднелись густые рощи, где резвились лани, а также обширные лужайки, спускавшиеся к Золотому Рогу.^[47]

Поля тюльпанов занимали большие площади вокруг Четвертого дворца, а также на нижних террасах северной оконечности возвышавшегося над городом дворцового комплекса Топкапи.

Среди тысяч благоухающих цветов тут и там виднелись беседки. Тишина и покой располагали к доверительным беседам, и Кара-Кёз со своей неизменной спутницей, опустив на лицо покрывало, частенько навещали сюда: пили сок, переговаривались с многочисленными дворцовыми садовниками-*бустанчи*, указывая, какие тюльпаны следует доставить в покои Аргальи, и просто болтали о том, о чем обычно болтают женщины без мужчин — о незначительных событиях текущего дня. Вскоре садовники — от самого мелкого, занимавшегося прополкой, до главного, именуемого *бустанчи-паша*, подпали под очарование двух пар прекрасных глаз, и, как это всегда случается с влюбленными, сделались не в меру болтливы. Многие из них выражали свое восхищение чрезвычайной быстротой, с которой чужестранки освоили турецкую речь, и видели в этом чуть ли не вмешательство высших сил.

Однако Черноглазка приручала садовников неспроста. Как и все в Обители блаженства, она тоже вскоре узнала, что на тысяча и одного *бустанчи*, кроме ухода за цветочками, возлагалась еще одна обязанность: они были исполнителями наказаний. Если вина касалась женщины, то именно *бустанчи* резали ее, еще живую, на куски, запихивали в мешок и

бросали в Босфор; если виновным оказывался мужчина, то группа садовников хватала его и совершала ритуал удушения. Именно от бустанчи Кара-Кёз узнавала обо всех таких случаях, которые те предпочитали называть «тюльпанными новостями». Этих случаев было столь много, что душок предательства вскоре заглушил аромат цветов. Именно от садовников до принцессы дошел слух, что очень скоро ее господин, верой и правдой служивший трем султанам, по ложному обвинению будет схвачен и предан смерти. Об этом ей сообщил сам бустанчи-паша. Этот человек занимал должность главного палача не только благодаря своим знаниям по части ботаники, но и потому, что был лучшим в империи бегуном. Дело в том, что когда смертный приговор выносили кому-нибудь из вельмож, ему предоставлялся шанс спастись. Он должен был опередить в беге бустанчи и не дать себя поймать. Если ему это удавалось, то обвинение с него снимали. Но, поскольку бустанчи, как утверждали, несся со скоростью ветра, шансов у обвиняемого практически не было никаких. Правда, на сей раз бустанчи не радовала перспектива расправы. «Мне стыдно будет смотреть в глаза людям после убийства такого доблестного воина», — признался он Черноглазке. «Значит, нам нужно во что бы то ни стало найти выход из этой ситуации», — ответила она.

— В садах ходят слухи, что он тебя скоро казнит, — сказала она Аргалье.

— За что, хотелось бы знать? — с недоумением спросил он.

И, взяв его бледное лицо в свои ладони, она ответила:

— За меня. В качестве военной добычи ты посмел взять себе принцессу из дома Великих Моголов. Он скажет, что, отдавая меня тебе, не знал, кто я такая, и узнал лишь теперь. Он скажет, что пленение особы царского рода есть недружественный акт; он будет утверждать, что, взяв меня, ты опозорил в глазах Моголов всю Османскую империю и должен за это понести наказание. Так говорят тюльпаны.

Будучи предупрежден, Аргалья успел подготовиться. К тому времени, когда за ним пришли, он под покровом ночи уже отослал из города Кара-Кёз и Зеркальце, а также многочисленные сундуки с сокровищами, накопленными в ходе выигранных сражений. Их сопровождала сотня самых преданных янычар с приказом ждать его в Бурсе, к югу от столицы.

— Если я поеду с вами, — сказал он, — Селим настигнет нас и перебьет как собак. Я предстану перед судом и после приговора попытаюсь выиграть у бустанчи-паши соревнование в беге.

Кара-Кёз знала, что он изберет именно этот путь.

— Ты решил умереть, и мне остается лишь одно — принять твое

решение.

Это означало, что спасти его жизнь придется ей, и сделать это будет нелегко, потому что она не сможет присутствовать при гонке.

Аргалья знал правила этой смертельной игры, и едва Селим Грозный произнес слова приговора, он бросился бежать. От тронного зала, где происходил суд, до Рыбных ворот было где-то около полумили. Аргалья должен был добраться до них раньше бустанчи.

В красной феске и белых штанах, обнаженный до пояса бустанчипаша и вправду несся как ветер. С каждой секундой он становился все ближе. Аргалья знал, что если его догонят, то тут же, у Рыбных ворот, придушат и он окончит свои дни как и все прочие — в водах Босфора. Он бежал мимо клумб с тюльпанами и уже видел перед собой Рыбные ворота, но бустанчи настигал его, и Аргалья понял, что ему не успеть. «Жизнь полна абсурда, — мелькнуло у него в голове, — выйти невредимым из стольких битв — и всё для того, чтобы тебя задушил какой-то садовник. Истинно говорят, что нет такого героя, которому в смертный час не открылась бы вся бессмысленность его героического поступка».

Никто так и не смог придумать более-менее удовлетворительного объяснения тому, что произошло в тот момент, когда быстроногий бустанчи находился всего в каких-то тридцати шагах от Аргальи. Неожиданно он упал как подкошенный, схватился за живот и со звуками, подобными пушечной пальбе, стал исторгать из себя невыносимо зловонные газы. При этом он жалобно пищал, как корень мандрагоры, когда его выдергивают из земли, а Аргалья тем временем благополучно миновал Рыбные ворота, вскочил на ожидавшего его там коня и ускакал прочь.

— Это ты что-то сделала? — спросил он свою возлюбленную, когда они встретились в Бурсе.

— Ну что такого я могла сделать? Этот бедный садовник был мне другом. Я всего лишь послала ему письмо, заранее благодаря за то, что он избавил меня от коварного соблазнителя, и кувшин анатолийского вина, — проговорила она, глядя на него правдивыми глазами. — Предугадать и рассчитать точно, когда именно начнет действовать подмешанное в вино снадобье, было невозможно.

И сколь пристально Аргалья ни вглядывался в ее безмятежное лицо, ему так и не удалось заметить ни малейших признаков неискренности — ничего, свидетельствующего о том, что она сама, или ее Зеркальце, или обе они вместе убедили бустанчи изменить своему долгу и указали заранее время, когда следует выпить вино в обмен на мгновения блаженства, о котором скромный садовник будет вспоминать всю оставшуюся жизнь.

«Нет, это полный абсурд, — решил Аргалья, утопая в колдовском омуте ее глаз. — Эти любящие глаза не способны лгать».

Между кампаниями адмирал генуэзского флота Андреа Дориа жил в пригороде Фассоло, у северо-западной оконечности гавани, как раз перед воротами Сан-Томмазо.

Он купил виллу у знатного генуэзца Джакобо Ломеллино, потому что ему нравилось представлять себя одним из облаченных в тогу, увенчанных венком древних римлян, селившихся в роскошных поместьях у моря, нравилось быть похожим на того венценосца, о котором писал Плиний Младший. [\[48\]](#)

Его устраивало и то, что он, находясь у себя дома, мог следить за тем, кто покидает город или прибывает сюда с моря. На случай необходимости активных действий галеры были всегда у него под рукой. Поэтому он первым заметил идущее от Родоса судно, на котором Аргалья возвращался на родину. В подзорную трубу он различил на палубе большое количество вооруженных людей, одетых как турецкие янычары. Среди них он заметил четырех альбиносов огромного роста. Андреа немедленно послал за лейтенантом Чевай и приказал перехватить судно до того, как оно войдет в гавань, и выяснить, с чем связано его появление. Так и получилось, что Чева неожиданно для себя оказался лицом к лицу с человеком, которого когда-то бросил на произвол судьбы во вражеских водах.

Мужчина, в котором Чева пока что не признал Аргалью, стоял у большой мачты. На нем был тюрбан со свободно развевающимся концом и одеяние из золотой парчи, какое носят турецкие вельможи. За его спиной выстроились в боевом порядке вооруженные янычары, а подле него стояли две женщины ослепительной красоты. Они словно вобрали в себя весь солнечный свет, погрузив во мрак окружающий мир. Их лица были открыты, и ветер играл длинными и вьющимися, как у богинь, прядями их роскошных волос. Когда Чева уверенно, как и подобало лейтенанту Золотой флотилии, шагнул на борт чужого судна, обе женщины повернулись лицом к нему — и меч сам собой выпал из его руки. Затем он почувствовал, будто что-то нежно, но настойчиво давит ему на плечи, причем у него не возникло ни малейшего желания противиться этому. Неожиданно для себя самого он и все его люди опустились на колени, а

губы его зашевелились, произнося непривычные слова: *Привет вам, о прекрасные господа, и да будут славны все, кто хранит вас от бед!*

— Поберегись, Скорпион, — произнес турецкий вельможа на чистом флорентийском наречии, и дальше Чева услышал свои собственные слова: — Потому как ежели кто-то не глядит мне прямо в глаза, то я вырываю у него печень и скармливаю ее рыбам.

Чева попытался подняться с колен и стал судорожно хвататься за меч, но обнаружил, что неизвестно почему ни он, ни его люди не в состоянии встать.

— Правда, в настоящий момент глаза у тебя как раз на уровне моего члена, — без улыбки закончил Аргалья.

Главный кондотьер Дориа, стоя на террасе, позировал живописцу Бронзино. Он желал предстать перед потомками в обличье Нептуна. В руке у него был трезубец, борода волнами спускалась на его обнаженный торс, остальные же части тела были представлены в их первоначальном состоянии. Вдруг, к своему величайшему неудовольствию, он заметил, что с пристани к нему поднимается группа вооруженных людей. Самое удивительное, что впереди всех с видом побитого пса шел его человек, Чева Скорпион. В центре этой группы он различил две закутанные в плащи женские фигуры, что привело его в еще большее изумление.

— Напрасно думаете, что я сдамся кучке негодяев и их шлюхам! — заревел он, одной рукой хватаясь за меч и размахивая трезубцем в другой. — Еще посмотрим, кому из вас удастся уйти отсюда живым!

В эту минуту чародейка Кара-Кёз и ее рабыня откинули капюшоны, и Дориа внезапно залился краской стыда.

Он попятился, судорожно ища штаны, но женщины не обратили ни малейшего внимания на его наготу, что показалось адмиралу еще более унижительным.

— Мальчик, которого вы обрекли на смерть, вернулся за своей долей, — произнесла Кара-Кёз. Она говорила на безукоризненном итальянском, хотя Дориа видел, что перед ним не итальянка. Перед ним была женщина, за которую не жалко жизнь отдать. Королева, достойная поклонения. Рабыня, похожая на нее как две капли воды и разве что самую малость уступавшая своей госпоже красотой и изяществом, тоже была восхитительна.

Думать о битве в присутствии этих двух удивительных созданий было немислимо. Почтенный Дориа, кое-как завернувшись в плащ, стоял перед ними, приоткрыв рот, — ни дать ни взять бог морей, обомлевший при виде выходящих из воды прелестных нимф.

— Он вернулся принцем, как и обещал себе когда-то, в ореоле славы и богатства. Он готов позабыть о мести, так что вы можете не опасаться за свою жизнь, — продолжала Кара-Кёз. — Однако за отказ от мести и за свою верную службу он ждет от вас награды.

— Какого рода?

— Ему нужна ваша дружба и поддержка, хороший обед и личное сопровождение.

— В каком направлении? Куда он собирается с этой шайкой головорезов?

— Дом моряку всего дороже, — вмешался турок Аргалья. — Дом всего дороже солдату. Я посмотрел мир, я сыт по горло пролитой кровью, я накопил богатства. Теперь я желаю одного — покоя.

— Вижу, ты так и не повзрослел, — отозвался Андреа. — Все еще думаешь, что после долгих странствий ты дома обретешь покой.

III

Можно было подумать, что все бедняки города возомнили себя кардиналами...

Можно было подумать, что все бедняки города возомнили себя кардиналами. Высшее духовенство еще заседало за закрытыми дверями Сикстинской капеллы, а флорентийцы уже всюю праздновали избрание нового Папы из семейства Медичи. Кругом жгли праздничные костры. Весь город заволокло дымом, как при большом пожаре, и путешественник, на закате дня приближающийся к городу со стороны моря, — наш путешественник — легко мог бы предположить нечто трагическое. Прищур глаз, бледность лица и длинные черные волосы придавали ему вид экзотический. Никто бы не признал в нем человека родом из этих мест. Скорее он напоминал самурая, — возможно, потомка того самого самурая сомнительной репутации с острова Кюсю, которому удалось разбить наголову войско тогдашнего правителя Китая, Хубилай-хана. У странника еще оставалось достаточно времени, чтобы придержать коня и, подняв руку властным жестом — жестом командующего, привыкшего к безусловному повиновению, — остановить остальных и принять решение. Аргалья этого не сделал, о чем не раз вспоминал в последующие месяцы.

Праздничные костры зажгли задолго до того, как было оглашено решение кардиналов, но предчувствие не обмануло флорентийцев. В ту ночь следующим Папой был избран кардинал Джованни де Медичи. Лев Десятый, как его теперь именовали, властвовал в Риме, а его брат, герцог Джулиано, получил в свое распоряжение Флоренцию. «Знал бы я, что эти псы Медичи снова возьмут верх, то лучше бы остался в Генуе, присоединился снова к Дориа и бороздил бы с ним вместе морские воды, пока все не встало бы на свои места, — признался Аргалья, когда они свиделись с Макиа. — Но если честно, мне хотелось показать ее всем нашим».

— Любовь делает мужчину дураком, — заметил Акбар. — Показать лицо возлюбленной всему миру — первый шаг к тому, чтобы ее потерять.

— Никто не приказывал Кара-Кёз ходить с открытым лицом, — ответил Могор. — Это было ее

собственное решение. Ее и Зеркальца.

Император промолчал. Место и время утратили для него всякое значение: наполовину он уже был влюблен.

На закате дня сорокачетырёхлетний Никколо Макиа сидел за столом таверны в Перкуссине. Он играл в карты. Его партнерами были мельник Фрозино Уно, мясник Габбурра и хозяин таверны Веттори. Все они привычно и беззлобно осыпали друг друга проклятиями, стараясь при этом не особо задевать хозяина, хотя тот сидел за тем же щербатым столом, пил такое же дешёвое вино и так же смачно ругался, обзывая их вошками, когда в помещение вломился известный сквернослов и бездельник — дровосек Гальоффо. С вытаращенными глазами, хватая ртом воздух и бессмысленно жестикулируя, он проговорил:

— Так меня и перетак, если вру! Четыре великана скачут сюда! И все при оружии!

Никколо, с картами в руках, поднялся из-за стола.

— Ну, друзья, считайте, я уже мертвец, — сказал он. — Видно, герцог Джулиано решил все-таки со мной разделаться. Спасибо вам за приятно проведенные здесь часы, это помогло мне прочистить заплесневевшие мозги, а теперь я вынужден вас покинуть, чтобы попрощаться с женой.

Гальоффо, согнувшись вдвое, все еще никак не мог отдышаться, но, держась за бока, выдавил из себя:

— Нет, господин. Оно, может, и не так. На них не нашенские одежды, господин. Это гребаные чужаки, господин. Может, из долбаной Лигурии, а может, откуда и подальше, чтоб им сдохнуть. И с ними женщины, господин, не нашенские женщины, ведьмы, не иначе, потому как разок глянешь, и тут же трясун на тебя нападет, до того их трахнуть охота. Чтоб мне провалиться на этом месте, я не вру, господин.

«Хорошие они, — подумал Макиа. — Но только таких немного. В основном все флорентийцы — предатели. Это они предали республику и позволили вернуться к власти Медичи». Это им служил он как убежденный республиканец, как главный секретарь Второй канцелярии, как дипломат, как создатель флорентийской милиции, а они предали его. После падения республики, после того как сместили гонфалоньера^[49] Пьера Содерини, Макиа тоже был уволен. Четырнадцать лет преданного служения показали,

что народ в грош не ставит верность. Люди — дураки, когда дело касается власти. Они допустили, чтобы его бросили в тюремные застенки, в пыточную камеру. Они доказали, что не заслуживают республики. Им нужен кулак, им нужен деспот. Быть может, они везде такие, за исключением, конечно, горстки деревенских простаков, с которыми он пил и играл в триктрак, да горстки друзей, таких, например, как Агостино Веспуччи. Хвала Господу, его не подвергли пыткам. Он слабый, под пытками он признался бы в чем угодно, и они все равно убили бы его, если бы он сам не скончался во время экзекуции. Но Аго был им не нужен, Аго был его подчиненным. Они жаждали его крови.

Они не стоили его уважения. Простые деревенские люди были достойными людьми, но в общей массе народ заслуживал своих кумиров, своих обожаемых тиранов — герцогов и принцев. Перенесенные муки излечили его от остатков веры в народ. Там, под землей, в безымянных застенках безымянные люди творили невысказанные вещи с телами других людей, и у этих тел тоже не было имен, потому что имя там не имело значения. Значение имела только боль — боль и признание вины, за которым следовала смерть. Те люди желали ему смерти, а может, им было просто все равно, выживет он или сдохнет. В городе, где было явлено всему миру торжество идей гуманизма — ценности личности и свободы человеческого духа, — оказались неспособны оценить его заслуги и показали всем, что в гробу они видали его свободу духа и неприкосновенность тела. Четырнадцать лет он прослужил им верой и правдой, но им было плевать на ценность ему одному принадлежавшей жизни, они попрали его священное право на жизнь. Они неспособны ни любить, ни судить справедливо и потому ничтожны. Для него народ перестал существовать. Чернь не стоит того, чтобы о ней петься, для черни важны и нужны лишь тираны. Любовь народа — чепуха, а следовательно, и испытывать к нему любовь — великая глупость. Любви нет, это фикция. Есть только Власть.

Власть выдавливала его из активной жизни постепенно. Сначала ему, который так любил путешествия, запретили выезжать за пределы Флоренции. Затем для него закрыли доступ туда, где он трудился четырнадцать лет, — в Палаццо Веккьо. Затем он подвергся допросу этой твари из тварей, этого лизоблюда Микелоцци, который занял его место. Его обвинили в растрате. Однако он всегда был безупречно честен, так что им ничего не удалось доказать. Наконец, его имя было обнаружено на клочке бумаги у человека, с которым он никогда не встречался. Человека звали Босколи, он был одним из четырех идиотов, планировавших заговор против

Медичи, но план был настолько глупым, что провалился еще до начала его осуществления. В карманах Босколи был найден список фамилий дюжины людей, которых, по его разумению, можно было считать врагами Медичи. Среди них значилась фамилия Макиавелли, и Никколо бросили в каземат.

Когда человека подвергают пыткам, есть определенные вещи, которые он будет помнить до конца дней своих: волглую темноту, стылую вонь человеческих тел, крыс, крики... Память человека, хоть раз перенесшего пытки, будет хранить боль. Экзекуция, именуемая *страппадо* — одна из самых мучительных, если только тебя не убивают прямо на месте. Ему связали руки за спиной и на веревке, закрепленной под потолком, стали подтягивать вверх. Когда ноги оторвались от земли, весь мир замкнулся на страшной боли в плечах. Боль заполонила всё; Флоренция, река, Италия, красота мира Божьего — все померкло, осталась лишь боль. Это был другой мир, мир боли. Незадолго до того, как он вообще перестал думать, и чтобы не думать о том, что вот-вот случится, Макиа стал думать о Новом Свете, о двоюродном брате Аго — приятеле Содерини, Америго Веспуччи. Авантюрист и бродяга, Америго вместе с Колумбом убедились и убедили других, что в Великом океане не водятся чудища, способные разгрызть корабль, что его воды не превращаются на экваторе в пламя, а на западных рубежах — в непроходимое болото. Но гораздо более важным было другое: в отличие от недоумка Колумба он догадался, что земля, обнаруженная на западе, не имела ничего общего с Индией, а являлась совсем новой страной.

Может, и Новый Свет перестанет существовать, отмененный очередным декретом Медичи. Ожидает ли и его судьба прочих, оказавшихся несостоятельными понятий, таких как любовь, свобода, пытливость ума, как республика — падшая по глупости Содерини и других дураков, включая и его самого? Морскому волку Америго повезло, он в Севилье, где его не достанут длинные руки Медичи. Америго стар и болен, но он хотя бы может спокойно умереть, избегнув пыток. В этот момент Макиа первый раз вздернули на дыбу, и Новый Свет, как, впрочем, и Старый, исчез из его мыслей.

Они сделали это шесть раз, но я так и не признался, потому что мне не в чем было признаваться.

После пыток его снова бросили в каземат и как бы позабыли о нем, оставив медленно умирать в удушливом мраке, но вдруг, непонятно почему, выпустили. Его выпустили в полное забвение, в никуда. И в семейную жизнь. Он снова оказался в Перкуссине, он бродил по лесам вместе с Аго Веспуччи в поисках мандрагоры, но детство осталось далеко позади. Там

же остались и разбитые вдребезги радужные надежды, которыми они тешили себя. Время веры в силу мандрагоры минуло безвозвратно. Чтобы завоевать благосклонность Фьорентины, Аго попытался однажды подмешать ей в вино порошок из корня мандрагоры, но Фьорентина перехитрила его. Мандрагора не оказала на нее ни малейшего действия, а за обман она изобрела для Аго изощренную месть. В ночь, когда Аго подмешал ей порошок, она, изменив своему правилу принимать ласки лишь самых знатных и богатых, впустила его в свою спальню, но через сорок пять минут он был изгнан из обители райского блаженства. При этом она напомнила Аго о проклятии мандрагоры: если под влиянием питья возлюбленная не останется с мужчиной на целую ночь, то в последующие восемь дней он непременно умрет. Суеверный, как большинство людей в мире, бедняга Аго провел восемь дней в ожидании скорого конца. Ему начало казаться, что смерть уже настигает его, он чувствовал ее цепкие холодные пальцы на своем сердце и мошонке...

Проснувшись на девятый день живым и невредимым, Аго не испытал ни малейшего облегчения. «Живому мертвецу хуже, чем просто мертвому, — сказал он Макиа, — потому что живой мертвец способен чувствовать боль оттого, что сердце его разбито».

Никколо и самому было понятно, каково это — быть живым мертвецом. Едва избежав смерти, он стал таким же мертвым при жизни, как и бедный Аго. Оба они были отлучены от любимой работы, выставлены из салонов вроде Дома Марса, где проводили свой досуг, отрезаны от всего, что составляло их существование. Они с Аго стали несчастными псами, которых хозяева вышвырнули за порог, но что еще хуже — он оброс семьей.

Каждый вечер он садился за ужин напротив жены и не знал, о чем с ней говорить. Да, его жену звали Мариетта, а вот и его дети — много, очень много детей, и все они действительно от него. Все они были рождены в другой жизни, когда он кичился своим положением, когда, как петух, трахал каждый день новую красотку, но и с этой, судя по количеству детей, переспал как минимум шесть раз. Она звалась Мариетта Корсини, она штопала его белье и полотенца и ни о чем не знала ровно ничего. Она не понимала его философии, она не находила смешными его шутки, хотя все считали его остроумным. Каждое слово она принимала за чистую монету, а всякие аллюзии и фигуры речи считала средством для обмана женщин — чтобы задурить им голову. В общем-то он ее любил. Относился к ней как к члену семьи, по-родственному, и когда спал с ней, чувствовал какую-то неловкость, будто делал нечто постыдное. По правде сказать, лишь это

ощущение недозволенности совершаемого еще как-то и подстегивало его желание.

Как любая жена, она знала, о чем он думает, и это делало ее несчастной. Он был неизменно вежлив с нею и по-своему был к ней привязан. К ней и к детям — шесть ртов, их нужно было как-то кормить. Она была чудовищно плодовита. Стоило до нее дотронуться — глядишь, она опять с пузом. Они выстреливали из нее один за другим: Бернардо, Гвидо, Бартоломея, Тотто, Примавера и этот, как его, Лодовико. Казалось, детям конца не будет, а деньги... С деньгами было совсем худо. Вот она, синьора Макиавелли. Врывается в таверну, будто у нее дом горит. На ней капор с оборочками, из-под которого в беспорядке выбиваются кудряшки, у нее округлое, как яйцо, личико и полные губы. Руки ее трепыхаются, как утиные крылья. Кстати, об утках: она даже двигается вперевалочку, словно утка. У его жены утиная походка. У него жена — утка. Он даже помыслить не мог, чтобы дотронуться до нее еще когда-нибудь. Нет, больше ни за что. Да и зачем?

— Никколо, дорогой! — закричала — да-да, закричала, как утка, — Мариетта. — Ты видишь, что там, на дороге?

— А что там, дитя мое? — терпеливо осведомился Макиа.

— Мы все в опасности! Похоже, сам дьявол со свитой скачет к нам на конях, а рядом с ним две демоницы!

Появление в Перкуссине женщины, которой предстояло приобрести, быть может, несколько сомнительную, но все-таки известность под именем Анджелика, прозванной Флорентийской Чародейкой, вызвало в округе настоящий переполох: чтобы поглазеть на это чудо, мужчины, оставив плуги, спешили с пашен; женщины выбегали из кухонь, на ходу вытирая липкие от теста руки о передники; неслись из леса дровосеки; бросив свои хрупкие изделия, бежали гончары, и сын мясника Габбурры мчался вместе с другими, забыв сполоснуть окровавленные руки. Из мельницы выскочил, весь в муке, брат-близнец партнера Макиа по картам Фрозино Дуе^[50]. Стамбульские янычары — жилистые, с лицами сплошь в шрамах — уже сами по себе являли невиданное зрелище в здешней глуши; к тому же были еще четыре великана-альбиноса на белых конях — такое не каждый день увидишь. Что же касается их главаря с мертвенно-бледным лицом и

черными как смоль волосами, которого синьора Макиавелли приняла за дьявола, то он и вправду внушал ужас. Дети разбежались при его приближении. Особенно пугало всех то, что, кто бы он ни был — сам дьявол или ангел смерти, — по его глазам было ясно, что он повидал на своем веку столько смертей, сколько ни одному человеку видеть не дано, и это не прошло бесследно, прежде всего для него самого, да и другим тоже не сулит ничего хорошего.

Страшнее всего было то, что этот человек казался всем странно знакомым. Мало того — он и говорил совершенно свободно на местном наречии. Людям невольно приходило в голову, что, возможно, Смерть всегда является, так сказать, в знакомом облике и, прежде чем забрать с собой, втирается к вам в доверие и даже по-соседски обменивается секретами и шутками.

Однако же главное внимание всех было сосредоточено на двух женщинах — «демоницах», как назвала их Мариетта Корсини. Они сидели на конях по-мужски, что вызвало оторопь как среди женской, так и мужской части зрителей, хотя и по разным причинам. Их лики излучали какой-то особый, ослепительный свет — словно в свой первоначальный период существования без привычного покрывала они с такой жадностью вбирали в себя чужие взгляды, что теперь их собственные глаза стали обладать некоей могущественной притягательной силой. Лица близнецов Фрозино приобрели мечтательное выражение — судя по всему, они уже вообразили, как в недалеком будущем сыграют двойную свадьбу. И все-таки, несмотря на будоражившие воображение мысли, братья заметили, что обе дамы не совсем одинаковы и, возможно, даже не родственницы.

— Первая — госпожа, а вторая — ее служанка, — шепнул брату обсыпанный мукой Фрозино номер два и, будучи в глубине души натурой поэтической, добавил: — Они — словно солнце и луна, словно звук и его эхо, словно небо и его отражение в воде.

На что более прозаически настроенный Фрозино Уно — номер один — отвечал:

— Значит, так: я беру первую, а ты — вторую. Вторая тоже хороша, и ты не прогадаешь, но когда смотришь на первую, то вторую в упор не видишь. Чтобы разглядеть, что твоя тоже ничего, надобно тебе один глаз прищурить, тогда моя не будет тебя сбивать с толку.

Будучи на одиннадцать минут старше, Фрозино номер один справедливо полагал, что право выбора за ним. Фрозино-младший уже собирался возразить, но в этот момент та, которая госпожа, обернулась и, глядя в упор на обоих братьев, заговорила со своей спутницей на

итальянском:

— Ну что скажешь, моя Анджелика?

— Скажу, что они по-своему очень милы.

— Но ты же знаешь, нам нельзя.

— Разумеется, Анджелика, дорогая. Почему бы нам не прийти к ним во сне?

— Обе навестим каждого, не правда ли?

— Правда, моя Анджелика, так будет интересней.

Значит, они все-таки ангелы, а не демоницы! Ангелы, умеющие читать мысли простых смертных! Не иначе как у них и крылышки под плащами сложены! Братья Фрозино залились краской и стали смущенно озираться, но, похоже, никто, кроме них, не слышал, о чем говорили ангелы. Это было невероятно и лишний раз доказывало, что случилось чудо. Или наваждение. Ангелы они, и никто другой. Одно имя у них на двоих — Анджелика. Подобным именем ни один демон не посмеет себя назвать. Они обещали посетить их во сне, обещали блаженство, о котором можно только мечтать. Громко смеясь, оба брата вдруг понеслись наперегонки к мельнице.

— Эй, куда это вы? — крикнул им вдогонку мясник Габбурра, но ответа не последовало. Как они могли сказать, что им требуется немедленно прилечь и закрыть глаза? Как объяснить, почему им сейчас нужно заснуть — нужно как никогда в жизни?!

Процессия остановилась возле таверны. Наступившее молчание нарушалось лишь ржанием усталых лошадей. Глаза Макиа, как и прочих, были прикованы к женщинам, поэтому, когда бледный всадник заговорил голосом его бывшего друга, ему показалось, что из обители самой Красоты его бросили в помойку.

— Что с тобой, Никколо? — услышал он. — Разве ты не знаешь, что забыть друга все равно что забыть самого себя?

Мариетта в страхе уцепилась за рукав мужа.

— Если Смерть тебе друг, — зашипела она ему в ухо, — то твоим детям суждено осиротеть еще до захода солнца.

Макиа встряхнулся, как человек, пытающийся прийти в себя после похмелья. Затем поднял голову и взглянул всаднику прямо в глаза. Его взгляд был холоден, а голос тверд, когда он тихо сказал:

— Жили-были когда-то три друга: Макиа, Агостино Веспуччи и Антонино Аргалья. Эти дети жили в мире сказки. Затем родителей Нино забрала чума, он отправился на поиски счастья, и мы его больше не видели.

Мариетта переводила взгляд с одного на другого и мало-помалу,

кажется, начала догадываться, в чем дело.

— И вот после многих лет предательского служения врагам своей родной страны и Спасителя, за что душа его обречена попасть в ад, а тело — на виселицу, паша Аргалья, или как его еще там — Аркалия, аль-Гхалия, — возвращается в страну, которая перестала быть его родиной.

Макиа, строго говоря, не был человеком глубоко религиозным, но считал себя христианином. Он не ходил к мессе, но все прочие религии для него не существовали. Он считал, что Папы несут ответственность за постоянные междоусобицы, многих епископов и кардиналов называл преступниками, однако его воззрения на природу мироздания были более близки именно Папам и кардиналам, а не принцам, герцогам и прочим светским правителям. Здесь, в таверне, он мог обвинять в коррупции Римскую курию, винить ее в том, что итальянцы отдаляются от веры, но еретиком он себя никак не мог бы назвать. Он признавал, что у мусульман есть чему поучиться и есть за что их уважать, но сама мысль, что можно переметнуться на их сторону, внушала ему отвращение.

К тому же он не мог вычеркнуть из памяти «дворец воспоминаний» — прелестную Анджелику Кёр из Бурже, бедную, добрую девушку, которая, после того, что сотворили с ее душой и телом, выбросилась из окна. По вполне понятной причине он не смог упомянуть о ней в присутствии своей половины — женщины чрезвычайно ревливой, хотя в том, что она такая, была доля и его вины. Несмотря на солидный возраст, он был влюблен как юноша, но не в законную свою супругу, а в девицу Барберу Раффакани Салутати. У нее был чудесный контральто, она так сладко пела, столь многое умела — и не только на сцене. Барбера, ах эта Барбера! Да, уже не такая юная, как прежде, но намного моложе его самого, готовая, несмотря ни на что, дарить любовь и цвет молодости сидящему мужчине... Ох, нет, чем думать об этом, уж лучше сосредоточиться на проблемах абстрактных — вроде того, что есть богоотступничество и измена.

— Ну же, господин паша, извольте объяснить, что привело язычника к нам, христианам? — сурово сдвинув крылья густых бровей, спросил он.

— Я прошу об услуге, — ответил Аргалья. — И не для себя самого.

Более часа друзья детства провели за закрытыми дверями в заваленном книгами и всякого рода документами кабинете Макиа. Небо

уже потемнело. Многие из собравшихся возле дома разошлись по своим делам, но народ еще толпился. Всадники-янычары застыли в неподвижности. Недвижны оставались и обе женщины. Правда, они всё же испили воды, которую им вынесла служанка. Мужчины вышли из дома, когда уже сгустились сумерки, и стало ясно, что они достигли некоего соглашения. По знаку Аргальи янычары спешили, а дамам помог слезть с лошадей он сам. Солдатам было приказано разбить лагерь: часть из них расположилась на небольшом поле возле леса, другие — в поместьях Фонталла, Поджо и Монте-Пальяно. Четырех швейцарцев оставили для личной охраны обитателей виллы «Страда». Было решено, что, отдохнув и подкрепившись, они продолжат свой путь, оставив в «Страде» самое дорогое — женщин.

Никколо сообщил супруге, что чужестранки — могольская принцесса и ее служанка — будут жить у них. Мариетта восприняла эту новость как смертный приговор: ее собирались принести в жертву ненасытному сластолюбию мужа! Подумать только — она будет вынуждена терпеть под своей крышей двух самых прекрасных, самых обольстительных женщин, которые когда-либо появлялись в Перкуссине! Это значило, что для мужа она вообще перестанет существовать. Он будет пялиться только на них. Она превратится в жену-невидимку. Все останется как всегда — и еда на столе, и чистое белье, и порядок в доме, но ее супруг не будет даже замечать ту, которая все это делает, он потонет в бездонных очах этих дьяволиц. Желание захлестнет его, и он позабудет, что она вообще есть на свете. Детей придется временно переселить в другое место, скорее всего в их дом на Римской дороге, возле восьми каналов, а это значит, что ей придется разрываться между двумя хозяйствами. Нет, это невозможно, решительно невозможно!

Она стала бранить его, тут же, при всем честном народе, в присутствии четырех альбиносов, в присутствии всадника Смерти, оказавшегося Аргальей, вернувшимся с того света, но Макиа властно вскинул руку и на миг стал снова тем вельможей, каким она его знала прежде. Мариетта поняла, что спорить бессмысленно, и умолкла.

— Ладно, — лишь проговорила она. — У нас, конечно, не царские хоромы, так что пусть не жалуются, — чем богаты, тем и рады.

Одиннадцать лет жизни с ветреником-супругом порядком истрепали нервы синьоры Мариетты, а теперь он еще имеет наглость упрекать ее за сварливый нрав, оправдывая этим свои визиты к потаскушке Барбере! Ясно, чего добивается эта верещалка Салутати: она собирается пережить ее, Мариетту, и занять место хозяйки на вилле, в доме, где Корсини

произвела на свет шестерых детей! «Ничего, — думала Мариетта, — я проживу до ста семи лет и еще буду плясать голая под луной на ее жалкой могиле!» Ее пугала собственная бешеная злоба, но она ничего не могла с собой поделать. Да, она была бы рада, если бы та, другая, умерла. Возможно, она даже готова к тому, чтобы помочь ей умереть. Наверное, придется ее убить, потому что Мариетта мало что понимала в ворожбе и все ее попытки в этом направлении кончались неудачей. Однажды, перед тем как лечь с мужем, она, чтобы возбудить его, натерлась с ног до головы освященным маслом. Этот бальзам должен был привязать к ней мужа навсегда, но тот на следующий же вечер пошагал, как всегда, к Барбере, хотя жена и кричала ему вслед, что раз на него не действует даже освященное масло, то он потаскун и безбожник.

Он не слышал ее проклятий, зато слышали дети. Их глаза видели всё, их уши ловили каждый шорох, их шепот был для нее шепотом совести. Они представлялись ей добрыми духами дома, только этих духов приходилось кормить, штопать им одежду, класть компрессы на их горячие лбы во время болезни — так что они были вполне реальны. И все же главной реальностью теперь стали для нее ревность и гнев. Они оттеснили заботу о детях на второй план. Дети... Их глаза, их теплое сонное дыхание... Нет, не они, а этот мужчина владел целиком ее мыслями. Этот мужчина, ее законный супруг, сластолюбец, красавец и книгочей; неудачник и изгой, который до сей поры так и не усвоил, что следует больше всего ценить в этой жизни. Даже пытки не научили его тому, что такие простые вещи, как любовь и дом, и есть самое дорогое. У него на глазах рухнуло все, чему он служил, а он так и не понял, что лучше посвятить себя заботам о близких и дорогих тебе людях, чем о человечестве вообще. У него любящая жена, преданная и заботливая, а он волочится за молодой потаскушкой; он, с его образованностью и самолюбием, с небольшим, но вполне сносным доходом, каждый день шлет унижающие достоинство письма в канцелярию Медичи, в просительном тоне умоляя дать ему хоть какой-нибудь пост. Это были истерические послания, недостойные не терпящего лицемерия человека с критическим складом ума.

Он предал все, чем ему следовало дорожить: тихую, патриархальную жизнь, родной очаг, вскормившую его землю, с ее домами, лесами и полями, и скромную богиню его уголка на этой земле — собственную жену.

Спокойная жизнь, простые вещи: предрассветные крики дроздов, тяжелые гроздья винограда, домашний скот, ферма... Здесь у него было

время для чтения, для сочинений — с его-то умом, более глубоким, чем у любого принца крови. Ум — его самое большое богатство, тут он по-прежнему мог считаться великим, однако ее супруг не нашел ничего лучше, чем искать спасения от жгучего разочарования и отвращения к хозяйственным делам меж ног женщины, то есть в данном случае угнездиться в этой певчей сучке, Барбере. Когда представляли где-нибудь поблизости его пьесу про корень мандрагоры, он настаивал, чтобы для развлечения публики в перерывах приглашали Барберу. Как только у людей уши не заболели от ее визга! Другая верная жена уже давно подсыпала бы яду в вино такому мужу. И как это Господь допускает, чтобы стервы, подобные Барбере, жили припеваючи, в то время как добропорядочные женщины мучаются и стареют до времени!

«Что ж, — заключила свои невеселые размышления Мариетта, — быть может, теперь у меня с этой мычащей коровой появилась общая цель. Может, нам следует встретиться и обсудить, что предпринять по поводу двух ведьм, которые явились, чтобы разрушить нашу счастливую, тихую жизнь».

Макиа стоял в своем кабинете лицом к лицу с другом детства. Он сам не знал, сумеет ли справиться с переполнявшим его возмущением или им так и суждено теперь оставаться врагами до конца дней. Обычно по вечерам он уединялся здесь для общения с великими усопшими. И сейчас он мысленно обратился к ним за советом.

С большинством из них он был на короткой ноге. Среди них были герои и злодеи, философы и полководцы. Когда он оставался один, они обступали его со всех сторон: они спорили, объясняли, оправдывались, а иногда просто брали его с собою в очередной исторический поход. Так он встретился с предводителем спартанцев, защищавшим Спарту, а вместе с нею и всю Грецию от Рима; так был свидетелем восхождения к вершинам власти простого сицилийского гончара Агафокла, ставшего правителем Сиракуз с помощью одной лишь наглости; так проскакал бок о бок с Александром Македонским во время его кампании против Дария. В моменты подобного общения он ощущал себя зрителем, перед которым раздвигается занавес и панорама мира предстает в более полном объеме. Свет прошлого, если его направить под верным углом, способен осветить

настоящее лучше самой современной лампы. Величие — это тот же олимпийский огонь, который передают друг другу из рук в руки самые достойные. Александр Великий равнялся на Ахиллеса, Цезарь — на Александра... Такого же рода и огонь понимания сути вещей. Знание — не врожденное свойство ума, а полученное от кого-то и рожденное заново. Что есть мудрость? Передача знаний от одной эпохи к эпохе, следующей за нею. Бесконечная цепь перерождений знания приводит к мудрости. Все иные пути — дикость, варварство.

Однако же варвары были повсюду, и им сопутствовал успех. Нынче, в эру непрерывных войн, кто только не топтал Италию! Швейцарцы, французы, испанцы, немцы... Сначала сюда заявили французы и развернули здесь войну с Папой, с венецианцами, с испанцами и немцами. Затем вдруг оказалось, что французы, уже в союзе с Папой, венецианцами и Флоренцией, воюют против миланцев. Дальше — больше. Папа, французы, испанцы и немцы воюют с Венецией, а потом Папа, Венеция и Испания с Германией бросаются на Францию, а швейцарцы сначала на ломбардцев, а после на французов. Карусель, да и только! Войны одна за другой, словно танец с переменной партнершей или игра «Едем в Иерусалим», где вся фишка в том, чтобы, меняясь стульями, не остаться без места. И за весь этот период в самой Италии так и не оказалось армии, способной защитить свои границы от вторжения чужаков.

В конце концов именно эта мысль заставила Макиа пойти на мировую. «Чтобы освободить Италию от варваров, возможно, и ей стоит занять своего собственного варвара, — подумалось ему. — Как знать, может быть, Аргалья, проживший среди них полжизни, ставший свирепым, как они, и похожий на воплощение Смерти, как раз и явится тем самым избавителем, в котором так нуждается Италия?» Его взгляд задержался на тюльпанах, вытканых на одеянии Аргальи, и он услышал знакомый голос Великого Мертвеца, одобрительно прошептавший у него над ухом: «Смерть в тюльпанах. Не исключено, что этот флорентийский турок станет для города счастливым цветком».

Макиа неторопливо протянул руку для рукопожатия.

— Если тебе удастся возродить Италию, — произнес он, — то, возможно, твое долгое странствие было предначертано свыше.

Аргалья отверг это отдававшее религиозным душком определение своей роли, и Макиа с готовностью с ним согласился:

— Ты прав, тебе не пристало называться избавителем, — сказал он. — «Сукин сын» тебе подходит куда больше.

Андреа Дориа в конце концов удалось убедить Аргалью, что

возвращаться домой ради того, чтобы остаток жизни просидеть на лавке с набитым пузом, не имеет смысла. «На что ты рассчитываешь? — спросил старый кондотьер. — На то, что герцог Джулиано скажет тебе нечто вроде: *Добро пожаловать на родину, вооруженный до зубов достопочтенный синьор янычар, пират, предатель и убийца христиан! Привет тебе, привет твоей доблестной сотне и четырем швейцарцам. Я искренне верю твоим словам о том, что ты пришел с миром, и, очевидно, все эти господа отныне будут прилежно трудиться в качестве слуг и садовников.* В такую добрую сказочку только дитя малое может поверить. Спустя пять минут после твоего появления с вооруженными людьми вся милиция Флоренции будет брошена на охоту за твоей головой, так что можешь считать, ты уже мертвец, если только...» — «Если только что?» — сдержанно спросил Аргалья. — «Если только я лично не посоветую Джулиано назначить тебя командующим его вооруженных сил. Такой человек ему нужен позарез. Вообще-то у тебя выбор невелик, — добавил старый адмирал. — Таким, как мы, пенсион не светит».

— Герцогу я не доверяю, — обратился к Макиа Аргалья. — Честно говоря, не вполне уверен и в адмирале. Он всегда был мерзавцем, и нет оснований полагать, что с возрастом стал лучше. Дориа мог уже предупредить Джулиано о моем появлении и порекомендовать расправиться со мной сразу, на месте. Старый пройдоха на такое способен. Хотя возможно, что он решил проявить благородство и в память о прежних днях действительно оказать мне услугу. Не хочу брать женщин в город, пока не пойму, как там дела.

— Я тебе скажу, как там дела, — с горечью произнес Макиа. — В городе всем заправляет Медичи, Папа — тоже Медичи, хотя он уж точно само воплощение дьявола. Из-за него я торчу здесь и едва свожу концы с концами, торгуя скотом и птицей, обрабатывая жалкий клочок земли и продавая лес. Твой друг Аго тоже на мели. Такова награда за то, что жизнь свою мы положили на алтарь отечества. И вот теперь являешься ты, построивший свою карьеру на отступничестве и предательстве. Герцог посмотрит тебе в глаза и увидит в них то, что видит всякий, — способность и готовность убивать, — и отдаст под твою команду войско, которое мне удалось создать с таким великим трудом, создать, доказывая скупердьям-согражданам, что стоит расстаться с толикой денег для того, чтобы у города была постоянная армия. Я их обучал, я командовал ими во время долгой осады Пизы — нашего законного владения. И вот эти мои войска станут тебе наградой за разбойничьи подвиги, за разгульную, греховную жизнь! Как ты полагаешь, легко ли при таком положении дел сохранять веру в то,

что добродетель всегда вознаграждается, а порок неизменно терпит поражение, а?

— Пригляди за моими женщинами, сухо сказал Аргалья, — а я, если повезет, посмотрю, что можно будет сделать для тебя и для малыша Аго.

— Превосходно! Получается, это *ты* оказываешь мне услугу!

С Аго Веспуччи жизнь тоже обошлась неласково. Он переменялся: мало смеялся, не сквернословил и выглядел унылым. В отличие от Макиа его не заставили покинуть город. Он занялся торговлей шелком, вином и шерстью, то есть посвятил себя тому, что всегда внушало ему отвращение, но частенько наезжал в Перкуссину: бродил один по лесу, а к вечеру отправлялся в таверну и присоединялся к Макиа. Они пили вино, играли в триктрак. Его золотистые кудри рано поседелели, да и поредели тоже, так что он выглядел старше своих лет. Он не женился, но в «веселые дома» захаживал нечасто и уже без прежнего азарта. Отставка лишила его всяческих амбиций, а унижение, которому его подвергла Фьорентина, напрочь отбило охоту к любовным утехам. Одевался он небрежно и даже стал скуповат, хотя особой необходимости в этом не было: в клане Веспуччи денег с лихвой хватало на всех. В день отъезда Макиа в Перкуссину Аго устроил пирушку, а в конце представил каждому гостю счет в четырнадцать сольди. У Макиа при себе таких денег не оказалось, он вручил другу только одиннадцать, и теперь Аго с завидной частотой напоминал приятелю о долге. Макиа не держал на него зла. Он считал, что потеря положения в обществе оказалась для Аго более тяжелым ударом, чем для него, да и отвергнутая любовь иногда приводит к совершенно неожиданным переменам в характере человека. Аго никогда не тянуло путешествовать, широкий круг общения заменял ему весь мир, и если Макиа лишился города, то бедняга Аго оказался отрезанным от мира. Иногда он даже заговаривал о том, чтобы уехать к Америго, в Испанию, пересечь Великий океан. Правда, в его рассуждениях на эту тему недоставало подлинного энтузиазма, он говорил об этом так, как говорят об уходе из жизни. Известие о смерти Америго повергло его в еще большее уныние. Казалось, он вполне серьезно готовит себя к тому, чтобы окончить дни где-нибудь под чужим небом.

Влюбленная парочка их прежних собутыльников — Бьяджо

Буонаккорси и Андреа ди Ромоло — разорвала отношения между собой; с Аго и Макиа они тоже поссорились. Веспуччи и Макиавелли продолжали оставаться друзьями несмотря ни на что, и случилось так, что на заре следующего дня Аго подъехал верхом к вилле Макиа с намерением отправиться на ловлю дроздов и чуть не умер от страха, когда перед ним из тумана вынырнули четыре устрашающего вида гиганта и захотели узнать, зачем он пожаловал. Правда, когда на пороге появился сам хозяин в длинном плаще и объяснил, что это его друг, великаны вмиг присмирели. На самом деле — и Аргалье это было хорошо известно — его великаны так же любили сплетничать, как женщины на рынке, и пока все дожидались Макиа, который вернулся в кухню, чтобы обмазать птичьим клеем веточки бересклета и расположить их в маленьких клетках-ловушках, Отто, Ботто, Клотто и Д'Артаньян снабдили Аго столь полной и яркой информацией, что он впервые за долгое время ощутил прилив сексуальной энергии. Судя по их рассказам, незнакомки действительно являли собой нечто исключительное. Тут как раз появился Никколо, нагруженный множеством птичьих клеток, что делало его похожим на бродячего торговца, и друзья отправились в лес. Туман понемногу рассеивался.

— Скоро перелет дроздов завершится, и у нас даже этого развлечения не будет, — сказал Макиа, однако Аго заметил, что глаза у него блестят почти как в старые времена.

— Похоже, девочки-то и вправду хороши, а? — спросил он.

— Представляешь, — с усмешкой отозвался Макиа, — как ни странно, при них даже жена перестала ко мне цепляться.

С того момента, как принцесса Кара-Кёз и Зеркальце переступили порог дома Мариетты, с ней начало твориться что-то странное. С их появлением вокруг стал быстро распространяться какой-то горьковато-сладкий аромат. Им мгновенно пропитался весь дом, до самой крыши. Мариетта вдохнула в себя этот густой запах, и ей пришло в голову, что жизнь совсем не так уж плоха, как ей почему-то представлялось, и что муж на самом-то деле к ней очень даже привязан, а дети — сущие ангелы. Что касается гостей, то, право же, ей следует гордиться: ведь это честь — принимать у себя столь важных персон. Аргалью, который учтиво попросил позволения отдохнуть у них до утра, она устроила в кабинете Макиа; принцессу провела в комнату для гостей и робко осведомилась, желает ли она, чтобы ее личная горничная была размещена отдельно, в одной из детских спален. В ответ Кара-Кёз коснулась нежным пальчиком губ Мариетты и тихо прошептала: «Здесь вполне хватит места для нас обеих». Мариетта отправилась спать в состоянии странного блаженства, и

когда муж улегся рядом, она сообщила ему о желании женщин провести ночь в одной постели абсолютно спокойно, как будто не видела в этом ничего предосудительного. «К чему ты мне о них рассказываешь? — отозвался супруг, и у Мариетты сердце подпрыгнуло от счастья. — Зачем мне еще кто-то, когда рядом есть ты?» Воздух в спальне был напоен незнакомым густым, горьковато-сладким ароматом.

А за закрытыми дверями другой спальни Кара-Кёз неожиданно захлестнула волна дикого страха. Временами на нее находило такое, и каждый раз это состояние заставляло ее врасплох. Ее жизнь состояла из цепочки волевых решений, но иногда она не выдерживала и впадала в отчаяние. Она построила свою судьбу на любви к ней мужчин, на уверенности, что способна внушить любовь к себе каждому, стоит ей лишь этого захотеть, но когда для нее самой наступал момент истины, когда ее сердце содрогалось от боли и одиночества, любовь мужчины оказывалась бессильной. Она знала: придет время, и ей придется делать выбор между любовью и самосохранением, а когда этот роковой момент наступит, не следует делать выбор в пользу любви, ибо это будет стоить ей жизни, а жизнь — самое важное, что есть на свете.

Все это были последствия того, самого первого, ее решения — уйти из родного для нее мира. В день, когда она отказалась возвращаться с Ханзадой в семью, она поняла не только то, что женщина в состоянии сама выбрать себе дорогу в жизни, но и нечто другое: этот выбор будет иметь непоправимые последствия. Кара-Кёз свой выбор сделала и ни о чем не жалела, но иногда ее охватывал животный страх. Он гнул ее к земле, трепал и терзал ее, словно деревце в бурю, но Зеркальце была рядом. Она легла возле Кара-Кёз и обняла за плечи, крепко, как делают обычно только мужчины. Кара-Кёз научилась строить свою жизнь через власть над сильным полом, но понимала, что подобный способ влечет за собой невозполнимые потери. Она отшлифовала свое искусство очаровывать, освоила множество языков, жила, окруженная роскошью и почитанием, но лишилась семьи и рода, лишилась тех утешений и поддержки, которые доступны любому, существующему в пределах своего врожденного окружения, в сфере своего родного языка. Благодаря одной лишь силе воли она словно парила высоко над землей, но постоянно боялась, что силы вот-вот кончатся и она камнем полетит вниз.

Она собирала по крупицам и бережно хранила обрывки новостей о семье, она пыталась выжать из них максимум возможной информации. Шах Исмаил был другом ее брата Бабура, и у турок были свои пути получения сведений со всего мира, поэтому она знала, что брат жив, что

Ханзаду семья приняла с почетом и что у Бабура родился наследник — Назируддин Хумаюн. Обо всем прочем Черноглазка могла лишь строить предположения. Их родовое гнездо — Фергана была потеряна, скорее всего навсегда. Бабур остановил свой выбор на Самарканде, но, несмотря на поражение и смерть своего врага Древоточца — Шейбани-хана, — и в этом славном городе он не смог удержаться. Так что и Бабур, и Ханзада, и все семейство утратили дом; во всем мире не осталось ни одного клочка земли, который они могли бы назвать своим. Что ж, быть может, таковая судьба Моголов — скитаться, грабить, зависеть от воли других и в конце концов затеряться... В какой-то момент эта мысль повергла ее в полное отчаяние, но она справилась с ним. Нет, они не жертвы истории, они ее творцы. Ее брат, и сын его, и внук — они создадут империю, они еще прославят себя в веках. Волнение, страстное желание помогли ей увидеть это воочию. И сама она добьется того же — создаст свое собственное царство, чего бы ей это ни стоило, — она рождена, чтобы властвовать. Она из рода Моголов и не уступит в упорстве ни одному мужчине. У нее достаточно силы воли, чтобы добиться успеха. Про себя она тихонько произнесла стихи Алишера Навои, произнесла их на *чагатае*, на своем родном языке — единственном звене, соединяющем ее с прежним миром. Она сменила облик, но сущность ее всегда будет служить ей и мечом, и щитом. Навои, Стенающий, как его называли, поэт, который однажды, далеко отсюда, спел для нее: *Qara k'osum, kelu mardumlug' emdi fan gilg'il* — «О приди и утешь меня, черноокая». Да, настанет день, когда ее брат создаст свою империю, и она придет к нему в ореоле славы. А если не она, то ее дети. Кровные связи нельзя разорвать. Она слепила себя заново, но врожденная суть ее никуда не делась, это ее наследие, которое она оставит своим детям.

Дверь открылась, и вошел он, ее принц Тюльпан. Дождался, пока все уснут, и пришел к ней. К ним обеим. Мрак не рассеялся, но отодвинулся в сторону, уступив ему место рядом с нею. Почувствовав, что тело госпожи под ее руками расслабилось, рабыня и подруга принялась раздевать Аргалью. Утром ему нужно будет уехать в город, сказал он, но скоро все устроится. Черноглазку его спокойный тон не обманул. Она понимала: либо действительно все устроится как нельзя лучше, либо нужно быть готовой к самому худшему. Завтра к этому времени Аргалья может быть уже мертв, и тогда ей опять придется делать выбор. А пока он жив, он рядом. Зеркальце, приготавливая его для нее, растирала его ароматическими маслами, и в лунном свете Черноглазка видела, как расцветает под ласковыми прикосновениями его тело. Его нежные, изящные руки, его длинные черные волосы, его пальцы, тонкие, как у женщины... Она закрыла глаза и

уже не различала, чьи руки ее ласкают, — он умел любить как женщина, а у Зеркальца, при всем ее женском обаянии, тело было мускулистое, как у мужчины. Его же Кара-Кёз любила как раз за грацию и плавность движений. Мрак исчез, и луна щедро проливала свой свет на три двигавшиеся тела. Сегодня важно лишь одно — любить. Завтра важным может оказаться нечто совсем иное. Но это будет завтра. «Моя Анджелика», — произнес он. — «Я здесь», — ответили ему два голоса в унисон. Смех, стоны, вскрик, и снова тихие смешки...

Она проснулась до рассвета. Аргалья крепко спал сном человека, которому предстоял трудный день, требующий от него напряжения всех сил. Спала и ее Анджелика. Склоняясь над ней, Кара-Кёз тихонько прошептала: «Моя Анджелика». «Любовь женская прочнее, чем то, что связывает женщину и мужчину», — подумалось ей. Она легко коснулась длинных спутанных волос обоих. Возле дома она уловила какое-то движение. Гость. Он стоял в окружении четырех великанов. К ним вышел хозяин дома и стал объясняться с прибывшим. Она понимала, кто такой Никколо, — великий человек, потерпевший поражение. Возможно, ему и удастся возвыситься снова, но там, где поселилось поражение, ей не место. В Никколо легко угадывалось и величие ума, и благородство духа, но этот человек уже проиграл свой решающий бой и был ей не нужен, а потому и неинтересен. Все надежды она теперь сосредоточила на Аргалье, и если он сумеет их оправдать, то с ним вознесется и она. Если же ей суждено его потерять, она оплачет его, она будет безутешна, а затем сделает новый рывок. Она найдет свой путь, что бы ни принес сегодняшний день. Скоро, очень скоро ее пристанью после долгих странствий станет дворец. Ее место — во дворце, рядом с тем, кто им владеет.

Птички впархивали в клетки и прилипали к веточкам, после чего Аго с Никколо скручивали им их тоненькие шейки. Сегодня их ожидало роскошное жаркое из певчих птиц. Жизнь еще дарила им свои маленькие радости — во всяком случае до конца миграции дроздов. С двумя мешками тушек они возвратились в «Страду», где их поджидала сияющая Мариетта и густое красное вино. Аргалья в сопровождении янычар уже уехал, оставив для охраны дюжину воинов под началом серба Константина, так что Аго не довелось повстречаться со скитальцем, и на миг он испытал острое разочарование. Никколо весьма красочно описал разительную перемену во внешности и характере их друга, его чрезвычайную женственность, сочетающуюся с выражением свирепости, что делало его похожим на воплощение Смерти. В деревне его уже успели прозвать Турком Аргальей — именно так он провидчески назвал себя сам, когда

мальчишкой отправился за удачей в дальние края. Аго не терпелось увидеть это диковинное превращение воочию. Одно то, что Аргалья вернулся в сопровождении четырех великанов-швейцарцев, которых он тогда же, давным-давно, себе и придумал, уже казалось Аго достаточно поразительным и невероятным.

До него донеслись чьи-то легкие шаги. Аго Веспуччи поднял голову и начисто забыл про Аргалью. Он тут же сказал себе, что до этого момента не встречал женщин подобной красоты, что по сравнению с ними Симонетта Веспуччи и Алессандра Фьорентина просто дурнушки. Женщины, спускавшиеся по лестнице, являли собою идеал красоты, более того: они были так хороши, что один их вид менял само понятие прекрасного, низводя прежнее представление до уровня рядовой привлекательности. От горьковатого аромата, сопровождавшего их появление, у Аго сладко зашлось сердце. Первая из женщин была чуть прелестнее второй, но если прижмурить один глаз, то и та, другая, казалась прекрасней всех на свете. К чему зажмуриваться? Незачем мешать себе видеть исключительное лишь для того, чтобы и без того великолепная казалась еще краше.

Его прошиб пот, мешок с птичками выпал у него из рук, и от волнения и восторга он сделал то, от чего давно отвык, — он выругался: «Будь я проклят, Никколо! — воскликнул Аго. — Похоже, я лишь сейчас понял, для чего стоит жить!»

Герцог заперся в своем дворце...

Герцог заперся в своем дворце, испуганный, что к нему вот-вот может вломиться разгулявшаяся толпа: сразу после избрания на пост Папы первого из уроженцев их города люди словно взбесились. «Народ совсем одурел, — рассказывал уже потом Макиа Аргалья. — Никто не считается ни с полом, ни с возрастом, крушат всё подряд». День и ночь стоял оглушительный трезвон колоколов, а праздничные костры грозили превратить в руины целые кварталы. Аргалья рассказал, что на Новом рынке молодежь принялась отрывать доски от помещений, где располагались лавки с шелками и конторы менял. К тому времени, когда туда прибыли силы милиции, крыша дома старейшей гильдии торговцев тканями была уже сорвана и брошена в костер.

«Мне сказали, — продолжал Аргалья, — будто видели огни и даже кострище на кампаниле Санта-Мария дель Фьоре». Все это безобразие длилось целых три дня. Задымленные улицы гудели от криков, в закоулках и переулках грабили, насиловали, убивали, и никто не обращал на это ни малейшего внимания. Каждый вечер запряженная быками триумфальная повозка, вся в венках и гирляндах, следовала от садов Медичи у площади Сан-Марко к их дворцу на Виа Ларга. Перед закрытыми воротами дворца горожане горланили песни во славу Папы Льва Десятого, а затем повозку вместе с цветами поджигали. Сверху, из распахнутых окон, новоиспеченные правители бросали в толпу дары: всего было кинуто что-то около десяти тысяч золотых дукатов и двенадцать тканых серебром покрывал, которые флорентийцы тут же разодрали на лоскутки. На улицы вынесли даровые бочки с вином и корзины с хлебами, преступников помиловали, проститутки вмиг разбогатели, всех родившихся в эти дни младенцев мужского пола называли в честь Джулиано, ныне принявшего имя Лев, девочки же получали имена дам из рода Медичи, такие как Лаудамия и Семирамида.

В такое время вступить в город с сотней вооруженных людей и просить аудиенции у герцога было невозможно: пьяная, разгульная толпа была готова на всё. У городских ворот Аргалья предъявил требуемые бумаги и с облегчением убедился, что стража предупреждена о его прибытии. Ему сообщили, что герцог готов принять его, но придется

немного обождать. Янычары разбили лагерь под стенами города. На четвертый день флорентийцы наконец-то выдохлись и стали приходить в себя, но появляться в городе Аргалья счел пока небезопасным. «Ожидайте сегодня ночью почетного гостя», — сказал ему начальник стражи.

Аргалья умел любить как женщина, умел убивать как мужчина, но с герцогами Медичи ему встречаться еще не доводилось. Однако когда он увидел подъехавшего к нему Джулиано де Медичи, с опущенным на лицо капюшоном, он сразу понял, что перед ним слабак, — так же, как, впрочем, и стоявший рядом его племянник, Лоренцо. Тот из братьев, который сделался Папой, был известен как человек, умеющий повелевать, как представитель славного рода и истинный наследник своего отца — Лоренцо Великолепного. Вероятно, ему было нелегко доверить родной город своим второразрядным родичам. Ни один из настоящих Медичи не стал бы под покровом ночи прокрадываться, как вор, за городские стены для встречи с человеком, которого собирается взять к себе на службу. То, что этот Джулиано решился на подобный шаг, доказывает, сколь отчаянно он нуждается в поддержке сильного человека. Человека, закаленного в боях. Для спасения Града цветов ему нужен именно он, воитель Тюльпан. Аргалья решил, что должность командующего, можно сказать, у него в кармане.

Уже в палатке Аргалья при мигающем свете лампы сумел разглядеть его получше. Герцогу Джулиано, младшему отпрыску Лоренцо Медичи, было за тридцать. Лицо вытянутое, меланхоличное, и, похоже, слабое здоровье. Вряд ли ему суждено дотянуть до глубокой старости. Наверняка любит литературу, искусство. Наверняка умен и неплохо образован. В трудных ситуациях с таким будет сложно. Ему лучше сидеть себе дома и предоставить делать свое дело профессионалам, тем, чья школа — поле битвы, тем, которые под искусством понимают умение убивать. Племянник, названный в честь деда Лоренцо, — смуглый, с мрачным лицом и с вызывающими манерами, — на взгляд Аргальи, был заурядным двадцатилетним шалопаем, каких во Флоренции тысячи.

Аргалья заранее продумал свою речь. За время долгих скитаний по чужим краям, скажет он, ему стало ясно одно: где бы он ни был, всюду его преследовала мысль о Флоренции. О ней и о ее великих правителях Медичи, которые созданы, чтобы властвовать, и всегда умели настоять на своем, которые всегда могли мечту сделать явью с помощью своих установлений. Но вокруг существовали и другие — «плакальщики» (Аргалья уже не застал правления флорентийских «плакальщиков», но вести о монахе по имени Савонарола разнеслись по всему свету), — и они

тоже жаждали власти, ибо считали себя избранниками Божьими, что, разумеется, не так. А еще везде и повсюду есть люди, которые думают, будто умеют управлять, хотя в действительности делать это не в состоянии. Эта, третья, группа настолько многочисленна, что ее можно считать неким средним классом, скажем классом Макиа, — служащими, которые возомнили себя хозяевами положения, пока им не была явлена горькая правда. Этим людям нельзя доверять, именно они-то и представляют наибольшую опасность. Принц должен быть всегда готов подавить недовольство этих внутренних смутьянов, усмиряя их наряду с врагами внешними. Для выполнения этих двух задач во всем мире принято брать на службу опытного, закаленного в битвах человека. Именно таким человеком и является он, Аргалья. Он готов установить спокойствие и порядок в своем родном городе, как это ему уже доводилось делать в разных краях для других правителей.

Несколькими месяцами раньше Медичи помогли утвердиться в городе испанские наемники, так называемые «белые мавры», под командованием некоего генерала Кардоны. С гордостью Макиа — отрядом флорентийской милиции — они встретились под стенами красивейшего города Прато. Силы милиции превосходили их численностью, но уступали в подготовке и решительности. Их ряды смешались, они обратились в бегство, и город был сдан в первый же день, почти без боя. Разграбление, которому подвергли город «белые мавры», настолько потрясло флорентийцев, что они тотчас же отменили республиканское правление и на коленях стали умолять Медичи вернуться к власти. Разграбление Прато продолжалось три недели. Четыре тысячи его жителей, включая женщин и детей, были сожжены, изнасилованы, изрублены на куски. «Мавры» не пощадили даже монастыри. В самой Флоренции в ворота Прато ударила молния, и это знамение не предвещало ничего хорошего. Но самый главный аргумент против испанских наемников Аргалья прибавил напоследок. Он сказал, что «белые мавры» вызвали к себе у населения такую ненависть, что оставлять их у себя на службе было бы для Медичи самоубийством. Ему нужны хорошо обученные профессионалы, которые станут во главе милиции и укрепят в ней дисциплину — этого ей явно недостает, — чего по понятным причинам не удалось достичь такому крючкотвору и далекому от армии человеку, как Макиа.

Таким образом, дипломатично дистанцировав себя от впавшего в немилость старого приятеля, Турок Аргалья получил искомую должность. Самому Аргалье назначили щедрое по тому времени жалованье. Вдобавок герцог Джулиано подарил ему просторный особняк на Виа Порта Росса, с

полным штатом прислуги, присовокупив к этому щедрую сумму на его содержание. «Адмирал Дориа, должно быть, отрекомендовал меня вам наилучшим образом», — всего лишь и сказал Аргалья, услышав об этом. На что герцог любезно ответил: «Он заявил, что ты единственный из подонков-варваров, с кем ему не хотелось бы повстречаться один на один ни на суше, ни на море, даже если ты будешь гол как новорожденный младенец и при себе у тебя будет всего лишь обычный кухонный нож».

Легенда гласила, что в семействе Медичи хранилось волшебное зеркало, в котором правитель из этого рода мог узреть лик самой желанной в мире женщины. Говорили, что именно в этом зеркале предыдущий Джулиано, приходившийся нынешнему дядей и убитый заговорщиками, впервые увидел лицо Симонетты Веспуччи. После ее смерти, однако, зеркало помутнело и утратило волшебные свойства, словно оно не пожелало оскорблять ее память отражением менее, чем у нее, совершенной красоты. В период изгнания семьи зеркало продолжало висеть на стене спальни Джулиано-старшего в семейном особняке на Виа Ларга, однако, поскольку оно не только упрямо отказывалось проявлять магические свойства, но и перестало отвечать своему прямому назначению, его убрали в крошечную кладовку при спальне, где держали всякий хлам. После избрания Папы Льва Десятого зеркало вдруг снова заблестело. Передавали, что ненароком заглянувшая в каморку девушка-служанка упала без чувств, когда увидела, что сквозь паутину из угла на нее смотрит совершенно незнакомая женщина — словно гостя из иного мира. «Во всей Флоренции нет женщины, равной ей», — заявил герцог Джулиано, когда ему показали это чудесное видение. Он заметно взбодрился духом и телом, велел снова повесить зеркало в спальне и пообещал золотой дукат тому, кто доставит это чудо пред его ясные очи.

Призвали живописца Андреа дель Сарто, и ему было велено запечатлеть на полотне сию неземную красоту, но зеркало недаром было волшебным: оно не позволило копировать магическое изображение, и когда дель Сарто глянул в него, то увидел только себя. Джулиано был разочарован. «Оставь, — бросил он. — Нарисуешь с натуры, когда я ее отыщу». После его ухода у Джулиано зародилась мысль, что, возможно, дело в самом художнике, что зеркало просто невысокого мнения о его

искусстве. Другого, лучшего, у него под рукой не оказалось. Рафаэль находился в Риме, где ссорился с Буонарроти, а Филиппи, который был настолько одержим Симонеттой, что хотел быть похороненным у ее порога (в чем ему, разумеется, отказали), давным-давно умер. К тому же задолго до смерти он впал в нищету, стал ни на что не годен и мог стоять лишь опираясь на две палки. Его ученик Филиппино Липпи был популярен среди любителей парадов и уличных шествий; он угождал вкусам толпы, но абсолютно не подходил для целей Джулиано. Так что оставалось довольствоваться дель Сарто, хотя теперь эта проблема приобрела чисто академический характер, поскольку изображение появлялось лишь тогда, когда Джулиано оставался в комнате один. В последовавшие за этим дни было замечено, что герцог все чаще стал искать уединения у себя в спальне, чтобы без помех любоваться неземной красотой незнакомки, и близкие к нему вельможи, и без того немало обеспокоенные состоянием его здоровья, начали с тревогой и страхом коситься на его возможного преемника Лоренцо. И вот тут-то неземное создание собственной персоной явилось в город в сопровождении Турка Аргальи — и наступила новая эра.

Она была на четверть века моложе его, ей исполнилось всего лишь двадцать два, и когда она попросила его показать окрестные рощи, Макиа отозвался на ее просьбу с готовностью влюбленного юнца. То, что его друг Аго повел себя точно таким же образом, отчего-то вызвало его крайнее неудовольствие. «При чем тут этот нахал? — подумал Макиа. — Неужели он тоже собрался за нами увязаться?» Это было весьма досадно, но, приходилось признать, в данных обстоятельствах неизбежно. И тут впервые стало очевидным, что принцесса обладает необыкновенным даром очаровывать: супруга Никколо, Мариетта, обычно ревновавшая мужа к любой юбке, отнеслась к намеченной прогулке с изумившим его энтузиазмом. «Разумеется, ты обязательно должен показать девушке наши владения», — проворковала она и тут же вручила им для пикника корзинку со съестным и бутылку доброго вина. Макиа мог найти этому лишь одно объяснение: «Мариетту кто-то околдовал», — решил он и даже нашел для себя ответ, кто именно мог это сделать: две колдуньи, которые появились в его доме. Однако, памятуя об известной пословице про дареного коня, он отбросил черные мысли и разыграл духом по поводу предстоящего развлечения. Через полчаса он вместе с Аго уже вышагивал рядом с принцессой и ее фрейлиной к дубовой роще их детства. Позади, на почтительном расстоянии, за ними следовал Константин с дюжиной янычар.

— Когда-то в этом лесу я сумел найти корень настоящей

мандрагоры, — проговорил Аго.

Макиа видел, что его друг делает все возможное, чтобы произвести впечатление на женщин. «Бедняга, как он жалок», — подумал Макиа.

— Это было где-то здесь, — продолжал Аго, беспомощно оглядываясь вокруг.

— Вам нужна мандрагора? — небрежно спросила его Кара-Кёз на местном диалекте. — Взгляните-ка вон туда, там ее целые заросли.

И прежде чем кто-либо успел их остановить или хотя бы предупредить, чтобы они забили уши глиной, обе дамы подбежали к кустикам и стали выдергивать их из земли.

— Стойте, они сейчас заплачут! — взвизгнул Аго, неловко размахивая руками. — Мы все сейчас оглохнем, или сойдем с ума, или... — Он собирался сказать «умрем», но женщины посмотрели на него в полном недоумении. Обе держали в каждой руке по корню, но никаких воплей никто не услышал.

— Конечно, в больших дозах им можно отравиться, — спокойно сказала Кара-Кёз, — а так он совершенно безвреден.

Только теперь мужчины с изумлением осознали, что перед ними дамы, за которых сама мандрагора готова отдать жизнь без звука протеста.

— Прошу вас, только не пробуйте его силу на мне! — весело крикнул Аго, стремясь как-то замаскировать выказанный ранее испуг. — Иначе я буду обречен любить вас обеих до конца своих дней. — При этом не только его лицо, но и шея и руки приняли пунцовый оттенок, отчего всем стало ясно, что он уже влюбился, отчаянно и безнадежно, и никакие волшебные корни ему не нужны.

К тому времени, как Аргалья со своими швейцарцами вернулся, чтобы сопроводить принцессу и Зеркальце в их новое жилище, в Палаццо Кокки дель Неро, вся деревушка от мала до велика подпала под очарование двух чужестранок. Даже куры и те кудахтали веселее и стали лучше нестись. Сама принцесса не прилагала никаких видимых стараний, чтобы завоевать расположение сельчан, но оно росло как бы само собою. В течение шести дней, проведенных ею в доме Макиавелли, принцесса гуляла с Зеркальцем по рощам и читала на разных языках стихи; она подружилась с детьми хозяев дома и даже предлагала помочь Мариетте на кухне, но та отклонила ее великодушное предложение. Вечера она с удовольствием проводила с Макиавелли в его кабинете, слушая, как тот читает отрывки из книг своих любимых авторов — Пико делла Мирандолы и Данте Алигьери, а иногда и строфы из «Влюбленного Роланда» Маттео Боярдо, графа Скандиано. «Ах! — воскликнула Кара-Кёз, услышав о неисчислимых страданиях

героини. — Бедная, бедная Анджелика! У нее столько врагов и так мало сил, чтобы противостоять им или подчинить их всех своей воле!»

В деревне не осталось ни одного, кто не превозносил бы ее до небес. Охальник-дровосек Гальоффо давно забыл, что говорил о них обеих как о ведьмачках, которых хорошо бы трахнуть. Теперь он взирал на них с почтительным восхищением, исключавшим всякую мысль о плотских утехах. Местные кавалеры братья Фрозино объявили, что желали бы соединиться с красавицами супружескими узами. Оставалось неясным, состоит ли кто-нибудь из двух женщин в законном браке с Аргальей, но если это так, то они не собираются оспаривать его права. Если же выяснилось бы, что он холост, то братья заранее решили не ссориться и время от времени обмениваться женами. Дураков, подобных братьям Фрозино, в деревне больше не отыскалось, но все, включая женщин, утверждали, что благородные девицы очаровательны.

Если тут и примешалось колдовство, то оно наверняка было самого что ни на есть положительного свойства. Флорентийцы были прекрасно осведомлены относительно всех подлых приемов, которыми пользовались ведьмы того времени. Они вызывали злые силы, заставлявшие порядочных мужчин совершать неблагоприятные поступки; колдовали с фигурками и иглами, чтобы насылать горе и болезни; вьнуждали мужей бросать работу и делали их своими верными рабами. Однако ни принцесса, ни ее фрейлина не были замечены в применении черной магии. Если в их поведении и было что-то необычное, то это не вызывало никаких мрачных подозрений. Да, всем хорошо известно, что ведьмы любят бродить по лесам, однако прогулки обеих женщин под сенью дубов умиляли селян. Эпизод с найденной ими мандрагорой не получил широкой огласки, хотя странное дело: после этого Макиа, как ни искал в том месте, не нашел ни малейшего следа этого растения, так что они с Аго уже начали сомневаться, было ли все на самом деле.

Считалось, что ведьмы весьма склонны к запретной однополой любви, однако никого, включая самоё хозяйку дома Мариетту Корсини, не озадачивал тот факт, что женщины предпочитали спать в одной постели. «Просто им, наверное, так удобнее», — заплетающимся языком сказала она мужу, и Макиа сонно покивал, словно человек, хвативший лишнего за ужином. Любому было известно, что ведьмы обожают совокупляться с дьяволом, но в Перкуссине дьяволы не объявлялись, и никто не прибывал из ада в дыме и пламени домашнего очага, и никого из них не видели ни на крыше таверны, ни на колокольне. То была эпоха охоты на ведьм, и во время судилищ многие весьма уважаемые городские дамы вдруг начинали

признаваться в отвратительных деяниях, в попытках завоевать сердца добрых людей с помощью заговоренного вина и ладана, а также менструальной крови или воды, налитой в череп мертвеца. И хотя вся Перкусина действительно души не чаяла в принцессе Кара-Кёз и ее Зеркальце, эта любовь, за исключением разве что сексуально озабоченных близнецов Фрозино, носила чисто платонический характер. Даже лопухий Аго, который, как сам сказал, решил любить принцессу до гробовой доски, в то время не мечтал о том, чтобы стать ее возлюбленным. Просто обожать ее на расстоянии уже казалось ему блаженством.

Среди тех, кто впоследствии исследовал восхождение к власти Флорентийской Чародейки, наибольшего внимания заслуживает труд Франческо Пико делла Мирандолы, племянника знаменитого философа Джованни, под названием «*La strega ovvero degli inganni dei demoni*» — «Ведьма и происки дьявола». Он пришел к заключению, что дурман всеобщего восторга, обволокший Перкусину и быстро расплзшийся по соседним местечкам, таким как Сан-Касциано, Валь-ди-Песа, Импрунета, и далее — в Биббионе, Фалтиньяно и Спедалетто, стал результатом очень сильных магических чар, силу которых решили испытать в новой среде обитания. С помощью тех же чар ей впоследствии удалось покорить и столицу. Слава, опередившая ее появление там, обеспечила тот благожелательный прием, который в других обстоятельствах мог бы перерасти во враждебность. Тот же Франческо сообщает, что когда Аргалья вернулся, чтобы ее забрать, то обнаружил у дома Макиавелли большую толпу сельчан, лица которых восторженно светились, словно произошло чудо или перед ними вдруг явилась сама Пресвятая Дева. Когда же на пороге дома показались пышно разодетые, убранные драгоценностями Кара-Кёз и Зеркальце, все, не стовариваясь, опустились на колени, будто ожидая благословения. И они его получили: принцесса, не произнося ни слова, одарила всех улыбкой и легонько взмахнула рукой. Когда кавалькада скрылась из виду, Мариетта Корсини, словно очнувшись от долгого сна, огляделась, громко спросила, с чего это людям взбрело в голову топтаться на ее земле, и велела им немедленно разойтись. Как пишет Франческо, «селяне пришли в себя и никак не могли взять в толк, отчего все они оказались на этом месте. В недоумении почесывая головы, они стали расходиться — кто домой, кто в поле, кто в лес или к себе на мельницу».

Другой авторитет, Андреа Алкато, который считал, что от ведьм и их пособников спасают травяные настои и вегетарианство, видел в «перкусинском инциденте» следствие неумеренного потребления в этой области мясной пищи, что способствует галлюцинациям и разгулу

воображения. Бартоломео Спина в своем труде «De strigibus» — «О ведьмах», написанном спустя десять лет после сего знаменательного события, дошел до того, что предположил, будто Кара-Кёз довела всех жителей Перкуссины до состояния сатанинского исступления и вынудила их принять участие в черной мессе. Это обвинение мы полагаем абсолютно несостоятельным, ибо оно не подтверждается ни историческими документами, ни свидетельствами очевидцев.

Въезд в город нового военачальника — кондотьера Антонио Аргальи, прозванного Турком, сопровождался шумными праздничными церемониями, которыми так славится Флоренция. На площади Синьории был сооружен деревянный замок, вокруг которого разыграли целое действо с участием сотни «осажденных» и трех сотен «атакующих». Потешный бой происходил, разумеется, без применения настоящего оружия, но сражавшиеся так вошли во вкус, с такой страстью работали палками и забрасывали друг друга битым кирпичом, что после битвы многие оказались пациентами больницы Санта-Мария Нуова, где некоторые из них, к несчастью, испустили дух. На площади устроили нечто типа корриды, после чего тоже были покалеченные. Наконец туда же, на площадь, выпустили двух львов, которые, по замыслу устроителей, должны были загнать и загрызть черного жеребца, но конь не поддавался панике: он стал яростно отбиваться от первого льва и гнал его от здания купеческой гильдии до самого центра площади. Кончилось тем, что царь зверей, поджав хвост, забился в самую гущу зелени, после чего второй категорически отказался от поединка. Этот эпизод посчитали за благое предзнаменование. Подразумевалось, что конь символизирует Флоренцию, а львы — ее многочисленных врагов: французов, миланцев и всяких прочих, откуда бы они ни явились.

Затем, после этих торжеств, в город вступила процессия. Сначала показали восемь платформ на колесах, где расположились актеры, представлявшие немые сцены победных походов великого воителя древности Марка Фурия Камиллы, которого называли вторым основателем Рима. Они изображали многочисленных пленников, взятых им во время осады Вейи две тысячи лет тому назад. Эти сцены должны были демонстрировать огромную добычу победителя: оружие, ткани и слитки

серебра. За платформами следовали массы поющих и танцующих людей и четыре отряда милиции в полном вооружении, с пиками наперевес. (Обучать милицию поручили четверым гигантам-швейцарцам, поскольку своим искусством владения копьями швейцарская пехота держала в страхе весь мир. Всего лишь после двухдневных тренировок прогресс в обращении с этим оружием у милиции был замечен всеми.) Наконец показался и сам Аргалья. По правую и левую руку от него ехали сплетники-швейцарцы, сразу за ними, меж двух дам, — серб Константин. Шествие замыкала сотня янычар, вид которых заставил сердца зрителей замереть от ужаса. «Наш город теперь может спать спокойно! — раздались крики. — Наши защитники непобедимы!» С тех пор за ними так и осталось прозвание «непобедимые». Герцог Джулиано, приветствовавший их взмахом руки с балкона Палаццо Веккьо, казалось, был доволен тем, что народ одобряет предпринятые им шаги. У его племянника Лоренцо, наоборот, вид был мрачный. Аргалья поднял голову, взглянул на обоих Медичи и понял, что с младшим нужно быть предельно осторожным.

Герцог Джулиано мгновенно узнал в Кара-Кёз женщину, чье лицо в зеркале преследовало его днем и ночью, и сердце его радостно забилося. Лоренцо Медичи тоже увидел ее и воспылил неодолимым желанием обладать ею. Аргалья прекрасно сознавал, чем рискует, открыто демонстрируя свою возлюбленную герцогу, чей тезка, приходившийся ему дядей, в свое время беззастенчиво увел у мужа самую прекрасную женщину Флоренции — Симонетту Веспуччи. Рогоносец Марко, которого безумная любовь превратила в тряпку, дошел до того, что после ее смерти отослал все наряды жены и все ее портреты во дворец Медичи, сам же пошел и повесился на мосту. У Аргальи никогда не возникало желания покончить с собой, и он рассчитывал, что герцог Джулиано не захочет ссориться со вновь назначенным начальником гарнизона, которому он сам устроил такую торжественную встречу. «А если попытается отнять ее у меня, — подумал Аргалья, — то ему придется иметь дело с моими янычарами. Для того чтобы отобрать ее в такой ситуации, нужно быть по меньшей мере Геркулесом или Марсом, каковыми наш чувствительный герцог отнюдь не является».

Пока же он радовался возможности показать всем свою Черноглазку. При виде Кара-Кёз по толпе пронесся шепот. Он поглотил все другие звуки, и к тому времени, когда процессия остановилась у Палаццо Кокки дель Неро, тишина стала абсолютной. Народ понял: эта темноокая красавица наконец-то восполнит пустоту, оставшуюся в сердце каждого после смерти Симонетты Веспуччи. Всего за несколько минут лицо Кара-Кёз стало

живым воплощением, символом несравненной красоты самого города. Смуглое диво Флоренции! Поэты заточили перья, живописцы взяли за кисти, скульпторы — за резцы. Сорок тысяч простых флорентийцев — известные по всей Италии крикуны и забияки — выразили свое восхищение на особый манер: при ее приближении они умолкли. Поэтому все они прекрасно слышали обмен любезностями и все, что было сказано, когда Джованни и Лоренцо Медичи встретили новоприбывших, стоя перед высоким трехарочным парадным входом в четырехэтажный особняк, отведенный командующему. На фасаде, по центру, красовался герб семейства Кокки дель Неро. Семья переживала трудные времена и продала свой дворец Медичи. На этой улице архитектурных шедевров он являл собой жемчужину итальянского зодчества. Рядом с ним располагались резиденции знатнейших семейств города: Солданьери, Мональди, Бостичи, Кози, Бартолини, Арнольди и Давицци. Герцог Джулиано желал, чтобы Аргалья и все остальные оценили его щедрость, и не придумал ничего лучше, как, учтиво поклонившись, обратиться не к Аргалье, а к Кара-Кёз со следующими словами: «Счастлив предоставить такой драгоценности, как вы, достойную оправу».

И все услышали, как женщина звенящим голосом произнесла в ответ: «Я не игрушка, о благородный синьор. Я принцесса. Во мне течет кровь Тимура и Темучина, того самого, которого вы называете Чингисханом. Я вправе требовать, чтобы ко мне обращались как к особе королевской крови!»

Монгол! Могор! — зашелестело по толпе грозное, чужое слово. Чувственность и страх порождало оно. Первым отреагировал на него Лоренцо Медичи. Напыжившись от важности, он сказал то, о чем в этот момент подумали многие, подтвердив тем самым первое впечатление Аргальи о нем как о тщеславном и недалеком мальчишке: «Ты полный идиот, Аргалья! — выпалил он. — Притащив эту наглуую девицу из Моголов, ты привлечешь сюда всю Золотую Орду!» — «Вообще-то, такой поворот событий действительно был бы крайне нежелателен, — хладнокровно ответил Аргалья, — но это невозможно по весьма простой причине: Золотая Орда распалась уже сто лет назад, причем сокрушительное поражение нанес ей не кто иной, как предок принцессы, Тамерлан. К тому же должен вам сказать, господа, что честь принцессы не запятнана. Она действительно оказалась в плену у шаха Исмаила и была освобождена мною после победы над персидским войском при Чалдыране. Она прибыла сюда по собственной воле, желая всем сердцем способствовать союзу двух культур — Запада и Востока. Она верит в то,

что ей есть чему поучиться у нас, как и нам — у нее».

Его речь была выслушана собравшимися благожелательно. Особенно сильное впечатление произвело на людей упоминание о том, что их теперешний защитник был в числе победителей в уже прославившейся битве при Чалдыране. Раздались приветственные крики, и стало ясно, что принцессу народ принял. Быстро справившись со смущением, герцог Джулиано поднял руку, требуя тишины. «Флоренцию почтила своим присутствием знатная особа, и Флоренция окажет ей достойный прием!» — громко крикнул он.

Палаццо Кокки дель Неро славилось самым большим и красивым залом в городе. Помещение это, в двадцать три фута шириной и пятьдесят три длиной, с двадцатифутовым потолком, с пятью огромными, венецианского стекла окнами, позволяло устраивать роскошные пиршества. Господская спальня, так называемые «брачные покои», по всему периметру была украшена фризами на сюжет чувствительной любовной поэмы Антонио Пуччи по мотивам старинной прованской легенды. В этой комнате двое (или трое) влюбленных могли проводить безотлучно дни и ночи, ибо там было все. Иными словами, дворец предоставлял Кара-Кёз прекрасную возможность существовать так, как было принято у женщин знатных семей Флоренции, то есть полностью обособиться от простого люда, принимая у себя лишь самых достойных. Принцесса, однако, распорядилась своим временем совсем по-другому.

Стало очевидно, что и она, и Зеркальце испытывают ни с чем не сравнимую радость оттого, что им больше не нужно скрывать лица под кисеей. Днем принцесса и ее неизменная спутница появлялись на шумных улицах в сопровождении одного лишь серба Константина и явно наслаждались тем, что их лица может видеть любой прохожий — вещь, непозволительная для знатных дам Флоренции. Народу это нравилось. Сначала ее принялись величать Симонеттой Второй, а затем, услышав, как они называют друг друга, стали именовать Анджеликой Первой. Ее осыпали цветами. Ее смелость оказалась заразной. Вскоре многие местные знатные дамы последовали ее примеру. В нарушение традиций они по двое и по трое стали совершать вечерние прогулки. Молодежь это восхищало. Юноши получили шанс свободно общаться со своими

избранницами, а «веселые дома» заметно опустели. Так начался закат эры куртизанок. Папу Римского такое улучшение нравственной атмосферы в его родном городе весьма обрадовало, и во время одного из визитов герцога Джулиано в Вечный город он позволил себе смелое предположение, что, хотя принцесса и не считает себя христианкой, весьма вероятно ее причисление к лику святых. По возвращении во Флоренцию Джулиано, будучи человеком весьма религиозным, поделился сей абсурдной идеей с одним из вельмож. Эта мысль была мгновенно подхвачена всеми городскими писаками, и в считанные дни после высказывания Папы насчет возможного божественного происхождения Кара-Кёз поползли слухи о творимых ею чудесах.

Люди, мимо которых она проходила, заговорили о том, что слышали в тот момент музыку небесных сфер. Другие будто бы наблюдали сияние вокруг ее чела, настолько яркое, что оно было заметно среди бела дня. Бесплодные женщины просили ее прикоснуться к их животам и впоследствии заявляли во всеуслышание, будто в ту самую ночь понесли. Слепшие прозревали, калеки обретали способность ходить. Единственным, чего ей пока не приписывали, было воскрешение мертвых. Среди ее адептов оказался даже Агостино Веспуччи, который утверждал, будто после того как принцесса удостоила посещением его виноградник, было произведено наилучшее за всю историю его существования вино, которое он, в знак благодарности, стал поставлять в Палаццо Кокки дель Неро бесплатно.

Итак, Кара-Кёз, открывшая лицо и именуемая теперь Анджеликой, находилась в зените своей красоты и все свои женские и прочие чары щедро изливала на город, внушая его обитателям мысли, полные любви во всех ее возможных проявлениях: любви к родителям, супругам, любви законной и запретной, любви божественной. Безымянные авторы называли ее новым воплощением Венеры. В воздухе витал тонкий аромат миролюбия и гармонии, люди трудились с большим усердием, стало рождаться больше младенцев, и церкви были полны верующими. Во время воскресной службы в семейной усыпальнице Медичи, в базилике Сан-Лоренцо, теперь возобновились молитвы о здравии не только членов этого семейства, но и *принцессы далекой Индии и Катая и покровительницы Флоренции*. Для чародейки это было время безоблачного счастья. Черные дни, однако, были уже не за горами.

Воображение человека тех времен предоставляло ему богатый выбор волшебниц и чаровниц. Все знали, например, об Алкине, злой сестрице феи Морганы, и о том, как они вместе изводили свою младшую сестру

Логистиллу, дочь Любви; о чародейке Мелиссе из Мантуи, о Драгонтине, державшей в плену Роланда; о Цирцее древних и о безымянной, но страшной колдунье из Сирии. Во Флоренции представлениям о волшебницах как об отвратительных старухах, о страшилищах не было места. Здесь их изображали в виде роскошных женщин с развевающимися волосами, что служило символом распущенности. Здесь их считали неотразимыми, способными завлечь в свои сети любого. Свою власть над людьми они могли использовать как для торжества добра, так и во зло. С появлением Анджелики в городе возобладал культ доброй волшебницы, сочувствующей и покровительствующей всем; богини любви и в то же время защитницы. Вот она, такая как все, ходит себе по рыночной площади: «Попробуй груши, Анджелика! А вот сливы, бери сливы, смотри, какие сочные!» Никакая не сказка, а вполне обычная женщина! Ее любили и считали, что она многое может. Все это так, только разница между чародейкой и ведьмой в те времена осознавалась далеко не всеми. Еще были такие, которые уверяли, будто эта новоявленная чародейка — воплощение всех магических свойств женской природы — всего лишь маска, что истинный лик ее по-прежнему страшен и омерзителен, как у ламии — пожирательницы людей.

Скептики, которые в силу своего желчного характера отвергают всякое влияние сверхъестественного на ход исторических событий, возможно, предпочтут другое, более прозаическое, объяснение процветанию и благоденствию, которое переживала Флоренция в то время. Можно предположить, что всем этим она была обязана покровительству Папы Льва Десятого (которого одни считали добрым гением, а другие — тщеславным дураком), и именно поэтому город богател, вторжения прекратились и так далее.

Противники всего сверхъестественного старались найти для себя опору в политике Льва Десятого, и припоминали его встречу с королем Франции после битвы при Мариньяно и ряд соглашений, тогда подписанных; вспоминали о новых, прикупленных Папой и переданных Флоренции землях, что принесло ей дополнительные доходы; о присвоении племяннику Лоренцо титула герцога Урбино; о том, что Лев Десятый устроил брак самого Джулиано с принцессой Савойской Филибертой, после чего тот получил в подарок от короля Франции Франциска Первого Немур, и, возможно, шепнул на ушко Джулиано, что вскорости отдаст ему и Неаполь.

Что ж, давайте признаем, что все скребоперы, предпочитающие сухие факты, в целом правы. Да, власть Папы была огромна. Точно так же была

велика власть короля Франции и короля Испании, сильны были швейцарская армия и Османская империя. И все вышеперечисленные силы постоянно конфликтовали и мирились, побеждали и терпели поражения, заключали брачные союзы, интриговали, торговали привилегиями, вступали в тайные сговоры и подписывали официальные соглашения, делили добычу и занимались чёрт-те чем еще. Но все это, к счастью для нас, абсолютно несущественно в данный момент.

Шло время, и у Кара-Кёз обнаружили явные признаки истощения — как морального, так и физического свойства. Похоже, первой, кто заметил это, оказалась Зеркальце, поскольку она находилась подле принцессы неотлучно. Очевидно, от нее не укрылось едва заметная напряженность ее улыбки, вялые движения прежде таких легких и сильных рук, головная боль и внезапные приступы раздражительности, которые она стойко подавляла. Возможно, что забеспокоился и Аргалья, потому что впервые за все время их союза она стала уклоняться от его ласк, предлагая ему вместо себя подругу. *«Я не в настроении. Я устала. У меня нет желания, — сплошь и рядом говорила она. — Не принимай это на свой счет. Ну почему ты не понимаешь? Ты уже получил всё, к чему стремился, ты военачальник, тебе ничего не нужно доказывать самому себе. А я? Я все еще хочу состояться, хочу полностью воспользоваться тем, что мне дано. Как ты можешь любить меня, не понимая этого? Какая же это любовь? Это эгоизм».*

«Взаимные упреки? Неужто их любви предначертан столь банальный конец?» — подумалось ему. Аргалья отказывался в это верить и отбросил мрачные мысли. Нет, с ними подобное не случится. Такая, как у них, любовь — она до гробовой доски. Она не может утонуть в мелких дрызгах.

Герцог Джулиано, к немалому раздражению своей супруги продолжавший каждый божий день созерцать лицо Кара-Кёз в зеркале, тоже заметил в нем неуловимую перемену. Его брачный союз носил чисто политический характер. Савойская принцесса была не очень молода и не очень уж хороша собой. После свадьбы Джулиано по-прежнему обожал Кара-Кёз, хотя надо отдать должное этому слабому телом и чистому духом господину: он восхищался Кара-Кёз на расстоянии и в мыслях не держал соблазнить и отнять ее у своего военачальника. Он довольствовался устройством в честь нее празднеств, пышностью ни в чем не уступавших тем, которые обычно устраивали по случаю визитов Папы Римского. Принцесса Филиберта была наслышана об этих торжествах и потребовала, чтобы супруг устроил и в ее честь нечто подобное. Джулиано ответил, что сделает это обязательно, когда она родит ему наследника. Правда, он не

часто заглядывал к ней в спальню, и ему суждено было оставить после себя только сына, рожденного вне брака. Его звали Ипполито, и, подобно некоторым другим бастардам, он получил сан кардинала. После отказа мужа Филиберта яростно возненавидела Кара-Кёз, а узнав о существовании зеркала, возненавидела и его тоже. Когда же она услышала, как супруг вслух выражает свою обеспокоенность состоянием здоровья принцессы, ее терпению пришел конец. С грустью смотря на изображение Кара-Кёз, герцог тихо сказал: «Взгляни на бедную девочку! Сразу видно, что ей нехорошо». — «Уж я постараюсь, чтоб ей стало еще хуже!» — крикнула Филиберта и швырнула в зеркало щетку для волос в тяжелой серебряной оправе, отчего оно разбилось на мелкие кусочки. «Это мне нехорошо! — продолжала кричать Филиберта. — Мне плохо как никогда в жизни! Так направь свою заботу на меня!»

Недомогание Кара-Кёз объяснялось очень просто: она не выдержала напряжения. Другая бы на ее месте уже давно сломалась. Очаровывать сорок тысяч человек день за днем, месяц за месяцем, год за годом оказалось не по силам даже ей. Случаи чудесного исцеления пошли на убыль, а затем вовсе прекратились, и Папа уже не заговаривал о причислении ее к лику святых.

В отличие от могущественной богини ее предков Аланкувы она не имела власти над жизнью и смертью других людей, и спустя три года после ее появления во Флоренции Смерть взяла Джулиано Медичи: он заболел и вскоре скончался. Филиберта немедленно собрала все, что считала своим, включая огромной ценности приданое, и отбыла в Савойю. Известно, что по возвращении домой она заявила: «Флоренция подпала под власть ведьмы-сарацинки, праведной христианке там не место».

Инцидент со львами и медведем имел место...

Инцидент со львами и медведем имел место во время очередного карнавала в честь Кара-Кёз. В первый день устраивали фейерверки и запускали шутихи; во второй день на площадь Синьории выпустили диких животных. Пространство площади заполнилось быками, буйволами, оленями, медведями, леопардами и львами. Тут же находились конники и пешие копьеносцы; были еще и люди (до поры скрывавшиеся в огромной деревянной черепахе и такого же типа дикобразе), которые нападали на зверей. Один из нападавших был убит буйволом.

В какой-то момент самый крупный из львов вцепился в горло медведю и уже готовился прикончить его, как вдруг, ко всеобщему изумлению, на выручку медведю кинулась львица. Она так яростно набросилась на сородича, что тот выпустил свою добычу. Медведь быстро оправился, но все львиное сообщество стало гнать от себя львицу-спасительницу. Бедняга, поджав хвост, уныло отошла в сторонку и, несмотря на ободряющие крики толпы, так и не напала больше ни на одного зверя. Это странное событие на целые дни и даже месяцы стало предметом живейшего обсуждения среди горожан — они усмотрели в нем некое предзнаменование. Все сошлись на том, что львица — это, конечно же, Кара-Кёз, но не было ясно, кого же в этом поединке представлял лев. Вскоре, однако, и эта загадка была разрешена благодаря анонимному сочинению, которое быстро стало популярным. Лишь немногие знали, что его автором был не кто иной, как впавший в немилость вельможа по имени Никколо Макиавелли. В своем сочинении он пояснял, что действия львицы, кинувшейся на защиту чужого от своих сородичей, были продиктованы ее стремлением к всеобщему согласию. «Точно так же, как и в случае с принцессой, — утверждал далее автор. — Она появилась среди нас и приняла нашу сторону затем, чтобы способствовать примирению доселе враждующих сторон, но в отличие от львицы, оказавшейся в одиночестве, у принцессы среди медведей есть множество друзей».

Благодаря этому сочинению Кара-Кёз стали воспринимать как вестницу мира, пожертвовавшую собой ради всеобщего спокойствия. Заговорили о «мудрости Востока», которой хорошо бы воспользоваться. Правда, услышав такие речи, Кара-Кёз отмахнулась от них. «Никакой

особой мудрости Востока не существует, — сказала она Аргалье, — люди везде одинаково глупы».

После отъезда Кара-Кёз и Зеркальца Макиа впал в глухую тоску, и в таком состоянии он прожил последующие тринадцать лет. Сонм друзей исчез из его жизни вместе с утратой положения, слава тоже уже давно перестала манить его, но разлука с самою Красотой добила его окончательно. Он, как и прежде, будет продолжать заводить интрижки на стороне, будет посещать певицу Барберу, и не только ее, а еще одну особу по соседству, муж которой сбежал из дому не попрощавшись. Но и это не приносило ему радости. Макиа нередко думал о муже-беглеце и даже прикидывал, не последовать ли его примеру. И пускай бы домашние считали, будто он умер. Наверное, он так бы и поступил, если бы представлял, что будет делать дальше. Вместо этого все свои знания и опыт он употребил на создание некоего опуса — своего рода зеркала для правителя. Творение получилось столь мрачное, что даже у него самого зародилось опасение, будто оно может не понравиться. И все же в нем теплилась надежда, что умные мысли окажутся более значимыми, нежели верноподданническое смирение, и будут оценены выше, чем лесть. Он посвятил свое сочинение Джулиано, собственноручно переписал его, а после смерти герцога переписал вторично, посвятив Лоренцо Медичи. Однако все это время его неотступно преследовала мысль о том, что Красота покинула его навсегда, потому что бабочка не остается на увядшем цветке. Макиа взглянул в глаза принцессы, увидел в них свое увядание и понял, что она отлучила его от себя. Это было как смертный приговор.

Перед отъездом новоиспеченного генерала и его возлюбленной он провел с Аргальей двадцать минут у себя в кабинете. «Знаешь, — сказал тот, — с самого детства я следовал одному принципу: поступай как велит судьба и иди туда, куда она тебя ведет. Я выжил, потому что понял, чего добиваюсь, шел туда, куда вела меня моя звезда, отбросив все остальное: верность, чувство родины, ощущение своего и чужого. Я думал только о себе самом. Всегда, всю жизнь — только о себе. Только так, думал я, можно выжить. Но она укротила меня, Макиа. Я знаю, что она собой являет, потому что она такая же, как я. Она любит меня — до той поры, пока это не перестанет ее устраивать. Я хочу, чтобы эта пора не наступила как можно

дольше, потому что я люблю ее по-другому. Люблю любовью бескорыстной, когда благополучие дорогого тебе существа превышает своего собственного. Думаю, ей такое чувство незнакомо. Я готов отдать за нее жизнь, она этого не сделает никогда». — «Что ж, надеюсь, тебе не придется умирать ради нее, — отозвался Макиа. — Твоя жизнь достойна лучшего применения».

Несколько минут ему удалось побыть и с нею наедине — если не считать Зеркальца, которая, похоже, находилась при ней безотлучно. Он не стал говорить с ней о сердечных делах — это было бы не к месту и прозвучало бы как бестактность. Он заговорил совсем о другом. «Эта Флоренция, принцесса, и вы будете жить в роскоши и довольстве, потому что флорентийцы умеют жить красиво. Только будьте благоразумны и всегда помните про запасной выход. У вас всегда должны быть наготове план и способы бегства, ибо, когда Арно выходит из берегов, все, у кого нет лодок, тонут».

Он выглянул в окно. Вдалеке, за пашней, где трудился один из его арендаторов, виднелся красный купол кафедрального собора. На низкой каменной ограде замерла пригретая солнцем ящерица. Звонким ручейком лилась откуда-то песенка золотистой иволги. Тут и там возвышались живописные купы кипарисов, каштанов и разлапистых сосен. Высоко в небе кувыркался, то взмывая ввысь, то кружа над землей, орлик. Торжество вечной красоты природы... «Тюрьма», — подумал Макиа, а вслух сказал: «Для меня, увы, запасного выхода нет».

После того дня он стал писать ей письма, хотя ни одного так и не отправил. Перед тем как умереть, ему довелось увидеть ее всего однажды. Зато Аго, которого не выслали из города, виделся с ней регулярно. Раз в месяц она милостиво принимала его в расположенном рядом с большим салоном Иволгином зале, названном так из-за разрисованных этими птичками стен. По узкому переулку он доставлял к заднему входу повозку с бочонками вина, но сам никогда этим входом не пользовался. По такому случаю он всегда облачался в свое лучшее парадное платье, оставшееся от прежних времен, и важно шествовал с букетом в руках по Виа Порта Росса, словно престарелый ловелас, идущий на свидание. Когда-то золотые, а ныне седые волосы едва прикрывали его лысину. Аго видел по ее глазам,

хотя она всячески старалась это не показать, что вид у него немного комичный, но не обижался. Он никогда не просил ее ни о чем, зато у нее возникла к нему просьба, которую ему предстояло держать в тайне. «Вы сделаете кое-что для меня?» — спросила она. «Все, что пожелаете», — ответил он. О том, что это была за просьба, знали лишь иволги на стенах да Зеркальце.

Итак, Джулиано Медичи отдал богу душу. Правителем Флоренции, как и ожидалось, стал его племянник Лоренцо, и ситуация мало-помалу стала меняться к худшему. Правда, в первые три года перемены были почти незаметны: Лоренцо нуждался в Аргалье не меньше дяди. Именно Аргалья возглавил войско Флоренции в сражении с герцогом Урбино, Франческо Мариа, которого Лев Десятый решил предать. В период изгнания Медичи не кто иной, как Франческо Мариа, дал им приют, но теперь им захотелось отнять у него область Урбино. Франческо пользовался большим влиянием, у него было хорошо обученное регулярное войско, и Аргалье с его янычарами потребовались три недели, чтобы одержать верх. В этой кампании он потерял девять лучших и самых верных своих янычар. Пал также один из четырех швейцарцев, Д'Артаньян, и остальные трое были безутешны. После решающего боя Аргалья разбил наголову отряды мятежных сторонников Франческо в Анконе. Это принесло Аргалье такую популярность, что Лоренцо не осмелился выступить против него в открытую.

Как раз в это время Макиа все же решился послать Лоренцо свой труд. В ответ — полное молчание: ни слова благодарности, ни похвалы, ни хулы, ни даже извещения о том, что его опус получен. Его не нашли среди бумаг после смерти Лоренцо. Злые языки болтали, будто, получив сочинение Макиавелли, Лоренцо с презрительным смешком небрежно его отбросил, сказав: «И такое ничтожество еще собирается учить правителя, как ему преуспеть! Не иначе как мне следует зазубрить это наизусть». Раздался взрыв угодливого смеха, но он тут же затих, когда Лоренцо мстительно добавил: «Если когда-нибудь кто-то и вспомнит этого, как его там, Никколо Мандрагору, то, разумеется, не как мыслителя, а как уличного комедианта»^[51]. Придворные снова захихикали. Аго слышал эту историю, но по доброте своей не стал передавать другу, и потому Макиа еще в течение нескольких месяцев продолжал надеяться, что ему ответят. Когда же ему стало ясно, что никакого ответа не будет, его душевное состояние начало стремительно ухудшаться. Свою маленькую книгу он отложил в сторону и больше не пытался ее опубликовать.

Весной 1519 года Лоренцо наконец решил, что пришла пора

действовать. Он начал с того, что отправил Турка Аргалью в Ломбардию, с тем чтобы вытеснить оттуда французов. В провинции Бергамо Аргалье предстояли бои с войсками Франциска Первого. В его отсутствие Лоренцо устроил турнир на площади Санта-Кроче, причем программа праздника до мелочей была копией того, на котором старший Джулиано Медичи вышел вперед со знаменем в честь Симонетты Веспуччи. Надпись «Несравненная» красовалась на нем и в этот раз. «Я посвящаю этот праздник, — громко возгласил Лоренцо, — нашей королеве красоты Анджелике, принцессе Индии и Катая». Лицо Кара-Кёз оставалось бесстрастным. Она не бросила ему, как требовал обычай, ни шарфа, ни платка. От унижения щеки Лоренцо залила краска гнева. Соревнующихся было шестнадцать — все солдаты, оставленные для охраны города. Предполагалось вручение двух премий — парчового кафтана и слитка серебра. Герцог не стал участвовать в состязаниях. Он сел рядом с Кара-Кёз и молчал до самого окончания состязаний. После игр в Палаццо Медичи был устроен ужин. Угощение было самое изысканное: павлины, фазаны из Чьявенны, куропатки из Тосканы и устрицы из Венеции; была макаронная запеканка на арабский манер — с кардамоном и сахаром. Блюда из свинины — из уважения к почетной гостье — не подавались. Десерт состоял из айвового варенья из Реджо, сиенского марципана и свежего сыра. Украшением стола служили груды ярких помидоров. После угощения, по обычаю, описанному в «Пире» Платона, настала очередь чтения од и стихов о любви. В заключение этой части праздника выступил сам Лоренцо. Он процитировал отрывок из того же «Пира»: «Умереть друг за друга готовы одни лишь любящие, причем не только мужчины, но и женщины. У греков убедительно доказала это Алкестида, дочь Пелия: она одна решилась умереть за своего мужа»^[52].

Произнеся эти слова, Лоренцо, с трудом державшийся на ногах, тяжело плюхнулся рядом с Кара-Кёз.

— Почему вы в разгар такого приятного праздника вдруг заговорили о смерти? — спросила она и была поражена нарочитой грубостью его ответа. Он быстро пьянел, а в этот вечер пил особенно много.

— Смерть, дорогуша, может оказаться гораздо ближе, чем кажется, и как знать, на какую жертву вскоре предстоит пойти тебе самой.

В ней все замерло. Она поняла, что сейчас из уст этого похотливого мальчишки с ней будет говорить сама судьба.

— Перед тем как завянуть, — произнес он, — цветок теряет аромат. И ваш аромат, мадам, слабеет день ото дня, не так ли? — Он говорил безапелляционно. — Теперь мало кто слышит сопровождающую ваше

появление музыку высших сфер. Уже нет сведений о чудесных исцелениях, так же, как и об излечении от бесплодия. Ни ваши самые доверчивые сторонники, ни бедняки, питающиеся лишь хлебом и травами, помогающими заглушить голод, ни даже нищие бродяги, подбирающие отбросы, отчего им каждую ночь являются демоны, — никто из них больше не верит в ваш чудесный дар. Ваши чары, ваш чувственный аромат, способный свести с ума любого, — куда все это подевалось, а? Похоже, даже самая красивая женщина утрачивает свое очарование, скажем так, с возрастом.

Кара-Кёз было всего двадцать восемь, но истощение обнаруживало себя в заострившихся чертах лица, в раздражительности. Лоренцо безошибочно догадался о причине этих изменений и сейчас бросил ей обвинение прямо в лицо.

— Может, у вас еще на родине что-то пошло не так, — громким шепотом сказал он. — И что же? Шесть лет вы во Флоренции и до этого еще неизвестно где, а у вас все еще нет детей. Люди задаются вопросом: врачующий не может исцелить себя сам — разве такое бывает?

Кара-Кёз сделала попытку встать, но пальцы Лоренцо сомкнулись на ее запястье.

— Как думаешь — долго ли твой защитник останется при тебе, если ты не родишь ему сына? Конечно, при условии, что он вернется из похода живым, — небрежно добавил Лоренцо.

В этот момент ей стало ясно: кто-то один или группа близких Аргалье людей собирается предать его в обмен на определенные милости, которые несомненно обернутся потом для заговорщиков либо ножом под ребро, либо публичной казнью. Одно предательство всегда влечет за собой другое.

— Вам никогда не убить его, пока вокруг него верные люди, — неуверенным голосом произнесла она, но в тот же миг пред ее глазами пророчески возникло лицо серба Константина. — Что ты пообещал ему? — воскликнула она. — Чем ты мог соблазнить его, чтобы он совершил подобную низость после стольких лет дружбы?!

Лоренцо наклонился ниже и зло прошептал ей в самое ухо:

— Все, что пожелает.

Это означало только одно: Константина подкупили ею. Он столько времени находился рядом, что возмечтал о большем, — этим его и купили. Она — проклятие для Аргальи.

— Он не посмеет! — вырвалось у Кара-Кёз.

Лоренцо еще крепче сжал ее руку.

— Но это не значит, что он дождетя награды, когда свершит

задуманное, — прошипел он. Кара-Кёз поняла, что от судьбы не уйти. — Предположим, янычары вернутся с мертвым телом своего командира, — продолжал он. — Трагедия, что и говорить! Его похоронят со всеми воинскими почестями, и будет объявлен тридцатидневный траур. Предположим далее, что к тому времени, получив известие о его гибели, вы и ваша фрейлина соберете пожитки и переселитесь с Виа Порта Росса на Виа Ларга, чтобы не остаться одной в столь горестный час. Вы станете моей почетной гостьей. Только представьте, какую расправу я учиню над тем, кто предательски убил вашего возлюбленного, спасителя Флоренции и моего лучшего друга. Можете придумать для него любые муки, и обещаю, что, до того как испустит дух, он испытает их все.

Заиграла музыка. Пришло время для танцев. Ей предстояло танцевать павану с убийцей своих надежд.

— Я должна подумать, — сказала она.

— Конечно, но думайте быстро, а пока вас уже сегодня ночью доставят ко мне, чтобы вы заранее уяснили, что вас ждет.

Она остановилась и повернулась лицом к нему.

— Мадам! — требовательно сказал он, протягивая к ней руки, и она продолжила танец. — Вы принцесса из рода Тамерлана, вам ли не знать, как устроен мир, — проговорил Лоренцо между двумя фигурами паваны.

Той ночью, вполне убедительно доказав, что понимает, как устроен мир, принцесса по возвращении к себе сказала подруге:

— Что сделано, то сделано, Анджелика.

— Значит, теперь, Анджелика, — отвечала ей Зеркальце, — нам нужно быть готовыми проститься с жизнью.

Для них эта фраза давно служила паролем. Она означала, что настала пора двигаться дальше, отбросить одну жизнь и найти для себя новую, задействовать план бегства и исчезнуть. Чтобы осуществить план спасения, Зеркальцу предстояло облачиться в плащ с капюшоном и, дождавшись, когда город заснет, выскользнуть через задние двери и по узкому переулку за Палаццо Кокки дель Неро пробраться на другой конец города, в квартал Онъис-санти, и отыскать там Аго Веспуччи. К ее удивлению, Кара-Кёз покачала головой:

— Мы не уедем, пока мой муж не вернется целым и невредимым.

Черноглазка не обладала властью над жизнью и смертью. Впервые в жизни она уповала на силу, которой не доверяла никогда, — на силу любви.

На следующий день из Арно ушла вся вода. По городу поползли слухи, что Лоренцо Медичи смертельно болен, и, хотя никто не смел говорить об этом громко, все знали, что это morbo gallico, иначе говоря сифилис.

Отсутствие воды в реке сочли за дурное предзнаменование. Врачи не отходили от Лоренцо, но со времени появления в Италии двадцать три года назад эта болезнь унесла столько жизней, что мало кто надеялся на его выздоровление. Как обычно, одни винили в этой болезни французских солдат, другие считали, что ее привез из-за моря Христофор Колумб, но Кара-Кёз не обманывала себя.

«Это произошло раньше, чем я рассчитывала, — сказала она Зеркальцу. — Подозрение падет на меня. Теперь это всего лишь вопрос времени». Многим ее замечание показалось бы нелепым: как свидетельствуют позднейшие заключения медиков, у Кара-Кёз ни до того, ни после не было сифилиса. С другой стороны, никто не подозревал, что Лоренцо был заражен дурной болезнью, и внезапное проявление ее в самой что ни на есть злокачественной форме давало пищу для слухов. Все это вызывало подозрения, а в подобных случаях требовалось срочно найти виновного или хотя бы козла отпущения. И неизвестно, как бы обернулось дело, не возвратись Турок Аргалья живым.

В ночь накануне его возвращения она долго не могла заснуть, но когда все же уснула, увидела во сне сестру. Та сидела в большом красном с золотом шатре на ковре с золотисто-синей каймой и такого же цвета алмазом в центре. Сидела она перед мужчиной в одежде из кремового шелка, на плечах у него была зеленая с розовым шаль, на голове — голубой с белым, тканый золотом тюрбан. «Я твой брат Бабур», — сказал незнакомец. Она взглянула на него, но не признала в нем брата и сказала: «Я так не думаю». Тогда мужчина обратился к другому, сидевшему чуть поодаль: «Ну-ка, скажи, Кукулташ, кто я?» — «Господин мой, ты — Захиреддин Мухаммад Бабур, и это так же верно, как то, что мы сейчас в Кундузе». А Ханзада сказала: «Почему я должна верить ему больше, чем тебе? Я не знаю никакого Кукулташа». Брат и сестра так и остались сидеть друг против друга, но больше не разговаривали. Ее окружили прислужницы, его — воины с копьями и луками. Лица их ничего не выражали. Женщина не признала брата. Она не видела его десять лет. Даже во сне Кара-Кёз поняла, что сама как бы незримо присутствует в каждом из участников этой сцены: она и оторванная от семьи сестра, которой по тропам любви и воспоминаний уже не суждено найти дорогу к родному очагу, и ее брат Бабур — поэт и деспот, человек, способный в один и тот же

день рубить головы и вдохновенно воспевать тенистую лощину; человек, не имевший куска земли, который мог бы назвать своим; все еще скиталец: то победитель, то побежденный, то властитель Самарканда и Кандагара, то беглец. Бабур, вечно мчащийся, не знающий покоя. Кара-Кёз была ими обоими, она была Кукулташем; прислужницы, солдаты — это тоже была она. Покинув свое тело, она словно парила, бесстрастно наблюдая со стороны и за самую собой, — одновременно и субъект, и объект наблюдения — и лицо, и его зеркальное отражение.

Вдруг разом все переменялось: ткани и занавеси шатра сменил красный камень. Все, что зыбко колыхалось и двигалось, приняло отчетливые, строгие формы. Теперь перед ней был дворец из красного камня на высоком холме и водоем — прямоугольный водоем невиданной красоты. А посреди него, на каменном возвышении, возлежал ее брат, Бабур. Богатства его были несметны. Стоило ему захотеть, и он мог бы с легкостью осушить пруд и наполнить его золотыми слитками, и каждый взял бы оттуда сколько захотел. Нет, это не ее брат. Это был человек, которого она не узнавала.

«Я видела будущее, — проснувшись, сказала она Зеркальцу. — Будущее высечено в камне. Наследник моего брата могуществен и богат. Мы с тобой — вода, мы испаримся и исчезнем как дым, но будущее — оно сулит богатство и славу, оно застыло в камне». Что ж, она дождется его прихода и тогда... тогда вернет себе прежнюю жизнь. У нее получится то, что не удалось Ханзаде. Уж она-то узнает своего императора, владыку вселенной.

Сдерживать свои эмоции Кара-Кёз научилась давно, а с того момента, как ее доставили в личные покои Лоренцо Второго, она вообще запретила себе чувствовать. Он совершил то, к чему стремился, то же самое сделала и она, причем абсолютно хладнокровно. Такою же спокойной вернулась она домой, в Палаццо Кокки дель Неро. Зеркальце металась по комнатам, поспешно укладывая их вещи в большие кассоны — сундуки, обычно предназначавшиеся для приданого невесты. Несмотря на отказ принцессы бежать немедленно, она хотела, чтобы к быстрому отъезду было уже все готово. Кара-Кёз встала у открытого окна. Легкий бриз доносил до ее ушей обрывки разговоров, и вскоре она услышала слова, которые и ожидала услышать. Они означали, что дольше оставаться в городе опасно. И все же она медлила.

Ведьма! Она его околдовала. Она легла с ним и наслала на него порчу. До того он был здоров. Это колдовство. Это она наградила его дьявольской хворью. Ведьма, ведьма, ведьма!

К тому времени, когда отряды флорентийской милиции торжественным маршем приблизились к стенам города, Лоренцо Второй уже умер. В бою при Чизано-Бергамаско флорентийцы одержали решительную победу, несмотря на временный шок, вызванный попыткой нападения серба Константина на их доблестного командующего в самый разгар сражения. Константин с шестью сообщниками трусливо атаковал с тыла. Первая пуля попала Аргалье в плечо и выбила его из седла, что, собственно, и спасло ему жизнь. Вокруг упавшего лошади сбились в кучу, и это не позволило предателям сразу до него добраться. Три оставшихся в живых швейцарца тотчас устремились на выручку своему командиру, и после жестокой рукопашной схватки порядок был восстановлен. Константин остался лежать на поле боя, пронзенный копьем, но пал и Ботто. К ночи французов обратили в бегство, но эта победа не принесла радости Аргалье: от его верной сотни в живых осталось менее семидесяти человек. Приближаясь к городу, они увидели везде огни, подобно тому как это было в день избрания Папы Римского, и, чтобы выяснить, в чем дело, Аргалья отправил вперед гонца. Тот вернулся с вестью, что Лоренцо мертв и что взбудораженные толпы винят в случившемся Кара-Кёз: говорят, будто бы именно она наслала на него заклятие такой силы, что смертельная болезнь, начав с гениталий, накинулась на него как дикий зверь и сожрала за одну ночь. Аргалья поручил Отто, одному из двух оставшихся в живых швейцарцев, быстрым маршем сопроводить отряды милиции в казармы, сам же с Клотто и янычарами, не обращая внимания на боль в плече, понесся со скоростью ветра к Палаццо Кокки дель Неро. А ветер в ту ночь и вправду достиг ураганной силы: на всем пути им попадались вывернутые с корнем оливы; он играючи поднимал в воздух стволы дубов и каштанов. И чем ближе они подъезжали, тем слышнее становился глухой гул. Пошуметь флорентийцы умели и любили, но в этом гуле не слышалось радости. Скорее он напоминал вой обезумевшей волчьей стаи.

От чародейки до ведьмы поистине всего один маленький шаг. Еще вчера ее считали неофициальной святой — покровительницей города, сегодня же у ее порога бушевала разъяренная толпа. «Выход в переулок все еще открыт для нас, Анджелика», — сказала Зеркальце. «Нет. Будем ждать», — ответила Кара-Кёз. Она сидела на жестком стуле у окна в парадном зале и краешком глаза, стараясь оставаться невидимой, следила за происходившим на улице. Но вот она услышала стук копыт и поднялась. «Он здесь», — выговорили ее губы. Так оно и было — Аргалья прибыл.

Перед Кокки дель Неро Виа Порта Росса расширилась, переходя в небольшую площадь, образованную с одной стороны дворцом семейства

Давицци, а с другой — увенчанным башенками домом Форези. Аргалью и его янычар на подъезде к площади встретила толпа охотников за ведьмами, но перед вооруженными людьми они расступились. Когда небольшой отряд подъехал к воротам, янычары оттеснили собравшихся, и лишь тогда ворота открылись. «Зачем ты защищаешь эту ведьму?» — крикнул кто-то из толпы. Аргалья даже не обернулся. И тот же голос крикнул: «Ты у кого на службе, кондотьер, — у народа или у своей похоти? На чьей ты стороне? На стороне города и его несчастного герцога или на стороне этой дряни, которая наслала на него болезнь?» И тогда, рывком развернув лошадь к толпе, он крикнул: «Я служу ей одной! Служил, служу и буду служить — понятно?»

Оставив Клотто и часть янычар снаружи, он в сопровождении тридцати всадников въехал во внутренний двор. Люди спешили и бросились к колодцу, и молчаливый дворец наполнился шумом — ржанием лошадей, звоном доспехов, криками отдававших приказы и тех, кто их исполнял. Засуетились слуги с прохладительными напитками для людей и кормом для лошадей. И Кара-Кёз, словно внезапно очнувшись от долгого сна, вдруг осознала всю меру опасности. Она стояла на площадке лестницы, выходящей во внутренний двор, Аргалья смотрел на нее снизу. Он был бледнее смерти.

— Я знала, что ты останешься жив, — проговорила Кара-Кёз. Про его рану она не упомянула.

— И ты... тоже должна жить. Толпа у ворот растет, — сказал Аргалья и не обмолвился ни словом о боли в правом плече и о жаре, который волнами расходился по всему телу. Не сказал, как застучало его сердце, когда он на нее взглянул. После долгой езды у него кружилась голова. Несмотря на бледность, кожа у него пылала. Он не произнес слово «люблю». В последний раз в его мозгу промелькнуло сомнение в том, стоило ли тратить свою любовь на женщину, которая позволяет себя любить, пока это нужно ей. Он отбросил все колебания. Единственный раз в жизни он позволил женщине овладеть собой и уже этим одним был счастлив. Задавать сейчас себе вопрос, заслуживает ли она его любви, не имело смысла. Его сердце уже давно ответило за него.

— Ты защитишь меня, — сказала она.

— Ценой жизни, — ответил Аргалья. Он почувствовал легкий озноб. Когда в битве при Чизано-Бергамаско его настигла пуля, то вслед за горечью от предательства Константина его посетила неожиданная мысль: по сути дела, его застали врасплох — точно так же, как на поле битвы при Чалдыране он сам поступил с шахом Исмаилом: пуля всегда сильнее меча.

Эпоха мушкетов и легкой в передвижении артиллерии не оставляла шанса для рыцаря с мечом и в доспехах. Такие как он, Аргалья, остались в прошлом. Он заслужил свою пулю — когда приходит новое, старое обречено на смерть. У него по-прежнему кружилась голова.

— Я не могла уехать, — сказала она, и в ее тоне было недоумение, словно она открыла для себя что-то новое, ей абсолютно несвойственное.

— Но сейчас тебе пора, — выговорил он, часто дыша.

Они не бросились навстречу друг другу. Не обнялись. Она вернулась в дом, нашла Зеркальце и произнесла сакраментальную фразу: «Теперь, Анджелика, давай готовиться к смерти».

Ночь полыхала пламенем. Бесчисленные языки огня взвивались к звездному небу. Было полнолуние. Огромная багровая луна висела низко, у самого горизонта, напоминая свирепый, красный от ярости глаз божества. Герцога не стало, и городом правили слухи. Согласно им, Папа объявил Анджелику грязной шлюхой и убийцей и уже послал в город одного из кардиналов для наведения порядка и расправы с распутной девкой. В народе еще была жива память о сожжении трех главных «плакальщиков» — Джироламо Савонаролы, Доменико Буонвичини и Сильвестро Маруффи, и теперь нашлись такие, которым не терпелось снова втянуть ноздрями запах плавящейся человеческой плоти. К полуночи толпа у дворца выросла втрое. Обстановка обострялась с каждой минутой. В окна дворца полетели камни. Горстка янычар под командой швейцарца Клотто еще сдерживала натиск, но даже янычары когда-то устают, к тому же среди них были раненые. Перед рассветом, когда толпа вроде бы чуть поутихла, пришло грозное известие: отряды флорентийской милиции, введенные в заблуждение неподтвержденными сведениями о том, что Папа будто бы проклял Анджелику, покинули казармы и направляются на Виа Порта Росса, чтобы присоединиться к толпе охотников за ведьмой. Узнав об этом, Клотто понял, что теперь все его братья уже мертвы, и решил, что настала пора присоединиться к ним и ему. «За швейцарцев!» — взревел он и с мечом в одной руке и ядром, утыканным шипами, на длинной цепи в другой врезался в толпу. Янычары глянули на командира с изумлением: у собравшихся людей, кроме камней и палок, другого оружия не было, — но Клотто уже ничто не могло остановить, кровавый туман застилал ему глаза. Люди падали и гибли под копытами коня, и захваченная врасплох, обезумевшая от страха толпа подалась назад. Затем, однако, наступил странный момент, который временами решает судьбу целых наций, — ибо когда у народа пропадает страх перед военной силой, это меняет картину мира. Внезапно толпа замерла, и Клотто, уже в очередной раз занесший

меч, понял: все кончено. «Янычары, ко мне!» — успел лишь крикнуть он, и в тот же миг раздался рев тысячи глоток, солдат накрыло словно морской волной: тысячи кулаков, тысячи рук хватали, били, осыпали их градом камней. Люди как кошки бросались на всадников и стаскивали их наземь; одни гибли, но на их месте появлялись сотни других. Вскоре все янычары оказались на земле, а горожан становилось все больше: они душили, давили и топтали уже мертвых, пока под их ногами не оказалось сплошное кровавое месиво.

Толпа расступилась, когда к Палаццо Кокки дель Неро прибыла милиция, но к тому времени из янычар в живых уже не осталось ни одного, а топорами павших пытались разбить три большие дубовые двери дворца.

Меж тем во внутреннем дворе Аргалья и его люди на конях и в полном вооружении замерли, готовые принять свой последний бой. «Самое постыдное, — подумал Аргалья, — погибнуть от рук тех, которыми командовал. По крайней мере этот позор мне не грозит. Мне есть чем гордиться. Верные товарищи останутся со мной до последней минуты». Но мысли о позоре и славе тут же пропали: для Кара-Кёз настало время исчезнуть, и нужно было прощаться.

— Как хорошо, что черни ума не хватает, — сказала она, — иначе Зеркальцу и Аго не удалось бы пробраться по аллее к заднему входу. Как хорошо, что я послушалась совета твоего Никколо, иначе у нас не было бы плана спасения, не было бы ни повозки, ни лошадей, ни пустых бочек, чтобы спрятаться.

— С самого начала нас было трое, — медленно проговорил он. — Антонино Аргалья, Никколо Макиа и Агостино Веспуччи. Нас трое и теперь, в самом что ни на есть конце. У Макиа вы получите самых быстрых лошадей. Уходите.

Он весь горел, рана болела нестерпимо, озноб сотрясал его тело. Конец был близок. Долго ему на лошади не удержаться.

Она все еще медлила и вдруг сказала:

— Я тебя люблю. *Умри за меня.*

— И я тебя. *Я уже умираю. Но умру за тебя.*

— Я никого не любила так, как тебя. *Умри ради меня.*

— Ты — любовь всей жизни моей. *Жизнь покидает меня, но вся, что еще есть, — твоя.*

— Позволь мне остаться. Отдай им меня, и все успокоятся. — И в ее голосе прозвучало изумление оттого, что она решилась такое предложить, позволила себе это почувствовать и сказать.

— Поздно, — отозвался он.

Последний бой «неустрасимых» и окончательный их разгром во время бунта на Виа Порта Росса произошел во внутреннем дворе Палаццо Кокки дель Неро, впоследствии получившего название Кровавый дворец. Ко времени окончания боя ведьма и ее пособница давно были в пути, и когда об их бегстве стало известно, гнев толпы внезапно иссяк. Люди, словно пробудившись от страшного сна, потеряли вкус к убийству. Они пришли в себя. Это была уже не взбесившаяся масса, а сборище горожан, где каждый наособицу. Они стали понуро расходиться, испытывая стыд за пролитую кровь. «Сбежала, и ладно», — сказал кто-то. Никто не кинулся вдогонку. Осталось одно — чувство стыда за содеянное. Когда посланник Папы прибыл в город, дворец уже стоял запертый, с опущенными шторами, на его дверях красовалась муниципальная печать. И более ста лет он был необитаем. Грудь потерявшего сознание от заражения крови Аргальи пронзила предательская пика флорентийского милиционера, и это ознаменовало конец эпохи великих кондотьеров.

А река Арно, словно под действием проклятия, оставалась без воды целый год и еще один день.

— Выходит, у нее не было детей. Как это прикажешь понимать? — спросил рассказчика Акбар.

— Я еще не закончил, — был ответ.

Начало светать, когда Никколо увидел вдалеке повозку, груженную бочками, с Аго вместо кучера. Он понял, что ловлю дроздов придется отложить до другого раза, поставил на место клетки и направился в конюшню. Он едва ли мог позволить себе такой щедрый подарок, как пара лошадей, но решился на этот шаг без малейшего сожаления. Как знать, может, благодаря именно этому поступку его имя запомнится людям. Запомнится как имя человека, который помог спастись от преследователей принцессе из славного рода Тамерлана, прозванной Флорентийской Чародейкой. Выходя из дома, Никколо крикнул жене, чтобы немедленно спустилась и приготовила запас еды и вина для долгого пути. По его голосу

Мариетта догадалась, что случилось нечто чрезвычайное. Она вскочила с постели без слова упрека, хотя кому понравится, когда его будят посреди ночи, да еще таким бесцеремонным образом. Аго с грохотом подкатил ко входу. Он тяжело дышал, вид у него был испуганный. Макиа вопросительно вскинул брови, вместо ответа Агостино Веспуччи ребром ладони резко провел по горлу. От волнения, от горя и страха из глаз его брызнули слезы.

— Да откупорьте же бочки наконец! — крикнула Мариетта. — Они, наверное, там все побитые и еле живые!

Аго сделал все возможное, чтобы облегчить беглянкам переезд: набросал в бочки подушек, устроил с боков подъемные дверцы, просверлил дырки, чтобы легче дышалось. Однако, несмотря на принятые меры, обе женщины выглядели неважно — с опухшими, красными лицами, и все в синяках и царапинах. Они с благодарностью приняли из рук Мариетты воду, но от пищи отказались — тряска не прошла для них бесследно. Затем они попросили отвести их туда, где можно было бы переодеться, и Мариетта проводила их в хозяйскую спальню. В руках у Зеркальца была небольшая сума, и когда спустя полчаса они вышли, то уже были одеты как мужчины: в короткие туники (у Кара-Кёз она была красная с золотом, у Зеркальца — синяя с белым), в панталоны из плотной шерсти и высокие замшевые сапоги. Талию перепоясывали ремни. У обеих волосы были коротко острижены и скрыты под плотно облегающими головы шапками. При виде туго обтягивающих бедра панталон Мариетта лишь охнула, но удержалась от каких бы то ни было замечаний, только спросила, не желают ли они все же перекусить перед дальней дорогой. Они ответили отказом, хотя и поблагодарили хозяйку за провизию — хлеб, сыр и холодное мясо, — после чего вышли из дома. Макиа и Аго уже ждали их. Аго снова занял место кучера. Бочек в повозке уже не было, зато там стояли два сундука и еще одна большая сума, где были сложены пожитки Аго и все деньги, которые ему удалось собрать, плюс несколько чеков на значительные суммы.

— В Генуе я смогу обменять их на деньги, — произнес он, преданно глядя на Кара-Кёз. — Вам нельзя путешествовать одним.

Она посмотрела на него широко раскрытыми глазами.

— Значит ли это, — произнесла она, — что, предвидя наши трудности, вы готовы без раздумий и проволочек бросить свой дом, свои дела, свою привычную жизнь и отправиться с нами навстречу неизвестности, где нас подстерегают, возможно, еще большие опасности?

Он кивнул:

— Да, я готов.

— Тогда с этой минуты мы принадлежим вам, — сказала она и взяла его руки в свои.

Макиа стал прощаться.

— Сначала нас было трое: Антонино Аргалья, Никколо Макиа и Аго Веспуччи, — сказал он старому другу. — Двое любили путешествия. Третий всему миру предпочитал свой родной город. И вот теперь один ушел навсегда, а другой все равно что в тюрьме. Мои горизонты сузились до размеров этой фермы, и на истории моей жизни скоро можно будет поставить точку. Ты же, мой Аго, мой милый домосед, готовишься отправиться на поиски нового мира. — Закончив свое краткое напутствие, он положил на ладонь Аго три сольди со словами: — Возьми. Я был тебе их должен.

Перед тем как повозка и два всадника скрылись за поворотом, рассветные солнечные лучи тронули поседевшие, редкие волосы на голове Аго и на несколько мгновений его голова снова стала золотой, как в детстве, когда он и Макиа впервые отправились на поиски знаменитого корня мандрагоры: сначала в дубовую рощу Каффаджо — родового поместья семейства Никколо, потом в долину около монастыря Санта-Мария дель Импрунета и даже в лес возле замка Биббионе.

Он потомок Адама, а не Мухаммада...

Он потомок Адама, а не Мухаммада — так объяснил ему Абул-Фазл. Авторитет, законность его бытия проистекают от того, что он ведет свое происхождение от первочеловека, отца всех людей. Для первочеловека нет ни религий, ни географических пределов. Он выше, чем владыка Персии, что правил до прихода мусульман; выше, чем хиндуистский чакравартин, движение колес колесницы которого правит мирозданием. Он — начало начал и царь царей. Отсюда следует, что человеческая природа, а вовсе не божественное провидение есть главная сила, которая движет и направляет историю. Именно ему, Акбару, как совершенной личности, дано право быть двигателем Времени.

Солнце еще не взошло, но Акбар был уже на ногах — бодр и полон идей. Погруженный в сумерки Сикри казался ему воплощением сокровенных тайн жизни, зыбким миром, полным вопросов, на которые ему надлежало отыскать ответы. Для него это было время медитации. Он не творил молитв. Правда, иногда посещал гробницу Чишти, но делал это ради того, чтобы спасти себя от ядовитой критики завистников, таких как Бадауни или наследный принц Селим. Тот был еще менее религиозен, чем отец, но принял сторону святош, для того чтобы досадить Акбару. В эти предрассветные часы, покуда солнце не накалило камни Сикри и страсти его жителей, император предпочитал размышлять о высоком, а не о таких банальностях, как наскоки принца Селима. Он предавался медитации еще и в полдень, и вечером, и около полуночи, но больше всего любил время перед рассветом, когда так хорошо думалось под негромкие звуки религиозных песнопений. Иногда он повелевал музыкантам умолкнуть, и тогда его обнимала тишина, нарушаемая лишь предрассветными голосами птиц.

Временами — поскольку он был человеком, обуреваемым многочисленными желаниями, — его посещали образы женщин: танцовщиц, наложниц, даже законных жен. Прежде чаще других ему являлась его драгоценная Джодха — ее дерзкие речи, ее прелести, ее искусство в любовных забавах. В глубине души он сознавал, насколько несовершенен сам, но ее почитал за совершенство. Красавица и умница, советчица и тигрица в постели, то есть все, о чем мужчина может только

мечтать. Она была его шедевром (так, по крайней мере, он считал долгое время), воплощенной мечтой, существом из мира *кхяла*, мира воображения, существом, которое ему удалось перенести в мир реальный. В последнее время, однако, кое-что изменилось. Образ Джодхи уже не столь часто являлся перед ним. Ее место заняла другая — скрытая принцесса Кара-Кёз. Он сопротивлялся этому наваждению изо всех сил, он отказывался подчиняться влечению сердца, понимая, что это влечение не имеет перспективы, ибо не может быть удовлетворено и, кроме того, во многих отношениях просто губительно. Он пытался уловить звуки будущего, она же была эхом давнего прошлого. Возможно, именно этой ностальгией по прошлому она так и манила его. В этом случае ее и в самом деле следовало считать опасной чародейкой, которая способна утащить его назад, и тогда прости-прощай все его начинания, его планы и надежды.

Она накличет на него беду. Утянет за собой в бредовый мир несбыточной любви; она поглотит его и отвратит от законности и порядка, от деятельности, от величия и от его предназначения. Быть может, именно за этим ее и прислали. Что, если и сам Никколо Веспуччи действительно, как полагает царица-мать Хамида-бану, враг, посланный приверженцами христианской веры; тайный ассасин, цель которого — сокрушить владычество его, императора Акбара, пленив его воображение этой запятнавшей свою честь и предавшей свой род женщиной? Никому не удастся взять Сикри с помощью прямого нападения, но, может быть, в том и состоит тайный замысел — подорвать его власть через него самого? Она — зло, она — это беда. Однако она являлась ему все чаще. К тому же она понимала многое из того, что было недоступно Джодхе, например ценность тишины. Не дразнила, не соблазняла, не заигрывала. Не хихикала и не пела. Она приносила с собой аромат жасмина и просто садилась рядом. Не прикасаясь, она вместе с ним молча смотрела, как занимается день, как наливаются алой краской линия горизонта на востоке. В этот момент они становились единым целым, подобного всепоглощающего чувства единения Акбар еще не испытывал ни с одной из женщин. Затем она с непередаваемой деликатностью неслышно удалялась, позволяя ему уже в полном одиночестве насладиться первыми ласкающими прикосновениями солнечных лучей.

Пожалуй, она все-таки не представляет для него опасности, думал тогда император и готов был доказывать это всем и каждому, как и то, что у человека, приведшего ее в Сикри, нет злого умысла. Да и как можно осуждать человека, движимого жаждой приключений, стремлением больше узнать и увидеть! А Кара-Кёз? Он еще не встречал женщин, подобных ей.

Пошла против общепринятых норм и правил, сама распорядилась своей судьбой, что дозволено лишь царям. (Мысль о том, чего могла бы достичь женщина, никогда не приходила ему в голову даже во сне.) Она пугала, она пьянила, она возбуждала и захватывала его воображение. Безусловно, Кара-Кёз — исключительная женщина; да и Могор дель Аморе тоже, вне всяких сомнений, человек незаурядный. Наблюдая его, испытывая его, император имел возможность удостовериться в его достоинствах. Разумеется, он не враг, и его следует поощрять, а не поносить.

Акбар усилием воли заставил себя направить мысли в нужное русло. Он признался себе, что отнюдь не совершенен, Абул-Фазл ему просто польстил, но эти льстивые речи привели к тому, что Могор дель Аморе называл сетью парадоксов. Возвышение человека до статуса божества, наделение его абсолютной властью и одновременное утверждение, будто не боги, а именно люди есть истинные вершители судеб, создавало противоречие, не выдерживающее никакой критики. К тому же примеры вмешательства веры в ход событий встречались сплошь да рядом. Он до сих пор не мог забыть самоубийство дивноголосых сестер Таны и Рири, которые предпочли смерть предательству веры предков. Ему не хотелось, чтобы его считали божеством. Возможно, не будь божества, людям было бы легче разобраться в том, что есть благо. По правде говоря, преклонение перед высшими силами, безоговорочный отказ от собственного «я» — ложный, уводящий от реальности путь. Если и усматривать в чем-то высшее благо, то уж, конечно, не в ритуале, не в слепом преклонении перед провидением, а в трудных, полных заблуждений поисках своего личного или общего для всего человечества пути.

Правда, он тут же поймал себя на другом противоречии. Он не желал, чтобы его считали божеством, и в то же время искренне верил в свое право на абсолютную власть. Но тогда получалось, что посетившая его странная мысль о благе неподчинения просто кощунственна. Его власть над жизнями других основывалась на праве сильнейшего. Чья власть, тот и прав — именно этот принцип должен быть основополагающим для любого реалистически мыслящего государя, все прочие рассуждения, в том числе и на тему добродетели, являются не более чем удобным прикрытием. Победивший и есть обладатель всех добродетелей, и этим все сказано. Да, различия в статусе существуют, как существуют и мятежи, и самоубийства, но мятежи должно подавлять, и лишь в его власти казнить или помиловать. Только что делать со странным внутренним голосом, нашептывающим ему по утрам о гармонии? Эти мысли не имели ничего общего с нелепой проповедью мистиков о единой человеческой сути. Они были куда более

пугающими, они были о том, что в конечном счете различия во мнениях, противодействие привычному, иконоборчество и вольнодумство имеют свою положительную сторону и могут послужить во благо. Государю не должны приходить в голову подобные мысли.

Акбар вспомнил герцогов из далекой страны, о которых рассказывал Могор. В своей власти они тоже опирались отнюдь не на божественное провидение, а на право сильнейшего. Тамошние философы представляли человека непременно в его принадлежности к конкретному времени, стране, городу, вероисповеданию. Однако глупо было с их стороны наделять своего бога человеческой сущностью. Они прибегли к этой уловке, чтобы присвоить себе его право принимать любые решения, хотя использовали это право в самых низменных целях — для закрепления своей земной власти. Слепцы! Как ничтожны все эти герцоги и папы, царьки какой-то там Тосканы или Римской епархии, и сколь несоразмерно высоко их мнение о самих себе! Его собственные владения простираются на все стороны света, и, естественно, кругозор у него значительно шире, чем у них, подумал Акбар, но тут же устыдился и признал, что это отдает фанатизмом. Прав был Могор, когда сказал: *Проклятие рода человеческого не в том, что все люди разные, а в том, что все они похожи друг на друга.*

Луч солнца лег на ковер, и Акбар поднялся. Настало время подойти к главному окну, *джарокхе*, и принять приветствия народа. Сегодня толпа настроена празднично (в этом его народ был таким же, как и в той далекой стране, по улицам которой император разгуливал во сне, — его люди любили и умели веселиться), потому что сегодня, пятнадцатого октября по солнечному календарю, был день рождения их повелителя. Сегодня Его Императорское Величество взвесят двенадцать раз, употребив вместо гирь, в числе прочих предметов, золото, шелк, благоуханные эссенции, медь, топленое масло, железо, зерно и соль, после чего посланцами каждой из обитательниц гарема ему будут поднесены дары. Затем всех скотоводов наградят овцами, козами и курами в количестве, соответствующем возрасту императора. Часть животных, предназначенных на убой, выпустят на свободу и дадут шанс остаться в живых. Позже, уже на женской половине дворца, ему предстоит принять личное участие в завязывании очередного узла на «нити жизни», где каждый узел обозначал еще один прожитый им год. И сегодня же он задумал огласить свое распоряжение относительно чужестранца, называющего себя Могор дель Аморе.

Этот человек будил в императоре целую гамму чувств: тут были ирония и любопытство, разочарование и недоверие, удивление, изумление и раздражение, радость и черные подозрения, симпатия и досада. Однако

следует признаться, что в последнее время преобладающими оказались приязнь и восхищение. Однажды ему пришло на ум, что, как правило, подобные переживания характерны для родителей в отношении собственных детей. Правда, что касается его сыновей, то моменты ощущения внутренней близости были крайне редкими, тогда как разочарования и черные подозрения присутствовали, можно сказать, постоянно. Наследный принц плел против него козни чуть ли не с колыбели, и все трое были порочны до мозга костей, в то время как человек, преподнесший ему историю Кара-Кёз, был неизменно почтителен, явно умен, бесспорно смел и вдобавок удивительный рассказчик. С недавних пор у Акбара в отношении сего обаятельного чужестранца, который столь непринужденно вошел в придворную жизнь, что все воспринимали его как равного, возник некий довольно рискованный план. Правда, принц Селим его не выносил, точно так же, как и фанатик Бадауни, чье тайное сочинение, полное яростных выпадов против императора, с каждым днем распухало, меж тем как его автор тощал день ото дня, однако враждебность этих двоих скорее укрепляла императора в его решении относительно Могора. Чужеземец вызывал подозрение у царицы-матери и у его главной из реально существующих жен, Мириам уз-Замани, но обе они отличались полным отсутствием воображения и всегда противились вторжению мечты в действительность. Свои неподобающие идеи насчет Могора император вынашивал уже довольно давно и, чтобы посмотреть, что из этого может получиться, с некоторых пор стал привлекать Могора к обсуждению вопросов государственной важности. Желтоволоосый чужеземец с поразительной быстротой освоил сложную систему *мансабдари*, лежавшую в основе управления империей. От ее функционирования зависело благополучие государства. Она была построена по принципу многоступенчатой пирамиды. За каждую ее ступень отвечал чиновник, обладавший властью и рангом в соответствии с высотой этой ступени. В его обязанности входило содержание людей, лошадей и войска для надлежащего управления, за что он получал в личную собственность некую территорию, которая служила для него источником доходов. Могор буквально за несколько дней умудрился разобраться в табели о рангах и обязанностях всех этих господ, а их было тридцать три — от принцев, в распоряжении каждого из которых находилось десять тысяч воинов, до самых незначительных чиновников, имевших в подчинении не более десятка человек. Вдобавок он досконально изучил деятельность каждого из этих людей, так что взял на себя смелость давать советы императору, кто из них заслуживает поощрения, а кто явно

не справляется. Именно чужеземец предложил Акбару внести в эту структуру такие изменения, которые обеспечили бы ее стабильность на ближайшие полтора года. До сих пор держателями постов *мансабдаров* были люди, принадлежавшие к определенным тейпам — родам: туранцы и выходцы из Центральной Азии, главным образом из районов Ферганы и Андижана, или же персы. Самой многочисленной группой по-прежнему оставались туранцы, но при новом распределении должностей за ними была сохранена лишь треть уже имевшихся. Таким образом, при новой системе ни один из тейпов не мог навязывать свои условия остальным, и они были вынуждены приходиться к некоему соглашению, чего и требовалось достигнуть. Это именовалось *сулх-и-кул* — полное согласие. Все дело сводилось к правильному перераспределению полномочий.

Предложенная Могором реформа показала, что его таланты не ограничиваются умением показывать фокусы и рассказывать забавные истории, и приятно удивленный этим император решил проверить его способности в других областях, таких, например, как воинское искусство и всякого рода спортивные игры. Оказалось, что Могор — прекрасный наездник и без усилий держится в седле, сидя спиной к голове коня; что его стрела попадает в цель без промаха, а его меч легко отражает любые выпады. Местные языки и наречия он освоил уже давно, а теперь стал еще и первым среди любителей предпочитаемых при дворе игр, таких как *чхандал-мандал* и *ганджифа*. В последнюю Могор внес разнообразие тем, что во время игры с императором он, исходя из цвета и изображения на карте, принялся сопоставлять их значение с именами реальных персон. Так, самая старшая карта, *Ашванати*, то есть «владеющий конями», стала у него представлять, разумеется, самого Акбара. *Дханапати*, то есть «казначей», естественным образом наводила на мысль о советнике по финансам, Тодаре Мале; *Тийяпати*, или «госпожой птичек», само собою, следовало считать дражайшую Джодха-баи. Имя раджи Мана Сингха получила карта, именуемая *Далпати*, то есть «военачальник». Что же до Бирбала, самого близкого государю человека и первого среди равных, то ему больше всего подходило именоваться *Гарханапати*, или «комендант крепостей». Акбара чрезвычайно позабавила подобная интерпретация. «Ну а тебе, любезный Могор, думаю, в этой колоде тоже должно сыскаться место. Полагаю, быть тебе *Ансарапати* — главою небесных магов и музыкантов». И тут Могор осмелился на весьма рискованное сопоставление: «Не кажется ли тебе, о Джаханпана, что карте *Ахипати*, то есть „владыка змеев“, подошло бы имя твоего наследника, принца Селима?»

Одним словом, решил Акбар, чужестранец обладает всем набором

качеств человека незаурядного. «Забудь пока что про свои байки. — изрек император. — Тебе требуется досконально ознакомиться с тем, как тут у нас все устроено». В соответствии с высочайшим повелением Могора отправили под начало Тодара Мала, а затем Мана Сингха, чтобы он постиг тайны ведения торговых и финансовых операций и управления войсками. Когда же Бирбал предпринял очередную инспекцию крепостей Читор, Мехран, Аджмер и Джайсалмер, дабы выяснить, как обстоят дела с союзниками и зависимыми князьями в той части империи, Могора отправили с ним в качестве личного адъютанта. Он вернулся из этой поездки пораженный неприступностью крепостных сооружений, роскошью дворцов и выражением величайшей покорности со стороны местных владык.

Бежали месяцы, шли годы, и люди перестали видеть в этом высоком человеке с желтыми волосами чужака. Он сделался советником и доверенным лицом Великого Могола. «Остерегайся Владыки Змеев, — как бы между прочим заметил однажды Акбар. — Нож, который он мечтает вонзить мне в спину легко может угодить в тебя».

И тут погиб Бирбал.

Император потом винил себя, что, последовав совету Могора, позволил другу возглавить карательную экспедицию. Дело в том, что распространение культа *раушани*, стремительное увеличение числа так называемых «осененных благодатью», Бирбал воспринял почему-то как личное оскорбление, — вернее сказать, как оскорбление своего государя. Их лидер Баязид изготовил из индуизма и ислама абсолютно неудобоваримое пантеистское блюдо. Бирбал нашел его отвратительным. «Поскольку Всевышний всё и вся, то, по их „просвещенному" мнению, все, что происходит, — это его божественная воля и нет разницы между добром и злом, а значит, можно творить что вздумается! — негодовал он. — Извини, Джаханпана, но этот ничтожный пес войны насмехается над тобой. Твое великое стремление воссоединить все религии он гнусно исказил, и это бросает тень на тебя. Даже если бы он не грабил и не разбойничал, как последний подонок, лишь за одно это его следует примерно наказать. Правда, грабеж, по мнению этого прохвоста, вещь вполне допустимая. Еще бы, ведь эти раушани считают себя избранными, теми, кого Всевышний назначил в преемники своей власти на земле, и что с того, если им захотелось попользоваться этой властью сегодня, раньше назначенного срока!»

Идея о грабеже как форме исполнения религиозного долга, допускавшая, чтобы «избранник Божий» считал награбленное даром небес,

показалась весьма и весьма соблазнительной афганским горным племенам, и культ стал быстро набирать силу. Сам Баязид внезапно умер, и лидером раушани был объявлен его шестнадцатилетний сын, Джелаль-ад-дин. Эта новость привела Бирбала в бешенство, ибо этим именем при рождении нарекли императора Акбара. Это совпадение еще более усугубляло в глазах Бирбала вину приверженцев культа раушани. «Пришла пора, о Джаханпана, наказать их по заслугам за все эти оскорбления». И Акбар, которого немало позабавила неожиданная для такого мирного человека, как Бирбал, вспышка гнева, решил уступить его настояниям, хотя на этот раз не позволил Могору сопровождать его. «Для схватки с афганцами наш „сын любви“ еще не созрел, — сказал он. — Пусть останется и развлекает нас», — добавил император, чем вызвал веселый смех придворных.

Однако поход обернулся делом далеко не шуточным. Горные перевалы сделались практически недоступны, и вскоре после того как Бирбал прибыл с отрядом, дабы проучить непокорного, на перевале Маландрай на него было совершено нападение. Впоследствии злые языки болтали, будто Бирбал, пытаясь спасти свою жизнь, бросил отряд и бежал, но император был уверен, что эти слухи распускают предатели. Он подозревал, что к гибели Бирбала приложил руку принц Селим, но никаких доказательств его причастности к этому обнаружено не было. Тело Бирбала так и не нашли. Восьмитысячный отряд его был уничтожен полностью.

Еще много дней после трагедии на Маландрае император пребывал в горькой печали, отказываясь принимать пищу, и бродил словно потерянный. Своему ушедшему другу он посвятил следующие строки: *Ты отдал сирым все что мог, Бирбал! Когда же сиротой стал я сам, то оказалось, что для меня в твоей казне ни гроша не осталось.* Это был первый и последний случай в его жизни, когда Акбар упомянул о себе в форме первого лица единственного числа, то есть не как об императоре, а просто как о человеке, горюющем о друге. Траур по Бирбалу еще продолжался, когда император отправил Тодара Мала и Мана Сингха на подавление мятежа сторонников раушани. Бесцельно переходя из одного дворца в другой, он остро ощущал пустоту, возникшую из-за отсутствия трех из Девяти Жемчужин своего двора. Он еще больше приблизил к себе Абул-Фазла и все чаще полагался на его суждения, но по-прежнему его преследовала одна и та же кощунственная идея, которой он пока что ни с кем не делился, хотя прошло уже восемь месяцев со дня гибели Бирбала. Акбар обдумывал ее и теперь. Направляясь к весам в свой сорок четвертый день рождения, он пытался найти ответ на вопрос, следует ли ему официально объявить Могору дель Аморе, он же Никколо Веспуччи,

краснобая и выдумщика, нагло заявившего, будто он приходится императору дядей, но также выказавшего блестящие деловые качества и завоевавшего его доверие и симпатию, своим приемным сыном? Титул *фарзанд*, или «почетный сын», был одним из самых редких, которые когда-либо использовались. Он подразумевал множество привилегий и означал, что его носитель входит в число самых близких императору персон. Достоин ли этот проходимец, по возрасту скорее годившийся ему в младшие братья, чем в сыновья (а тем более в дядья) столь привилегированного титула? И — что гораздо более существенно — как это будет воспринято остальными?

Акбар показался в окне и был встречен приветственными криками толпы. Кстати сказать, Могор тоже пользовался любовью жителей Сикри. В значительной мере, как догадывался император, это в равной степени было связано и с процветанием принадлежавшего ему Дома Сканды, где хозяйничали Скелетина и Матраска, и с легендой о Кара-Кёз. Легенда о скрытой принцессе давно стала неотъемлемой частью столичного фольклора, и с годами интерес к ней не угасал. В народе знали, что его сыновья ни на что не пригодны, так что будущее династии под угрозой. Согласно легенде, в те времена, когда его предок Тимур был просто разбойником и бродил по дорогам под видом погонщика верблюдов, ему повстречался факир, который попросил у него воды и пищи. «Дай мне пропитание, взамен я подарю тебе царство», — сказал факир. Тимур удовлетворил его просьбу, после чего тот накрыл Тимура своим плащом и стал шлепать его. После одиннадцатого удара разъяренный Тимур скинул плащ, и тогда факир сказал: «Если бы потерпел еще, то и династия твоя удержалась бы дольше, а так на одиннадцатом твоём потомке ей придет конец». Акбар был восьмым, так что если верить легенде, то Моголам оставалось царствовать еще целых три поколения. Однако следующее поколение было весьма ненадежным: все трое его сыновей — законченные пьяницы, к тому же один из них неизлечимо болен, а Селим... Страшно подумать, что такое его Селим. Сидючи на Весах жизни, Акбар, пока вес его определяли в рисе и молоке, думал о будущем. Позднее он прошелся по мастерским художников, ювелиров и скульпторов, но его мысли были далеко. Он не расслабился даже в гареме, в многоруком кольце податливой женской плоти. Он смутно чувствовал, что достиг поворотного момента в жизни, и этот момент каким-то образом связан с его решением по поводу чужеземца. Допустить его в ближний круг значило сделать первый реальный шаг к воплощению идеи Абул-Фазла о нем самом как о владыке мира. Это означало, что тем самым он готов воссоединить всех живущих на

этой земле и на территориях, пока еще неведомых, но которые в будущем войдут в состав его империи. Если один выходец из чужого мира стал Моголом, то почему бы со временем и всем прочим не последовать его примеру? К тому же это был бы еще один шаг к созданию единого поля культуры (его заветная идея, столь превратно понятая и искаженная деятельностью приверженцев культа раушани). Это означало бы воплощение в жизнь его мечты о том, чтобы все религии и расы, племена и народности внесли свою лепту в виде лучших достижений в науках, искусствах и ремеслах, со всеми предпочтениями, с разногласиями мнений и со спецификой взглядов на любовь, в грандиозный процесс единения под эгидой Моголов. Все эти доводы говорили в пользу того, что присвоение Могору титула *фарзанда* есть акт, долженствующий свидетельствовать о дальновидности императора и его уверенности в себе.

Но что, если этот шаг будет воспринят как проявление слабости? Как склонность к самообману, как мягкотелость или малодушие? Что, если скажут, будто он поддался влиянию проходимца и болтуна, о котором не известно ничего, кроме путаной и хронологически весьма сомнительной истории, им же самим и рассказанной? В таком случае наделение его официальным статусом, по сути дела, будет означать, что истина не столь уж существенна и в принципе неважно, является ли его история правдивой или это ловкое вранье. Разве не следует государю быть более осмотрительным и воздержаться от столь явного пренебрежения истиной? Разве не следует, хотя бы на словах, защищать истину как высшую ценность и лгать, прикрываясь ею, когда он сочтет это ненужным? Одним словом, не стоит ли ему действовать более трезво и не поддаваться несбыточным мечтам и фантазиям? Быть может, ему в его статусе дозволено мечтать лишь об одном — об укреплении своего могущества. Пошло ли на пользу его власти возвышение иноземца? Может, пошло, а может, и нет.

Помимо всех этих соображений были еще и другие, пожалуй даже более важные. Они касались мира магии, который для всех был не менее значим, нежели мир реальных вещей. Всякий день позволяя себя лицезреть в окне, он сам удовлетворял эту всеобщую жажду магического действия. Там, среди тех, кто стоял под окном, были слепо верившие в него, в чудодейственную силу его глаз. Уже стали распространяться легенды о чудесных исцелениях, дарованных одним его взглядом. Сюда, под его окно, приводили и приносили больных, увечных и умирающих. Считалось, что если его взор упадет на одного из тех, кто смотрит на него и верует, то этот человек непременно исцелится. Люди утверждали, что со взглядом

император дарит взирающему на него часть своей силы, ибо один из непреложных законов магии заключается в том, что обладатель большей магической силы — император, колдун или ведьма — подчиняет себе того, у кого ее недостаточно.

Законы магического воздействия нарушать не следовало. Тебя бросила женщина? Это значит, что либо у тебя не хватило сил приворожить ее, либо другой нашел более могучее средство, или же кто-то наслал проклятие на ваш союз. Твои дела идут хуже, чем у твоего друга? Значит, он обратился к более знающему чародею, чем ты. Здравый смысл Акбара противился вере в подобную чепуху: ну не ребячество ли полагать, будто кто-то знает про тебя больше тебя самого, и вверять свою судьбу кому-то со стороны? В своих претензиях ко Всевышнему император руководствовался той же логикой: вера лишала человека права на формирование себя как личности. Однако с магией шутить не следовало, и лишь недалекий правитель мог позволить себе подобное. Религию можно видоизменить, реформировать, быть может, даже обойтись без нее вовсе, но веру в колдовство победить невозможно. В конце концов, именно в силу этого история Кара-Кёз так легко и быстро пленила воображение жителей Сикри. И не только их; ее очарованию поддался и он сам, Великий Могол, тот, кого величали хранителем вселенной.

В отношении чужеземца Никколо Веспуччи, присвоившего себе имя Могор дель Аморе, деликатные моменты магического сводились к следующему. Надлежит ли считать его появление среди них проклятием или благословением? Приведет ли его возвышение ко благу для империи или же будет воспринято некими могущественными темными силами как вызов и навлечет на страну неисчислимы бедствия? И наконец, следует ли воспринимать чужеродное как фактор положительный, обеспечивающий устойчивость и процветание, или же допущение чуждого элемента нарушает что-то чрезвычайно существенное как для отдельного человека, так и для общества в целом, и может явиться толчком для начала упадка, который неизбежно приведет его страну к скоротечному концу? Император искал ответы на эти вопросы у множества мудрых людей отдаленных земель; он советовался с хиромантами и астрологами, ясновидящими, мистиками и святыми людьми разного толка, благо в столице, а особенно возле гробницы Чишти, их обреталось великое множество, но советы были противоречивы. Мнением соплеменников Веспуччи, европейских проповедников Аквавивы и Монсеррата, император не поинтересовался, прекрасно зная, что оба они настроены враждебно к Могору. И Бирбала, его дорогого друга, больше не было рядом.

В результате он остался один на один с самим собой. Решать предстояло ему, и никому другому.

День кончился, а он так и не принял решения. В полночь под узким серпом месяца Акбар, как обычно, предался медитации, и тут в серебристом сиянии к нему явилась Она и тихонько присела рядом.

Теперь Джодху видели очень немногие. Разумеется, ее видели обслуживавшие ее люди, поскольку именно от нее зависело их существование, однако другие жены, которых она прежде раздражала донельзя, перестали ее замечать. Джодха понимала, что с ней происходит что-то нехорошее, и ей было страшно. Она слабела день ото дня, а иногда на какое-то время впадала в забытие: уходила и снова возвращалась, словно догорающая свеча, которая то гаснет, то вспыхивает снова. Бирбала больше нет, скоро придет и ее черед, думалось ей. Все вокруг менялось — и менялось к худшему. Император посещал ее все реже, а когда это случалось, бывал рассеян. Ей казалось, что, деля с ней ложе, он думает о ком-то другом.

Евнух и тайный шпион Акбара, Умар Айяр, который знал обо всем, даже о том, что еще не случилось, застал ее на втором этаже, в Зале ветров — доступном дуновению воздуха покое, три стены которого представляли собой *джали*— резные решетки из камня. Это было на следующий день после празднования сорокачетырехлетия императора. Обычно плавно и грациозно двигавшийся, невозмутимый Айяр был явно возбужден и излишне суетлив. Казалось, его распирало от важности новостей, с которыми он явился. «Приготовься. Тебе предстоит важная встреча, — начал он. — Сейчас тебя посетят супруга и царица-мать нашего божественного халифа, несравненного алмаза и хранителя справедливости».

Мириам уз-Замани из Амбера — раджпутскую княжну из рода Качхвахов, мать наследника — именовали Мириам Предвечной, а царицу-мать Хамиду-бану называли Мириам Хранительница Домашнего Очага. Что ж до других эпитетов, то все они относились к единому в трех лицах императору Акбару.

Только нечто из ряда вон выходящее могло заставить этих двух царственных женщин, которые не замечали ее годами, вдруг навестить ее,

решила Джодха. Она поднялась, почтительно сложив вместе ладони рук, опустила глаза и стала ждать.

Когда они явились, вид у обеих был несколько смущенный и не слишком дружелюбный. Фатимы-биби, постоянной спутницы и эха Хамиды-бану, в этот раз с ними не было, поскольку она недавно отошла в мир иной. К тому же дамы намеренно запретили себя сопровождать кому-либо. Айяр был не в счет — свое умение хранить чужие тайны он доказывал не единожды. Женщины растерянно принялись оглядываться по сторонам.

— Где же она? — прошипела Хамида-бану, обращаясь к Айяру. — Ушла, что ли?

Айяр молча повел головой в ту сторону, где стояла Джодха. Царица-мать была озадачена, а ее более молодая спутница, презрительно фыркнув, повернулась туда, куда указывал Умар, и заговорила первой. Она произносила слова громко и отчетливо, словно обращалась к неразумному дитяти:

— Я в замешательстве, потому что говорю с женщиной, которая не существует, чье отражение нельзя увидеть даже в зеркале. Говорю с пустым местом. Я здесь с матушкой императора, вдовой, а прежде старшей и самой любимой подругой дарующего отпущение всех грехов, хранителя мира Хумаюна, ныне пребывающего в Джанне — райском саду. Мы здесь потому, что императору, сиятельному сыну Хамиды-бану и моему августейшему супругу, грозит зло большее, чем ты. Мы с ней подозреваем, что он подпал под воздействие чар иноземца Веспуччи, злокозненного пособника Сатаны, который прислан к нам, дабы нарушить наш покой и лишить могущества. Его чары отнимают у императора мужество, и его рассудок под угрозой, а это, в свою очередь, может погубить империю и соответственно приведет к гибели всех нас. Ты и сама, верно, слышала, что это за наваждение, — похоже, все в Сикри уже знают о нем, — это призрак пресловутой скрытой принцессы Кара-Кёз. Мы признаём, — продолжала Мириам Предвечная и запнулась, потому что ей предстояло сказать нечто, ущемлявшее ее самолюбие, — что император по каким-то причинам предпочитает тебя всем прочим... подругам (заставить себя назвать Джодху царицей или супругой она так и не смогла), и мы надеемся, что, понимая, в какой опасности находится наш господин, ты не откажешься исполнить свой долг. Одним словом, мы ждем, что тыпустишь в ход все свои чары, дабы избавить его от наваждения, от грязного желания, которое сумело внушить ему это исчадие ада в образе женщины. Мы здесь для того, чтобы помочь тебе, чтобы рассказать тебе обо всех ухищрениях и способах,

посредством которых женщины привязывают к себе мужчин. Будучи мужчиной, император их не знает и потому неспособен рассказать про них тебе, сотворенной по его капризу и абсолютно неуловимой женщине. Ты наверняка прочитала все, что об этом написано, однако есть вещи, о которых не писали, с незапамятных времен их передавали только шепотом — от матери к дочери. примени то, о чем мы тебе расскажем, и, возможно, нам удастся помешать победе демоницы над владыкой Фатехпур-Сикри. Ясно одно: она — злобный призрак, явившийся из прошлого, она жаждет отомстить за свое изгнание, увлечь нашего господина в давно минувшие времена и погубить, что будет означать и нашу гибель. Что касается меня, то я лучше умру, чем буду свидетельницей того, как творец чудес и держатель жизни, совершенный плотью и опора веры у меня на глазах влюбляется в предавшую род свой и к тому же давно умершую сестру своего деда.

— Вспомни, что случилось с Дешвантом, — раздался голос царицы-матери.

— Вот именно, — поддержала ее Мириам уз-Замани. — С исчезновением живописца еще как-то можно смириться, но мы никак не можем себе позволить потерять хранителя вселенной.

Обе высокие гости, как ни старались, не видели женщины, с которой вели беседу. Тем не менее они позволили себе, удобно расположившись на ее коврах и облокотившись на ее подушки, принять из рук ее служанок вино и приступить к рассказам. Их перестало занимать визуальное отсутствие хозяйки. Перебивая друг друга и потешаясь над абсурдными желаниями мужчин и не менее абсурдными уловками, к которым прибегали ради них женщины, они в конце концов стали вести себя так, словно были одни. Для них время словно повернуло вспять: они снова были молоды, вспоминая о том, как когда-то их суровые, властные матери, тоже смущенно хихикая, делились с ними этими секретами, и скоро комнату наполнили взрывы хохота, словно смеялись все поколения давно ушедших женщин. Смеялась сама История.

За подобными разговорами время пролетело незаметно, и через пять с половиной часов они решили, что для них это был один из самых счастливых дней в жизни. Изменилось и их отношение к Джодхе: они перестали воспринимать ее как нечто чуждое, созданное воображением императора. Они приняли ее в свой, женский, круг.

Стало смеркаться. Слуги внесли свечи, и в воздухе запахло камфарой. На задней, сплошной, стене зажгли светильники с фитилями, пропитанными хлопковым маслом, и в их свете тени двух женщин

затанцевали на резных решетках- *джали*. В этот момент на другой половине дворца фантазия императора, его *кхаял*, обрела окончательно и бесповоротно новый облик. Тихо охнул в Зале ветров евнух Умар, и спустя мгновение Мириам Предвечная и Мириам Хранительница Домашнего Очага увидели то, что уже увидел он: на решетчатых *джали* плясали уже не две, а три тени, и у них на глазах все четче, все яснее прямо из воздуха в клубящихся сумерках стала проступать фигура женщины. Губы ее слегка улыбались.

— Ты не Джодха! — пролепетала царица-мать.

— Верно, — проговорило видение, и ее черные глаза насмешливо сверкнули. — Джодха-баи ушла, она больше не нужна императору. Отныне подле него всегда буду я. — Это были первые слова, произнесенные ожившим призраком.

Несмотря на все предосторожности цариц, весть о замене фаворитки-призрака Джодхи-баи на призрак Кара-Кёз распространилась мгновенно. Некоторые сочли это решающим, последним доказательством того, что она и вправду жила на свете, потому что только жившая и умершая женщина может стать привидением; для других это стало лишним подтверждением внушаемой всем Абул-Фазлом идеи о божественном статусе императора, поскольку теперь к созданной им, не существующей женщине, которая двигалась, говорила и делила с ним ложе, прибавилась еще одна, возвращенная им из царства мертвых. Многие семейства, где родители, уверовав в легенду о скрытой принцессе, преподносили ее историю детям на ночь вместо сказки, пребывали в радостном ожидании того, что теперь, возможно, увидят эту сказочную принцессу воочию. Людей, наиболее приверженных традициям, уже занимал практический вопрос: они считали, что в могольской столице ей не пристало бесстыдно разгуливать по улицам с открытым лицом, как, согласно легенде, она делала это, когда жила в чужих краях.

Для того времени подобное доверчивое отношение к сверхъестественному вполне нормально, — это было еще до того, как реальность и чудо были разлучены и обречены существовать, сообразуясь с прихотью различных монархов и введенных ими правил. Необычным казалось другое, а именно полное отсутствие сочувствия к бесцеремонно

оставленной императором и униженной на глазах обеих цариц несчастной Джодхе-баи. Многие горожане довольно холодно относились к ней и раньше — за ее решительное нежелание покидать стены дворцов. Ее дематериализацию они расценили как заслуженное наказание за гордыню и высокомерие. Кара-Кёз сразу стала их любимицей, меж тем как Джодха-баи всегда была далекой от них царицей.

Все это императору было прекрасно известно через Айяра. Однако были в его донесениях и моменты настораживающие. Реакция на происшедшее оказалась неоднозначной. В поселении туранцев, в квартале персов и в колонии мусульман индийского происхождения было отмечено некоторое недовольство. Среди местных хинду, у которых божеств было неисчислимое множество, появление еще одного волшебного существа никаких отрицательных эмоций не вызвало. Еще бы — богов у них было чуть меньше, чем их самих, боги жили везде и во всем: в деревьях, в реках, в горах — всех мест и не упомнишь. Возможно, боги жили у них даже в отхожих местах и в мусорных кучах. Ну стало одним больше — какая разница... Там, где большинство исповедовало единобожие, дела обстояли гораздо хуже. Там начали поговаривать — причем так тихо, что это мог услышать лишь обладатель исключительно тонкого слуха, — будто император не в себе. В тайном сочинении главы «водохлебов» Бадауни, содержание которого по-прежнему еженощно инспектировал и заучивал слово в слово Умар Айяр, уже промелькнуло слово «безбожие», ибо если сотворение Джодхи еще можно было бы счесть неким личным опытом, поскольку в священных книгах нет запрета на воплощение в реальность своей мечты, то в случае с Кара-Кёз дело представлялось совсем в ином свете: лишь Всевышний обладал властью над жизнью и смертью, и ради собственного удовольствия возвращать женщину из царства мертвых являлось для человека актом кощунственным.

Слова из тайного дневника Бадауни вскоре начали повторять вслух его сторонники. Правда, употребить в данном случае слово «вслух» было бы изрядным преувеличением. Об этом шептались людишки самые мелкие и незначительные, те, с чьим мнением никто не считался, потому что, как говорилось при дворе Великих Моголов, «там лишь тот не упадет, кто уже ползет». И все же, как считал Айяр, повод для беспокойства имелся, потому что откуда-то снизу, с самого дворцового дна, доносился отдаленный гул — гул осуждения связи Акбара и Кара-Кёз. На том, нижнем, уровне Айяр уловил еле слышные шумы, которые и звуками-то трудно было назвать, — так, колебания воздуха при движении губ, едва смевших шевелиться, — поблизости всегда могло оказаться чье-то чужое ухо. В этих воздушных

вибрациях угадывалось слово со столь мощным зарядом, что могло нанести серьезный ущерб репутации императора, а вполне возможно, и поколебать его трон.

Этим словом было *кровосмешение*. Донесение Умара пришло как раз вовремя, потому что вскоре после появления в Сикри Кара-Кёз принц Селим покинул столицу и в Аллахабаде поднял знамя мятежа, в оправдание своего поступка обвиняя императора в безбожии и инцесте. Сам по себе мятеж выглядел довольно глупо — чтобы не сказать смешно, — хотя Селиму и удалось собрать тридцатитысячную армию. В течение нескольких лет он гарцевал по северу Хиндустана с угрозами скинуть с трона отца, но так ни разу и не осмелился выступить против Акбара в открытом бою. Правда, один удар своему отцу ему все-таки удалось нанести, и этот удар был страшен: он подстроил убийство самого близкого из оставшихся у Акбара советников. Именно его Селим считал главным источником дурного влияния, человеком, который подталкивал отца на свершение *богопротивных дел*, заставил его отвернуться от Аллаха и пророка его Мухаммада. Главная же его вина, по разумению принца, состояла в том, что он *постоянно отпускал язвительные замечания в адрес наследного принца*. Абул-Фазл погиб точно так же, как и Бирбал, — его предательски убили. Когда «алмаз Сикри» — Абул-Фазл следовал по территории Орчи, где правителем был сторонник Селима раджа Вир Сингх Де из Бунделькханда, принц дал знать своему приспешнику, что больше не желает видеть Абул-Фазла в живых. Раджа тут же подчинился. Безоружному министру отрубили голову и отослали ее принцу в Аллахабад, а он, с присущим ему тактом и стилем поведения, велел бросить ее в сточную канаву.

Умар Айяр, принесший весть о смерти Абул-Фазла, застал императора в Зале ветров. Выпивший слишком много вина Акбар полулежал на подушках, слушая любовные песни, которые пела ему под аккомпанемент *дилруб* Кара-Кёз. Ужасная новость подействовала на Акбара отрезвляюще. Он тут же вскочил и покинул Зал ветров, бросив на ходу Айяру: «С сего дня, Умар, мы намереваемся действовать как надлежит истинному правителю. Хватит с нас слюнтяйства и вздохов».

Государь не имеет права в своих действиях руководствоваться личной привязанностью или мстостью. Ему надлежит в первую очередь думать о том, что есть благо для его страны. Акбар знал, что двоих его сыновей пьянство лишило разума и сил и в любую минуту они могут умереть. Оставался только Селим. Что бы он ни совершил, лишь он один мог обеспечить продолжение династии. Исходя из этого Акбар направил к нему

гонца с обещанием, что не будет его наказывать за убийство Абул-Фазла, и с уверениями в любви к своему первенцу. Селим тут же решил, что правильно поступил, избавившись от Абул-Фазла: смерть этого разжиревшего хорька вернула его в объятия отца. Дабы умиловать владыку слонов, он послал ему в дар триста пятьдесят этих животных. Он согласился приехать в Сикри и в покоях бабушки Хамиды пал перед отцом на колени. Акбар поднял его и в знак прощения водрузил на его голову свой тюрбан. Жалкий юнец разрыдался.

Для Бадауни все кончилось по-иному. Он был брошен в самый вонючий каземат глубоко под землей, и никто, кроме его стражей, больше не видел его живым.

После смерти Абул-Фазла император сделался суров и строг. Вдруг до него дошло, что он совсем запустил дело, которому призван служить, — устройство жизни своего народа. Он запретил свободную продажу горячительных напитков. Теперь их можно было купить лишь по рецепту врача. Он объявил поход против бесчисленных проституток, которые заполонили город, словно стаи саранчи, и повелел выделить им специальное место за городскими стенами. Оно получило название Дьявольский стан, и теперь каждому, кто отправлялся в гости к дьяволу, было предписано сообщать у входа в эту обитель греха свое имя и место проживания. Он призвал народ воздержаться от употребления в пищу мяса коров, лука и чеснока и рекомендовал мясо тигра, ибо оно придает мужество и силу. Он провозгласил свободу отправления всех религиозных культов: пусть люди строят храмы и омывают фаллические символы Шивы — лингамы, — однако к отращиванию бород проявил меньшую терпимость. По его мнению, борода забирала силы у яичек — недаром у евнухов волосы не росли вообще. Он установил запрет на детские браки и высказался против сожжения вдов и рабства, а также против того, чтобы совершали омовение после полового акта. Наконец, он велел чужестранцу явиться к нему на встречу возле Ануп-Талао. Несмотря на отсутствие ветра, по водам Несравненного пруда гуляли волны — верный признак того, что спокойствие империи под угрозой.

— В отношении тебя все еще слишком много неясностей, — начал он раздраженно. — Мы не можем полностью довериться человеку, чье

прошлое туманно, так что сделай милость, реши, как с тобой быть дальше, куда повернуть твою судьбу — вознести ли тебя к звездам или повергнуть в прах. Будь честен и ничего не упускай. Считай, что сегодня для тебя Судный день.

— То, что я собираюсь рассказать, скорее всего вам не понравится, — ответил Могор. — Дело в том, что это будет касаться *Mundus Novus*, то есть Нового Света, и нечеткого характера времени на этом, не до конца отображенном на картах, крае Земли.

Там, за океаном, обычные представления о времени и пространстве теряли силу. Там пространство то вдруг разбухало, то съеживалось, и соответственно этому размеры вселенной то расширялись, то сокращались наполовину. Сведения относительно размеров этой земли, количества населяющих ее, их обычаев и образа жизни были разноречивы и поразительны. Так, например, сообщалось о летающих обезьянах и о змеях, длинных, словно реки. Что касается времени, то оно там вообще не подчинялось никаким законам. Мало того, что оно вело себя совершенно непредсказуемо, то замедляя, то убыстряя свой ход, так были еще такие периоды (хотя употреблять слово «период» в данном контексте вряд ли уместно), когда оно вообще останавливалось. Те из местных, кто с грехом пополам владел европейскими языками, утверждали, будто их мир не подвержен переменам, что он статичен, — жизнь там проходит *вне времени*, и их это устраивает. Вполне возможно, как искренне полагали некоторые философские умы, что понятие времени было завезено туда, наряду с ранее неизвестными там болезнями, европейскими путешественниками и переселенцами и поэтому еще не смогло приспособиться к местным условиям. «Со временем, — говорили местные, — у нас тоже время заработает как надо, а пока что с этим следует просто смириться». Эта хронологическая неразбериха привела к поразительному явлению: для разных людей и даже для членов одной семьи время текло с разной скоростью. Зачастую дети перегоняли родителей и становились стариками быстрее их. Завоевателям, морякам и переселенцам времени постоянно недоставало, меж тем как другие имели его в своем распоряжении сколько душе угодно.

Внимая рассказу Могора, император пришел к выводу, что мир

Дальнего Запада непостижим, полон абсурда и все, что там творится, выше понимания человека Востока, ведущего существование упорядоченно и однообразно. Здесь мужчины и женщины проживали жизнь в труде или в праздности, в нищете или в роскоши, умирали почетной или позорной смертью, верили и молились своим богам; они создавали великие сооружения, прекрасную поэзию, неповторимую музыку; как-то примирялись с условиями этой жизни, с ее разочарованиями и заблуждениями — одним словом, жили нормально. Похоже, всему виной переменчивая погода западных краев. Очевидно, из-за климатических условий жители тамошних стран подвержены истерии — вроде той, что охватила Флоренцию времен «плакальщиков», а потом, словно дурная болезнь, перекинулась на другие страны, в одночасье переворачивая всё вверх тормашками, меняя естественный ход вещей. Совсем недавний пример — приступ лихорадки, вызванный поклонением золотому тельцу. В последнее время именно золото стало для них движущей силой. Внутреннему взору Акбара представились западные храмы из чистого золота, с золотыми священниками, люди из золота, поклоняющиеся золотым богам и приносящие им золото, чтобы почтить божество. Они едят золото, они пьют золотое питье, и, когда плачут, жидкое золото течет по их блестящим щекам. Золото заставило их мореходов пересечь Великий океан, пренебрегая опасностью упасть за край вселенной. Золотоносная земля, которую они приняли за *Индию*, где, по их разумению, золота было не счесть.

Индию они не нашли, зато нашли Дальний Запад. И там, на Дальнем Западе, они отыскивали золото и расширили территорию поисков. Они желали еще и еще золота и наткнулись на людей, еще более странных и непостижимых, чем сами, — на мужчин и женщин в убранстве из костей и перьев, и назвали их *индейцами*^[53]. Акбар нашел это возмутительным: как смели они именовать так тех, кто приносил в жертву своим богам живых людей! Некоторые обитатели этого отдаленного конца Земли были просто дикарями, и даже головы тех, кто строил города и целые царства, были затуманены представлениями, замешанными на крови. Их бог был наполовину змей, наполовину птица; он был сотворен из дыма. Еще у них был бог-овощ и бог-зерно. Они болели сифилисом и верили, будто камни, дождь и звезды — живые существа. Они не были прилежными пахарями, они были ленивы и не верили в перемены. Посчитать подобных людей за жителей Индии, решил для себя Акбар, — оскорбление для благородных мужчин и женщин Хиндустана.

Император понял, что его интерес и сочувствие к Новому Свету и его

обитателям полностью иссякли. Его воображение отказывалось следовать за рассказом Могора. А тот продолжал говорить об островах, которые на поверку обернулись континентами, и якобы континентах, на самом деле оказавшихся островами. Там были реки и джунгли, были какие-то мысы и перешейки и черт знает что еще. Может, в тех местах водились гидры или драконы, которые сторожили груды сокровищ в глубинах лесов. Ну и пусть себе рыщут за ними всякие испанцы да португальцы. Мало-помалу до чудаков-европейцев стало доходить, что они открыли не Индию, а нечто совсем иное — не запад, не восток, а какие-то земли, лежащие где-то посередине между Западом, Гангейским морем^[54] и легендарным островом сокровищ Тапробаной^[55], за Хиндустаном и Катаем. Они открыли для себя, что вселенная больше, чем им представлялось. Они скитались по новым островам и новым кускам суши, гибли от цинги, глистов, малярии и чахотки. «Ну и удачи им всем!» Они ему надоели до смерти.

И все же... И все же именно туда отправилась эта сдвинутая принцесса из рода Тимура и Темучина, сестра Ханзады и Бабура. Его родная кровь. Ни одной женщине в целом мире, кроме нее, не довелось совершить подобное путешествие. За это он любил ее и восхищался ею, но в то же время был твердо уверен, что ее плавание через Великий океан было не чем иным, как умиранием, преддверием смерти, потому что и сама смерть не что иное, как отплытие в неизвестность. От знакомого и привычного она переместилась в мир нереальный и фантастический, который для большинства людей оставался всего лишь мечтой. Все дворцовые фантазмагии казались гораздо более реальными, чем эта женщина из плоти и крови, которая в далеком прошлом распростилась со знакомым ей миром — так же легко, как ранее порвала с семьей, — и пренебрегла долгом из эгоистических стремлений к счастью. Ее гнала вперед несбыточная мечта — вернуться туда, где она родилась, воссоединиться с утерянной частью своего прежнего «я». И она затерялась навсегда.

Дорога на восток была для нее закрыта. Из-за корсаров, бороздивших моря, путешествие по воде в том направлении сделалось практически невозможным. В Турцию и в бывшие владения шаха Исмаила ей дороги не было; в Хорасане она страшилась попасть в руки того, кто сел на трон

вместо Шейбани-хана. Она не знала, где находится Бабур, но в любом случае вернуться к нему не могла. В Генуе, на вилле Андреа Дориа, куда по ее просьбе доставил их с Зеркальцем Аго Веспуччи, она решила, что прежним путем ей домой не попасть. Оставаться во Флоренции опасно — ей могли отомстить. Старый морской волк Андреа Дориа, повергнутый в некоторое смятение их мужским одеянием, но воздержавшийся от высказываний по этому поводу, встретил их радушно (Кара-Кёз все еще была способна пробудить галантность в любом, даже самом грубом и бесцеремонном мужчине) и заверил дам, что, пока они под его крышей, ни один флорентиец не причинит им вреда. Дориа был первым, кто заговорил о возможности начать новую жизнь за Великим океаном.

— Если бы я не отправил на дно столько барбаросцев, то, не исключено, и сам подумал бы, не пойти ли и мне по стопам славного кузена господина Веспуччи, — сказал он.

К тому времени на совести Дориа действительно было немало корсаров, а его личный флот насчитывал двенадцать отбитых у них судов, и его люди не признавали ничьей власти, кроме его собственной. Правда, он теперь не считал себя настоящим кондотьером, потому что не имел ни малейшего желания сражаться на суше.

— Аргалья стал последним из нас, — заметил он. Я же просто морской бродяга.

В промежутках между морскими набегами Дориа вел неустанную борьбу со своими политическими противниками — семействами Адорни и Фрегози, которые пытались лишить его влияния.

— Но у меня есть корабли, — продолжал Дориа, и, невзирая на присутствие дам (возможно, потому, что они были в мужском платье), позволил себе запальчиво добавить: — А у них даже пенисы — и те, наверно, отсохли, не правда ли, Чева?

На что его помощник, татуированный бык Чева Скорпион, зардевшись, ответил:

— Ваша правда, адмирал. Я вроде у них ничего такого не заметил.

Дориа повел гостей в библиотеку и там показал им то, что никто из них, в том числе и Аго, чей родственник имел к этому прямое отношение, не видел, — «Введение в космографию» — плод труда монаха-бенедиктинца, лотарингского картографа Вальдземюллера. К «Введению» прилагалась карта под названием «Птоломеева система мира и изыскания Америго Веспуччи и прочих путешественников».

Карта была огромных размеров. Ее расстелили на полу библиотеки. На карте Птоломей и Америго были изображены в виде колоссов; они, словно

боги, взирали на свое творение. На карту был нанесен большой сегмент Mundus Novus с названием «Америка». «Не вижу причин, — написал Вальдземюллер в своем „Введении“, — по которым кого-то должно смущать название, данное мною Новому Свету в честь открывшего его, человека несомненно гениального, Америго Веспуччи».

Эти слова растрогали Аго до слез. Ему пришло на ум, что в лице кузена сама судьба ведет его к новой жизни, хотя, будучи по натуре домоседом, он всегда относился к Америго несколько пренебрежительно, считая его чуть ли не фантазером и обманщиком. Он не был с ним близок, да и не очень к этому стремился. Они были слишком разные. Теперь же вдруг оказалось, что бродяга Америго — гений, имя его присвоено Новому Свету, и это вызвало у Аго почтительный трепет.

Мало-помалу и как бы невзначай, с бесконечными оговорками насчет того, что сам он путешествовать не расположен, Аго стал выпытывать у Дориа подробности, связанные с открытиями своего родственника. Он впервые услышал такие слова, как Венесуэла и Веракрус. Кара-Кёз между тем изучала карту. Названия новых мест звучали для нее как мантра, как заклинание или амулет, который принесет ей исполнение желаний. Она жадно ловила каждое незнакомое слово:

— Вальпараисо, Номбре-де-Диос, Касафуэго, Рио-Эскондидо, — перечислял Аго, стоя на четвереньках над картой. — Теночтитлан, Кетцалькоатль, Тецкатлипока, Монтесума, Юкатан...

— А еще Эспаньола^[56], Пуэрто-Рико, Ямайка, Куба, Панама, — вторил ему Андреа Дориа.

— Я никогда не слышала этих слов, — отозвалась Кара-Кёз, — но они указывают мне путь домой.

Аргальи больше не было рядом. «По крайней мере, он умер дома, защищая то, что любил», — как выразился Дориа, подняв бокал в память об усопшем. По сравнению с Аргальей Аго был никудышным защитником, но Кара-Кёз понимала, что другого у нее нет. С ним ей и придется отправиться в свое последнее путешествие — с ним и с Зеркальцем. Им суждено стать ее опорой и защитой на последнем отрезке странствия. От Дориа они услышали, что все западные мореплаватели, а также правители Испании и Португалии твердо верят в существование водного пути, проходящего где-то посередине новых земель, с выходом в Гангейское море, и упорно ищут его. На какое-то время можно было бы остановиться на Эспаньоле или на Кубе — там колонисты чувствуют себя в безопасности: есть еще и Панама, — говорят, и там не так уж плохо. Во всех этих местах аборигенов держали под контролем. Многие из них были

обращены в христианство, хотя и не понимали языков христианского мира. На Эспаньоле их насчитывался миллион, на Кубе — два. Береговая линия в любом случае была безопасна, постепенно расчищались и внутренние регионы. За определенную плату можно было получить каюту на одной из каравелл, отплывавших из Кадиса или Палос-де-Могеры.

— Я еду, — объявила принцесса. — И подожду, пока в Новом Свете будет найден проход. Столько смелых людей уже ищут его, и, верю, он будет скоро найден.

Она выпрямилась, ладони ее согнутых в локтях рук раскрылись навстречу небу. Лицо ее, словно озаренное неземным светом, напомнило Андреа изображения Христа, творящего чудеса в Назарете: приумножение хлебов и рыб или чудесное воскрешение Лазаря. Лицо Кара-Кёз выражало точно такое же напряжение, как тогда, когда она зачаровывала Флоренцию, только горе и утраты сделали его более печальным. Магические чары ее шли на убыль, но она была полна решимости применить их все без остатка, чтобы заставить события развиваться в соответствии со своими намерениями, была готова бросить всю силу воли и волшебства на то, чтобы срединный пролив был наконец открыт. Она стояла перед Андреа в коротком оливкового цвета плаще, в плотно облегающих панталонах; коротко подстриженные волосы окружали ее лицо темным ореолом, и адмирала вдруг охватило чувство благоговейного восхищения. Он опустился на колени, коснулся рукою кончика ее мягкого сапога и после минутного молчания произнес: «Мой корабль доставит вас в Испанию».

Все оставшиеся годы — а он дожил до глубокой старости — не проходило и дня, чтобы Дориа не вспомнил об этом своем поступке, но так и не мог решить, что его заставило опуститься перед ней на колени. Зачем он это сделал? То ли затем, чтобы получить от нее благословение, то ли с тем, чтобы дать его; то ли из желания почтить ее как некое божество, то ли из потребности защитить? Хотел ли он этим жестом выразить восхищение ее мужеством или намеревался призвать ее отказаться от рокового шага? Ему вспомнился Иисус в Гефсиманском саду: должно быть, именно так, как она, смотрел Он на своих учеников, уже зная, что Ему уготована смерть.

В то утро, когда легендарный боевой корабль корсаров «Кадолин», ныне принадлежащий Дориа, под флагом покровителя Генуи святого

Георгия отчалил из Фассоло под командованием Чевы Скорпиона с тремя пассажирами на борту, море было затянуто плотной пеленой тумана. Прощаясь, Андреа Дориа сдержал волнение, которое ранее заставило его пасть на колени. Вместо напутствия он сказал: «Для человека действия библиотека кажется излишней роскошью. Благодаря вам, принцесса, она обрела свою цену и смысл». У него возникло ощущение, что Кара-Кёз после прочтения «Введения» Вальдземюллера и изучения карты сама становится частью этого великого сочинения, что она покидает материальный мир, с его землей, водой и воздухом, и уходит в мир бумаги и чернил; что плавание через Великий океан приведет ее не на Эспаньолу в Новом Свете, а на страницы книги. Он был убежден, что больше никогда не встретится с нею ни в Старом, ни в Новом Свете, что Смерть уже соколом опустила ей на плечо и пребудет там еще какое-то время, пока ей, Смерти, не наскучит путешествовать.

«Прощайте», — сказала Кара-Кёз, и растворилась в белом тумане. В положенное время Чева привел «Кадолин» обратно в Фассоло, но было видно, что радость жизни потеряна для него навсегда. Примерно через два года Дориа услышал об открытии Магелланом бурного пролива в южной оконечности Нового Света. До конца долгой жизни Андреа Генуи так и не достигли какие-либо вести о принцессе и месте ее пребывания. Однако спустя пятьдесят четыре года после того, как Кара-Кёз отплыла в Новый Свет, у ворот виллы Дориа появился молодой желтоволосый оборванец, назвавший себя ее сыном. К тому времени Андреа Дориа уже тринадцать лет как покоился в земле, а виллу занимал его внучатый племянник Джованни. Он носил титул герцога Мелфи и стал основателем влиятельного клана Дориа-Памфили-Ланди. Если Джованни когда-нибудь и слышал историю принцессы из рода Тимура и Темучина, то к тому времени он о ней благополучно забыл и велел прогнать бродягу. После этого молодой Никколо Антонино Веспуччи, названный так в память о двух близких друзьях отца, отправился, как говорится, мир посмотреть и себя показать. Он пускался в плавание иногда как член команды, иногда просто в качестве бесплатного пассажира, прячась в рундуке. Он научился говорить на множестве языков, а также приобрел другие — не всегда дозволенные — навыки, помогавшие ему находить средства к существованию. Главное же — он сумел скопить неисчислимое количество всевозможных историй: о том, например, как унес ноги от каннибалов Суматры, или о жемчужинах Брунея величиной с голубиное яйцо, или о своем бегстве от турок и путешествии зимой вверх по Волге до самой Москвы; о переправе на утлой лодчонке-дхоу через Красное море, об

обычае полиандрии в одной из частей Нового Света, где женщине можно иметь семь мужей, а мужчине запрещено жениться на девственнице, и о паломничестве в Мекку под видом мусульманина, а еще о том, как они с великим поэтом Камоэнсом оказались жертвами кораблекрушения в устье реки Меконг и он спас для мира «Лузиады», сумев доплыть до берега, держа высоко над водой руку с зажатými в пальцах листками стихов этой знаменитой поэмы.

О себе же самом людям, встреченным им во время скитаний, он говорил, что его собственная история не менее удивительна, чем все им рассказанное, однако она предназначена для ушей лишь одного человека на этой земле; что однажды он обязательно встретится с ним лицом к лицу и тогда получит все то, чего заслуживает по праву рождения. А еще говорил, что его хранит могущественное заклятие, сулящее благо всем, кто ему помогает, и несущее гибель его противникам.

— Все очень просто, о хранитель вселенной, — сказал он Акбару при свидании у Ануп-Талао. — Дело в том, что вследствие скачкообразной хронологической ситуации в Новом Свете, иначе говоря, благодаря переменной природе времени в той части земли, моя чародейка-мать сумела продлить себе молодость. Если бы она не потеряла надежду на возвращение, не утратила бы волю к жизни и не позволила бы смертельному недугу одолеть себя, чтобы хотя бы в смерти воссоединиться с родными и близкими, то, возможно, прожила бы еще лет триста. Когда она была уже при смерти, сокол влетел в окно ее спальни и уселся у изголовья. Перелет этой великолепной птицы из Старого Света в Новый явился последним явленным ею чудом, и когда он вылетел из окна, мы поняли, что он уносит ее душу В то время мне шел двадцатый год, но когда она спала, то скорее выглядела как моя старшая сестра, а не матушка. Правда, отец и Зеркальце старели как обычные люди. Ее чар уже не хватило ни на то, чтобы остановить для них время, ни на то, чтобы изменить географию той части Земли: срединный проход через материк так и не был открыт, и Новый Свет стал для нее западней. Поэтому она решила умереть.

Император молчал. Его лицо было непроницаемо. А воды Ануп-Талао продолжали волноваться. Наконец Акбар глухо произнес:

— И это всё? Ты хочешь, чтобы мы в конце концов поверили, что она научилась останавливать время?

— Только для своего тела. Лишь для себя, — ответил Могор.

— Да, это и вправду явилось бы великим даром, окажись такое возможным, — сухо сказал император и, поднявшись, направился во

дворец.

Ночью Акбар сидел на самой верхней площадке Панч Махала и слушал темноту. Он не поверил в историю чужеземца. Вместо нее он решил придумать свою, более достоверную. Он же давно доказал, что способен претворять в жизнь собственные фантазии. Что ему стоит выхватить из мрака и вытащить на свет божий правду, как он ее себе представляет? Иноземца он не желал больше слушать и, как всегда, решил слушать себя самого. Он направил своего крылатого вестника Воображение за океан, и посланник вернулся к нему с ответом. Вот так-то: теперь эта история принадлежала ему одному, и никому другому.

Ровно через сутки Акбар снова призвал Веспуччи к Несравненному водоему, воды которого по-прежнему пребывали в смятении.

— Вы хорошо знаете верблюдов, господин Веспуччи? Известны ли вам их повадки? — спросил он, и голос его громом прокатился над взволнованной поверхностью водоема.

— Почему вы изволите об этом спрашивать, о владыка? — проговорил в недоумении Могор.

— Не смейте задавать нам вопросы! Мы желаем знать, доводилось ли вам в Новом Свете, среди всех этих грифонов и драконов, видеть верблюдов?

Могор отрицательно покачал головой, и, властным жестом призвав его к молчанию, Акбар продолжал, с каждой фразой повышая голос:

— Свобода связей верблюдов-самцов с самками преподает нам, людям, полезный урок того, что есть безнравственность. В их мире нет запретов. Родившийся верблюжонок чуть ли не сразу пытается совокупиться с матерью. Взрослый готов обрюхатить любую самку, будь то его мать, сестра, тетка, бабка или дочь. Эти животные не знают, что такое инцест. Но мы-то не верблюды, верно же? Против кровосмешения у людей издревле существовали табу, и для тех, кто нарушает эти запреты, предусмотрены суровые наказания. И это справедливо, с чем вы, надеемся, согласитесь.

Мужчина и женщина плывут в тумане и теряются в Новом Свете, где их не знает ни одна душа. Весь мир

для них — они сами да еще служанка. Мужчина тоже слуга, его госпожа — сама Красота, а его путешествие именуется Любовью. Они поселяются в каком-то месте, название которого, как и их собственные имена, не имеет для них никакого значения. Проходят годы, и их надежды на возвращение угасают. Вокруг них кипит жизнь. К северу от них и к югу нецивилизованный мир постепенно отступает перед завоевателями. Победы чередуются с поражениями — то большими, то малыми, но медленно и неуклонно процесс колонизации движется вперед. Никто не задается вопросом, хорошо это или плохо. Вопрос этот неуместен и, следовательно, незаконен. Люди действуют во славу Его, да еще и золото роют. Но чем больше оборотов набирает жизнь вокруг, чем грандиознее победы и горше поражения, чем большей кровью мстит Старый Свет Новому, тем тише, незаметнее течет жизнь этих трех никому не интересных людей — женщины, ее мужчины и той, что служит обоим. День за днем, год за годом все более замкнутым становится их маленький мир. Затем свой удар наносит болезнь, и женщина умирает. Но после нее остается младенец. Девочка.

Теперь у мужчины есть только двое — служанка и ребенок — копия умершей. Они растят дитя вместе — мужчина и служанка. Чудо-ребенка назвали Анджеликой. Также он зовет и служанку. Девочка взрослеет, мужчина узнаёт в ней точную копию, еще одно Зеркальце, умершей. Старая служанка тоже видит это поразительное сходство, оно тревожит ее и возрождает в ее памяти прошлое. Она замечает и другое — жадные взгляды, которые бросает на девушку отец. О, как им одиноко в этом, еще не до конца сложившемся, мире, где старые слова утратили прежние значения и им можно придать иной смысл, тот, который тебе удобен. Это относится не только к словам, но и к деяниям. Здесь каждый начинает жизнь заново. Мужчина и служанка входят в молчаливый сговор. В былые времена они делили ложе втроем, и они горюют по ушедшей. А меж тем вместо той, что умерла, является ее новое

воплощение и, естественно, заполняет пустоту, оставшуюся после первой.

Анджелика. Она — Анджелика. В их жизни наступает момент когда их отношения меняются. Меняется и язык общения. Они больше не пользуются такими словами, как «отец» или «мое дитя». Они словно в Эдеме до грехопадения — не ведают ни добра, ни зла. С мужчиной и служанкой юная Анджелика чувствует себя вполне довольной и счастливой, и то, что происходит между ними, кажется ей вполне естественным, она не видит в этом ничего дурного. Анджелика знает, что она принцесса и принадлежит к царственному дому Тимура и Темучина. Знает, что скоро найдут водный проход посреди суши и она вместе с любимым супругом возвратится в свои владения. А пока... Пока у них есть неприметное жилище, где они ведут неприметную жизнь под чужими именами, и общее ложе, где им бывает так сладко, всем троим — мужчине, их служанке и ей, Анджелике. Потом рождается ребенок, их общее дитя — мальчик, с желтыми, как у ее супруга, волосами.

Мужчина называет его в честь двух самых близких своих друзей. Когда-то они трое были неразлучны. У него такое чувство, что, дав мальчику их имена, он перенес через океан их самих. Через его сына они обрели второе рождение. Время летит, и молодая Анджелика ни с того ни с сего начинает чахнуть. Что-то неладное творится с ней. Она бредит и уже не знает, кто она. Перед смертью она говорит сыну, чтобы он непременно отыскал свою семью, помирился с нею и никогда, ни под каким предлогом — будь то любовь или жажда приключений — не смел ее покидать. Он — принц из рода Великих Моголов. Ему надлежит вернуть себя им и поведать обо всем. Тут в окно влетает сокол и уносит с собой ее душу, а юноша с желтыми волосами направляется в порт в поисках подходящего судна. Старик и служанка остаются одни. О них можно забыть. Они свою миссию выполнили.

— Все было не так, — сказал Могор. — Моя мать Кара-Кёз — сестра вашего деда. Она была чародейкой, она умела останавливать время.
— Неправда, — решительно проговорил Акбар. — Этого она не умела.

В том же году, сообразно расчетам астрологов, в пятнадцатый день месяца исфандар по новому, солнечному, календарю Акбара и тринадцатого февраля по европейскому, состоялось бракосочетание племянницы Мириам уз-Замани, принцессы Ман-баи, и ее давнего возлюбленного принца Селима. Церемония проходила в родном городе принцессы, в крепости Амбер, в присутствии Его Величества падишаха Акбара. В брачную ночь, после обычной процедуры нанесения возбуждающих желанием мазей и массажа детородного органа своего, теперь уже законного, супруга, но прежде чем допустить его до себя, Ман-баи изволила поставить ему два условия. «Во-первых, — сказала она, — если посмеешь хоть раз посетить эту шлюху Скелетину, то приготовься на ночь упаковывать свой член в железный колчан, потому что моя месть может настичь тебя в любое время. И второе: немедленно займись этим желтоволосым чужаком, сифилитиком, который спит со Скелетиной, потому что, пока он в Сикри, с твоего папаши станется отдать ему то, что по праву принадлежит тебе».

После двух бесед возле водоема император отказался от мысли сделать Никколо Веспуччи *фарзандом*, то есть возвести в ранг почетного сына. Твердо убежденный в правильности своей версии, хотя и несколько этим раздосадованный, Акбар пришел к выводу, что отпрыск подобного безнравственного союза не может стать членом царского семейства. Несмотря на очевидную невиновность в этом деянии самого Веспуччи, невзирая на его явную неосведомленность о своем происхождении, он, при всех своих достоинствах и талантах, не подходил на роль фарзанда, ибо слишком взрывоопасным было само это слово — *инцест*. Разумеется, для такого человека, как он, занятие в Сикри всегда найдется — император уже отдал соответствующие распоряжения на этот счет, — однако дружбе с ним придется положить конец. Как бы в подтверждение мудрости подобных решений воды Ануп-Талао наконец успокоились. Умар Айяр известил Никколо Веспуччи, что ему разрешается остаться в Сикри, но строго запрещено именовать себя Могором дель Аморе. Ему следует учесть также, что доступ к особе императора для него теперь закрыт. «С сегодняшнего

дня, — объявил Айяр, — ты переходишь в разряд простых людей».

Мстительность особ царских кровей не знает границ. Стремительное падение Веспуччи ничуть не удовлетворило Ман-баи. «Коль император в мгновение ока сменил милость на гнев, — заявила она, — то с такою же быстротой может случиться и обратное». Она упрямо повторяла, что, покуда в Сикри этот человек, положение Селима как наследника трона остается шатким. Однако, к великой ее досаде, принц отказался добывать своего впавшего в немилость соперника. Меж тем Веспуччи отклонил все предложенные ему официальные должности. Он поселился в Доме Сканды и посвятил все свое время устройству развлечений для гостей. Ман-баи была вне себя. «Ты, не поперхнувшись, уничтожил такого могущественного человека, как Абул-Фазл, так что же тебя удерживает от того, чтобы покончить раз и навсегда с проходимцем?» — презрительно бросила она. Однако Селим побоялся отцовского гнева и удержался от искушения. Когда же Ман-баи родила ему сына, которого назвали Хусро, это все изменило. «Теперь ты в ответе не только перед собой, но и перед наследником», — сказала Ман-баи, и на сей раз Селиму крыть было нечем.

И тут умер Тансен. Умолкла музыка жизни. Император велел отвезти тело друга на родину, в Гвалиор. Его похоронили рядом с гробницей его учителя, шейха Мухаммеда Гхауса. Акбар возвращался в Сикри мрачнее тучи. Яркие огни, озарявшие его царствование, гасли один за другим. Он думал о том, что, возможно, смерть Тансена — это наказание, ниспосланное ему за несправедливость по отношению к Могору. Человек не может отвечать за поступки своих родителей. К тому же Веспуччи доказал свою преданность ему тем, что после всего не уехал, а остался. Он не бродяга, ищущий, где посытнее. Он решил, что его место здесь, в Сикри. После его выдворения из дворца прошло два года, и, может, пришла пора его вернуть. Процессия миновала Слоновью башню и двигалась вверх по холму, приближаясь к городу дворцов, когда Акбар принял окончательное решение. Он без промедления направил гонца в Дом Сканды с повелением для иноземца рано поутру прибыть в Шахматный дворик.

Именно на такой случай у Ман-баи имелась в городе своя сеть информаторов, и уже через час после прибытия гонца в Дом Сканды супруге принца донесли о «перемене ветра». Она тотчас отправилась на половину мужа и принялась бранить его, словно мать нашкодившего мальчишку. Ее заключительные слова были: «Сегодня ночью прояви себя, наконец, как мужчина».

Поистине мстительность владык не знает границ.

В полночь император сидел один на самой верхней террасе Панч-Махала и вспоминал тот знаменитый вечер, когда Тансен исполнил рагу *двипака* в Доме Сканды и от его пения вспыхнули не только все светильники, но и одежда певца. Как раз в этот момент он увидел, как далеко внизу, у самого берега озера, внезапно расцвел цветок яркого пламени, и после недолгого замешательства понял, что горит какой-то дом. Когда Акбару сообщили, что сгорел дотла Дом Сканды, его на какой-то миг объял страх: уж не его ли пламенный взор стал причиной этого пожара?! От мысли, что Веспуччи, должно быть, погиб, у него сжалось сердце. Однако при осмотре дымившихся руин тело чужеземца найдено не было. Не обнаружили также останков Скелетины и Матраски. Более того, вскоре выяснилось, что все женщины и их клиенты успели покинуть дом целые и невредимые. Очевидно, госпожа Ман-баи была не единственной, у кого в городе имелись осведомители, — Скелетина прекрасно знала, с кем имеет дело.

Получив известие об исчезновении Веспуччи, о его таинственной дематериализации в пылающем доме — после чего многие горожане громко заговорили о колдовстве, — император понял: сбываются его самые мрачные опасения. «Теперь мы постараемся выяснить до конца, есть ли реальные основания у всех этих разговоров о черной магии и проклятиях», — заявил он.

Наутро после пожара на дальней оконечности озера было обнаружено полузатопленное судно. Это был грузовой корабль «Гунджаиш». В днище его зияла дыра, второпях прорубленная топором. Никколо Веспуччи исчез, прихватив с собой Скелетину и Матраску, но исчез не посредством колдовства, а с помощью обыкновенного плавучего средства. Как раз в это время из Кашмира доставили очередную партию льда, для чего пришлось использовать не предназначенный для перевозки грузов роскошный «Асаиш», и даже маленький быстроходный «Фармаиш» был загружен глыбами льда до самой ватерлинии.

Акбар подумал, что Веспуччи решил наказать их отсутствием воды. «Он оставил нас и хотел, чтобы мы изнывали от жажды его увидеть», — сказал он себе. Когда по настоянию Ман-баи Селим явился к отцу и обвинил всю троицу в намеренном поджоге, Акбар сразу догадался, что это его рук дело, но промолчал. Что сделано, то сделано. Он отдал приказ не чинить беглецам никаких препятствий — пускай идут, куда захотят. Он решил не преследовать их за потопление судна. Мысленно он пожелал удачи всем троим — чужестранцу в плаще из разноцветных ромбов, тонкой, как нож, Скелетине и похожей на мяч Матраске. Если

справедливость существует, то где-нибудь в мире отыщется спокойное место даже для таких странных людей, как эти трое. История Веспуччи завершена. Он шагнул на пустой лист, который обычно оставляют в конце, после последней страницы; ушел за грань освещенного пространства и вступил в безвестность, в мир неумерших, тех, чья жизнь кончается прежде, чем они перестают дышать. Император, стоя у озера, пожелал Могору дель Аморе спокойного существования вне жизни, тихого ее конца. И отвернулся.

Ман-баи была безмерно раздражена подобным исходом, она жаждала крови. «Пошли людей, вели им убить всех троих!» — вопила она, но Селим велел ей замолчать. В первый раз за всю никчемную жизнь в его характере проявились те качества, которые позже позволили ему сделаться блестящим правителем. События последних дней стали для него серьезным потрясением. Они произвели переворот в его сознании и превратили его из капризного, обидчивого юнца в цивилизованного, мудрого государя. «Я покончил с убийствами, — сурово сказал он. — Отныне я буду считать сохранение и поддержание жизни более важным деянием, чем уничтожение ее. Больше никогда не требуй от меня ничего подобного».

Однако угрызения совести уже ничего не смогли изменить. Фатехпур-Сикри был обречен. На следующее утро императора разбудили возбужденные, испуганные голоса. Когда его доставили вниз, к подножию холма, то сквозь шум водяных колес до него донеслись еще более громкие крики обитателей караван-сарая, и он увидел, что с озером творится что-то неладное: прямо у него на глазах оно медленно отступало от берегов. Император послал за главным строителем и его мастерами, но они не могли понять, что происходит. Люди кричали, что озеро, то самое озеро, которое когда-то на закате дня странник принял за огромную чашу с расплавленным золотом, решило их покинуть. Без озера доставка льда, а следовательно, и чистой воды во дворец невозможна. Без озера простым людям — тем, кому не по карману лед, — станет нечем утолять жажду, не в чем мыться, не с чем готовить пищу. Их дети не выживут... С каждой минутой солнце взбиралось все выше, и зной нарастал. Без озера город не что иное, как спаленная солнцем, сморщенная ореховая скорлупа. Вода продолжала уходить. Смерть озера означала гибель Сикри.

Без воды мы — ничто. Даже император, если его лишит воды, станет прахом. Истинная и единственная госпожа наша — это вода, и все мы — рабы ее.

Акбар отдал приказ: «Всем покинуть город».

До конца жизни император был убежден, что таинственное исчезновение озера у Фатехпур-Сикри явилось делом рук чужеземца, которого он незаслуженно обидел и спохватился, когда было уже слишком поздно. Против пламени императорского гнева Могор использовал воду — и победил. Правда, нанесенный Акбару удар не был смертельным. Моголы были кочевниками прежде, станут ими на какое-то время и теперь. Уже сейчас две с половиной тысячи мастеров по установке временного жилья — целая армия — были наготове; их слоны и верблюды тотчас же могли двинуться туда, куда повелит император, и разбить шатры там, где ему захочется отдохнуть. Его империя слишком обширна, его сокровища слишком велики для того, чтобы один удар мог нанести ему непоправимый ущерб. Рядом, в Агре, была крепость и много дворцов, в Лахоре — тоже. Он покинет Сикри, но оставит свой любимый, покинутый водой город из камня и дымного марева одиноко стоять век за веком как напоминание, как символ быстротечности всего сущего и внезапных поворотов судьбы, от которых не может себя уберечь ни один человек, даже сам император. Но он выдержит. Собственно, быть правителем и значит уметь приспосабливаться к обстоятельствам, уметь меняться вместе с ними. А поскольку правитель по своей человеческой сути ничем не отличается от любого из подданных своих, только более совершенный, волей Всевышнего вознесенный над себе подобными, то способность менять себя — неперемное условие существования человека вообще. Двор, вся знать, все, кто служил ему, покинут этот город вместе с ним, но в последнем караване, который выйдет отсюда, не будет места для простых землепашцев. Их, как всегда, бросят на произвол судьбы. Они разбредутся, они затеряются на просторах Хиндустана. О них некому позаботиться, кроме них самих.

И тем не менее они не восстают против нас, думал Акбар. Они мирятся со своей горькой долей. Как это возможно? Отчего они такие? Они понимают, что мы их бросаем, и продолжают выполнять наши приказы — непостижимо!

На приготовления к великому переходу ушло два дня. На это время воды хватило, но к исходу второго дня озеро ушло совсем, и на месте, где еще недавно было полно чистой влаги, поблескивала на солнце лишь жидкая грязь. Еще два дня — и даже эти следы исчезнут. Останется только иссохшая, растрескавшаяся глинистая поверхность. Наутро третьего дня

процессия во главе с царским семейством и приближенными двинулась по дороге к Агре. Акбар, держась очень прямо, ехал верхом, его женщины — в изукрашенных паланкинах. За членами семьи следовали знатные люди, дальше — слуги и их домочадцы; замыкали процессию запряженные буйволами повозки, на которые погрузили весь свой скарб мастера и ремесленники. Среди них были мясники, лекари, каменщики — и проститутки. Для них место всегда находилось. Ремесло можно было переместить, но землю — никак. Словно веревками привязанные к своей высыхающей земле, земледельцы глядели вслед уходящему каравану, а потом, очевидно преисполненные решимости урвать хоть одну ночь счастья перед тем, как провести оставшуюся жизнь в голоде и нищете, толпы брошенных на произвол судьбы людей стали взбираться на холм. Сегодня единственный раз в жизни они вдоволь потешат себя, они будут играть живыми фигурами в шахматы и будут взбираться на каменное дерево-трон. Сегодня ночью любой из них сможет подняться на верхнюю террасу Панч-Махала и, вообразив себя падишахом, любоваться своими владениями. Сегодня, если хочешь, можешь провести ночь в покоях императора. А завтра... Завтра нужно будет попытаться найти способ не умереть.

Лишь один из членов царской семьи так и не покинул Сикри. После пожара в Доме Сканды госпожа Ман-баи, видимо, повредилась рассудком: сначала она металась и вопила, а затем, после того как принц Селим прикрикнул на нее, впала в глубокую тоску, внезапно утратив дар речи. Вместе с Сикри ушла из жизни и она. Возможно, виня себя за гибель столицы, она в предотъездной суматохе улучила момент, когда рядом не было никого из служанок, и проглотила опиум. Последним, что совершил Селим, перед тем как присоединиться к покидавшему Сикри каравану, было захоронение любимой жены. Так окончилась история долгой вражды двух женщин — сиятельной Ман-баи и Мохини-Скелетины.

Когда Акбар проезжал мимо кратера, где совсем недавно плескались живительные воды озера, он вдруг понял смысл преследовавшего его проклятия. Оно не имеет отношения к настоящему. Пока что он непобедим и, если пожелает, может возвести еще целый десяток Сикри. Проклято его будущее. Едва он умрет, все, к чему он стремился, его взгляды на жизнь,

его начинания и планы — все испарится, как вода. Будущее не сложится так, как он надеялся, оно станет чуждым и враждебным пространством, где людям предстоит заботиться лишь о том, как бы выжить, и сосед станет ненавидеть соседа. Они будут крушить и топтать святые места, начнут в пылу новых битв — каждый за своего бога — снова истреблять друг друга, то есть совершать то, с чем он надеялся покончить раз и навсегда. Жестокость, а не цивилизованность станет управлять миром.

«Если ты хотел таким путем наказать меня, Могор дель Аморе, — мысленно обратился Акбар к исчезнувшему чужеземцу, — то ты выбрал для себя неверное прозвище, ибо в мире будущего не останется места для любви».

Ночью к нему в шатер явилась скрытая принцесса Кара-Кёз во всем блеске своей былой красоты. Не то существо в мужском наряде, надетом при бегстве из Флоренции, но девушка в расцвете юности, создание, перед чьими чарами не устояли ни шах персидский Исмаил, ни янычар из Флоренции — обладатель заговоренной сабли Турок Аргалья. В ночь ухода Акбара из Фатехпур-Сикри она впервые разомкнула свои уста.

— *Ты ошибся в одном,* — молвила она.

Дело в том, что у Кара-Кёз не могло быть детей. Она была возлюбленной шаха и блистательного воина, но ни от одного, ни от другого не понесла. В Новом Свете не она родила девочку.

— Тогда кто же был матерью младенца? — изумленно спросил император. Огоньки, отражаясь от украшенных зеркальцами стен шатра, плясали у него в глазах.

— Со мной было мое Зеркальце, — ответила принцесса. — Мы похожи как две капли воды, она была моим эхом. Мы делили с ней всё, включая мужчин. Но ей было дано совершить то, чего не смогла я, — родить ребенка. Мне довелось быть принцессой, а ей посчастливилось познать материнство. Во всем остальном, — сказала принцесса, — воображение тебя не обмануло. Дочь Зеркальца оказалась точной копией матери, а следовательно, и меня самой. И было две смерти. Первой умерла та, которую ты вернул обратно, она сейчас перед тобою. После того как ее не стало, служанка внушила девочке мысль, будто она — дочь принцессы. А дальше — да, сбой во взаимоотношениях поколений; да, исчезновение таких понятий, как «отец» и «дочь», и возникновение других, кощунственно заменивших прежние. Отец назвался ее мужем. Так было совершенно противное человеческой природе. Рожденная во грехе, она умерла, так и не зная, кто она. Анджелика — так ее звали. Перед смертью она велела своему сыну отыскать тебя и предъявить права на родство.

Виновники преступления стояли рядом с ним у смертного одра, но промолчали. Теперь они оба предстали перед Всевышним, которому все открыто.

— Итак, Никколо Веспуччи, веривший, что он сын принцессы, оказался внуком рабыни. И он, и его мать не ведали про обман. Они стали его жертвами, — произнес Акбар и погрузился в тяжелое раздумье.

Он думал о совершенной им несправедливости. Проклятие невинного перешло на виноватого. Он понурил голову. Скрытая от всех принцесса Кара-Кёз, Черноглазка, села у его ног и нежно коснулась его руки. Ночь кончалась. Занимался новый день. Прошрое утратило для него всякое значение. Осталось лишь настоящее — и ее глаза. В их завораживающем свете сместились, сдвинулись и слились воедино поколения. Он не имеет права к ней прикасаться. Или имеет? Как может быть противно природе то, что он чувствует? Кто посмеет запретить что-либо императору? Он сам себе закон, он — воплощение закона, и сердце его чисто и безгрешно. Он вернул ее из царства мертвых, он подарил ей жизнь, он дал ей право на выбор, и она выбрала его. На волнах текучего времени ее, несомую стремительной рекою жизни, прибило к его стопам, словно к ступеням *гхата*^[571]. Она явилась с тем, чтобы завладеть его сердцем, как владела им дотоле другая, тоже сотворенная его не признающей границ дивной фантазией, его *кхаялом*. Что, если она наскучит ему? Нет, этого не произойдет никогда. И все-таки... Можно ли от нее отказаться, или в любом случае решать будет она сама?

— Вот видишь, — сказала она, — я здесь. Ты дозволил мне возвратиться, и я наконец вернулась. Теперь, о хранитель вселенной, я принадлежу тебе одному.

«О да, любовь моя, — подумал Акбар. — О да, покуда ты не решишь иначе».

Библиография ^[58]

Ady, Cecilia M., *Lorenzo de Medici and Renaissance Italy*. London: The English University Press Ltd, 1960.

Alberti, Leon Battista, *The Family in Renaissance Florence*. Columbia, S.C.: University of South Carolina Press, 1969.

Anglo, Sydney, *The Damned Art: Essays in the Literature of Witchcraft*. Boston: Routledge & Kegan Paul, 1977.

Ariosto, Ludovico, *Orlando Furioso*. New York: Oxford University Press, 1966.

Birbari, Elizabeth, *Dress in Italian Painting 1460–1500*. London: John Murray, 1975.

Boiardo, Matteo, *Orlando Innamorato*. West Lafayette, IN: Parlor Press, 2004.

Bondanella, Peter, ed., trans. MarkMusa, *The Portable Machia-velli*. New York: Penguin, 1979.

Brand, Michael, and Lowry, Glenn, eds., *Fatehpur-Sikri*. Bombay: Marg Publications, 1987.

Brebner, John Bartlet, *The Explorers of North America: 1492–1806*. London: A. & C. Black, 1933.

Brown, Judith and Davis, Robert, *Gender and Society in Renaissance Italy*. London, New York: Longman, 1998.

Brucker, Gene., ed., 'Sorcery in Early Renaissance Florence *Studies in the Renaissance*, Vol. 10 (1963), pp. 7-24.

Brucker, Gene., ed., *Renaissance Florence*. Berkeley: University of California Press, 1969.

Brucker, Gene., ed., *Giovanni andLusanna: Love and Marriage in Renaissance Florence*: Berkeley: University of California Press, 1986.

Brucker, Gene., ed., *The Society of Renaissance Florence: A Documentary Study*. Toronto: University of Toronto Press, 2001.

Burckhardt, Jacob. *The Civilization of the Renaissance in Italy*. Vol. I. New York: Harper & Row, 1958.

Burke. Peter, *The Renaissance*. New York: Barnes & Noble, 1967.

Burke, Peter, *The Italian Renaissance: Culture and Society in Italy*. 2nd edn, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1986.

Burton, Sir Richard, *The Illustrated Kama Sutra*. Middlesex, UK: Hamlyn Publishing Group, 1987.

Calvino, Italo, trans. George Martin, *Italian Folktales*. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1980.

Camporesi, Piero. *The Magic Harvest: Food, Folklore and Society*. Cambridge, UK: Polity Press, 1993.

Cassirer, Ernest, ed., *The Renaissance Philosophy of Man*. Chicago: The University of Chicago Press, 1948.

Castiglione, Baldesar, trans. George Bull, *The Book of the Courtier*. New York: Penguin, 1967.

Cohen, Elizabeth S., and Cohen, Thomas V, *Daily Life in Renaissance Italy*. Westport, CT: The Greenwood Press, 2001.

Collier-Frick, Carole, *Dressing Renaissance Florence*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2002.

Creasy, Sir Edward S., *History of the Ottoman Turks from the Beginning of Their Empire to the Present Time*. Ann Arbor, MI: UMI, Out-of-Print Books on Demand, 1991.

Curton, Philip D., *Cross-Cultural Trade in World History*. New York: Cambridge University Press, 1984.

Dale, Stephen Frederic, *Indian Merchants and Eurasian Trade, 1600–1750*. New York: Cambridge University Press, 1994.

Dalu, Jones, ed., *A Mirror of Princes: The Mughals and the Medici*. Bombay: Marg Publications, 1987.

Dash, Mike, *Tulipomania*. New York: Random House, 2001.

de Grazia, Sebastian, *Machiavelli in Hell*. Hertfordshire, UK: Harvester Wheatsheaf, 1989.

Dempsey, C, *The Portrait of Love: Botticelli's Primavera and Humanist Culture at the Time of Lorenzo the Magnificent*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1992.

Dubreton-Lucas, J., *Daily Life in Florence in the Time of the Medici*. New York: The Macmillan Company, 1961.

Eraly, Abraham, *Emperors of the Peacock Throne: The Age of the Great Mughals*. New Delhi: Penguin Books India, 2000.

Fernandez-Armesto, Felipe, *Amerigo: The Man Who Gave His Name to America*. New York: Random House, 2007.

Findly, Ellison B., 'The Capture of Maryam-uz-Zamani's ship: Mughal women and European traders'. *Journal of the American Oriental Society*, Vol. 108, No. 2 (Apr, 1988).

Finkel, Caroline, *Osman's Dream: The Story of the Ottoman Empire 1300–1923*. London: John Murray, 2005.

Gallucci, Mary M., «Occult» Power: The Politics of Witchcraft and

Superstition in Renaissance Florence'. *Italica*. Vol. 80 (Spring, 2003), pp. 1-21.

Gascoigne, Bamber, *The Great Mughals: India's Most Flamboyant Rulers*. London: Constable & Robinson, 2002.

Goodwin, Godfrey, *The Janissaries*. London: Saqi Books, 1997.

Goswamy, B. N. and Smith, Caron, *Domains of Wonder: Selected Masterworks of Indian Painting*. San Diego, CA: San Diego Museum of Art, 2005.

Grimassi, Raven, *Italian Witchcraft: The Old Religion of Southern Europe*. Woodbury, Minnesota: Llewellyn Publications, 2006.

Gupta, Ashin Das and Pearson, M. N., eds., *India and the Indian Ocean, 1500–1800*. Calcutta: Oxford University Press, 1987.

Hale, J. R., *Florence and the Medici: The Pattern of Control*. London: Thames & Hudson. 1977.

Horniker, Arthur Leon, 'The Corps of the Janizaries', *Military Affairs*, Vol. 8, No. 3 (Autumn. 1944), pp. 177–204.

Imber, Colin, *The Ottoman Empire, 1300–1650: Structure of Power*. New York: Palgrave Macmillan, 2002.

King, M., *Women of the Renaissance*. Chicago: University of Chicago Press, 1991.

Klapisch-Zuber, Christine, *Women, Family and Ritual in Renaissance Italy*. Chicago: University of Chicago Press, 1985.

Kristeller, Paul Oskar, *Renaissance Concepts of Man and Other Essays*. New York: Harper & Row Publishers, 1973.

Lai, Ruby, *Domesticity and Power in the Early Mughal World*. New York: Cambridge University Press, 2005.

Landucci, L. A., *Florentine Diary from 1450 to 1516*. New York: Arno Press, 1969.

Lawner, Lynne, *Lives of the Courtesans: Portraits of the Renaissance*. New York: Rizzoli, 1987.

Lorenzi, Lorenzo, trans. Ursula Creagh, *Witches: Exploring the Iconography of the Sorceress and Enchantress*. Florence: Centra Di, 2005.

Machiavelli. Niccolo, *The Discourses*. New York: Penguin Putnam, 1998.

Manucci, Niccolao, trans. William Irvine, *Mogul India 1653–1708 or Storia do Mogor*, Vols. I & II. New Delhi: Low Price Publications, 1996.

Manucci, Niccolao, trans. William Irvine, *Mogul India 1653-1 708 or Storia do Mogor*, Vols. Ill & IV. New Delhi, India: Low Price Publications, 1996.

Masson, Georgina, *Courtesans of the Italian Renaissance*. New York: St Martin's Press, 1976.

McAlister, Lyle N.. *Spain and Portugal in the New World: 1492–1700*.

Minneapolis: University of Minnesota, 1984.

Mee, Charles L., *Daily Life in Renaissance Italy*. New York: American Heritage Publishing Co. Inc., 1975.

Morgan, David, *Medieval Persia, 1040–1797*. Essex, UK: Pearson Education Ltd, 1988.

Mukhia, Harbans, *The Mughals of India*. Maiden, MA: Black-well Publishing, 2004.

Nath, R, *Private Life of the Mughals of India: 1526–1803*. New Delhi: Rupa & Co., 2005.

Origo, Iris, 'The Domestic Enemy: Eastern Slaves in Tuscany in the 14th and 15th Centuries'. *Speculum* 30 (1955), pp. 321-66.

Pallis, Alexander, *In the Days of the Janissaries*. London: Hutchinson 6k Co., 1951.

Penrose, Boies, *Travel and Discovery in the Renaissance 1420–1620*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1952.

Pottinger, George, *The Court of the Medici*. London: Croom Helm Ltd, 1978.

Raman, Rajee, *Ashoka the Great and Other Stories*. Vada-palani, Chennai: Vadapalani Press, date NA.

Rizvi, Saiyid Athar Abbas and Flynn, Vincent John Adams. *Fathpur-Sikri*. Mumbai India: Taraporevala Sons & Co., 1975.

Rogers, Mary and Tinagli, Paolo, *Women in Italy, 1350–1650: Ideals and Reality*. Manchester, UK: Manchester University Press, 2005.

Rosenberg, Louis Conrad, *The Davanzati Palace, Florence, Italy. A Restored Palace of the Fourteenth Century*. New York: The Architectural Book Publishing Company, 1922.

Ruggiero, Guido, *Binding Passions: Tales of Magic, Marriage, and Power at the End of the Renaissance*. New York: Oxford University Press, 1993.

Sachs, Hannelore, *The Renaissance Woman* — see chapter: 'Women Slaves, Beggars, Witches, Courtesans, Concubines', pp. 49–53. New York: McGraw-Hill, 1971.

Savory, Roger, *Iran Under the Safavids*. New York: Cambridge University Press, 1980.

Seed, Patricia, *Ceremonies of Possession in Europe's Conquest of the New World: 1492–1640*. New York: Cambridge University Press, 1995.

Sen, Amartya, *The Argumentative Indian: Writings on Indian History, Culture and Identity*. New York: Farrar, Straus & Giroux, 2005.

Seyller, John, *The Adventures of Hamza: Painting and Storytelling in Mughal India*. Washington, D.C.: Freer Gallery of Art and Arthur M. Sackler

Gallery, Smithsonian Institute, 2002.

Sharma, Shashi S., *Caliphs and Sultans: Religious Ideology and Political Praxis*. New Delhi: Rupa & Co., 2004.

Symcox, Geoffrey, ed., *Italian Reports on America: 1493–1522*. Turnhout, Belgium: Brepols, 2001.

Thackston, Wheeler M., ed. trans., *The Baburnama: Memoirs of Babar, Prince and Emperor*. New York: Oxford University Press, 1996.

Thackston, Wheeler M., ed., trans., *The Jahangirnama: Memoirs of Jahangir, Emperor of India*. New York: Oxford University Press, 1999.

Trehearne, R. F., and Fullard, H., eds., *Muir's Historical Atlas: Medieval and Modern*. 10th edn, New York: Barnes & Noble Inc., 1964.

Trexler, R., *Public Life in Renaissance Florence*. New York: Academic Press, 1980.

Trexler, Richard, *Dependence and Context in Renaissance Florence* — see chapter: 'Florentine Prostitution in the Fifteenth Century: Patrons and Clients'. Binghamton, N. Y: Medieval and Renaissance Texts and Studies, 1994.

Turnball, Stephen, *Essential Histories: The Ottoman Empire, 1326–1699*. Oxford, UK: Routledge, 2003.

Viroli, Maurizio, trans. Antony Shugaar, *Nicco's Smile: A Biography of Machiavelli*. London: I. B. Tauris, 1998.

Weinstein, D., *Savonarola and Florence: Prophecy and Patriotism in the Renaissance*. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1970.

Welch, Evelyn, *Shopping in the Renaissance: Consumer Cultures in Italy, 1400–1600*. New Haven, CT: Yale University Press, 2005.

Веб-сайты

al-Fazl ibn Mubarak, Abu, trans. H. Beveridge, *Akbar-namah (The Book of Akbar)*. Packard Humanities Institute: *Persian Literature in Translation*. Available online: <http://persian.pack-hum.org/persian>

al-Fazl ibn Mubarak, Abu, trans. H. Blockhmann and Colonel H.S. Jarrett. *Ain-i-Akbari (Akbar's Regulations)*. Packard Humanities Institute: *Persian Literature in Translation*. Available online: <http://persian.packhum.org/persian>

Bada'uni, Abd al-Qadir, trans. Haig, W., Ranking, G., Lowe, W., *Muntakhab ut-tawarikh*, Packard Humanities Institute: *Persian Literature in Translation*. Available online: <http://persian.packhum.org/persian>

Brehier, Louis, *The Catholic Encyclopedia*, Vol. V — see entry: 'Andrea Doria'. New York: Robert Appleton Company, 1909. Available online: www.newadvent.org/cathen/05134b.htm

Cross, Suzanne, *Feminae Romanae: The Women of Ancient Rome*. 2001–2006. Available online: web.mac.com/heraklia/Dominae/imperial_women/index.html

Encyclopaedia Britannica, 2007 — see entry: 'Doria, Andrea'. Available online: *Encyclopaedia Britannica Online*, 31 Oct. 2007: <http://www.britannica.com/eb/article-9030969>

Gardens of the Mughal Empire — see page: Silver, Brian Q. 'Introduction to the Music of the Mughal Court'. Smithsonian Productions. Available online: www.mughalgardens.org/html/music01.html

Von Garbe, Richard, trans. Lydia G. Robinson, *Akbar, Emperor of India*, Project Gutenberg eBook, 23 Nov. 2004. Available online: www.gutenberg.org

Благодарность

Считаю своим приятным долгом выразить признательность Ванессе Манко за помощь в составлении библиографии, а также за неоценимое содействие в создании соответствующих условий для всей подготовительной исследовательской работы, которая отчасти стала возможной благодаря Фонду Хертога (Хантер-колледж, Нью-Йорк). Также благодарю тех, кто вложил силы и труд в подготовку этой книги к печати: моих редакторов Уилла Мёрфи, Дана Франклина и Ивана Набокова; сотрудников Университета Эмори, а также Стефано Карбони, Фрэнсис Коуди, Навину Хайдар, Ребекку Кумар, Сукету Мехта, Харбана Мукхиа и Элизабет Уэст. Сердечно благодарю и Айана Мак-Эвана, вместе с которым много лет назад я сочинил песенку-экспромт «Милая Полента».

notes

Примечания

1

Пристер Джон — согласно легендам, христианский правитель всей Азии в XII в. Упоминается в записках Марко Поло как царь татар. С XIV в. фигурирует в записках путешественников как царь Эфиопии. — *Здесь и далее примечания переводчика.*

2

Хатьяпала— букв, слоны-хранители (хинди).

3

Дуомо — кафедральный собор Санта-Мария дель Фьоре во Флоренции.

4

Фамилия Хоуксбенк (англ. Hawksbank) созвучна англ. Hawksbank — ястребиный берег.

5

Река Хуанхэ, берет свое начало на Тибетском нагорье, впадает в Желтое море.

6

Великие Моголы — династия правителей Могольской империи (1526–1858), крупнейшей феодальной державы на территории Индии и Афганистана, основана Бабуром. Здесь имеется в виду его внук Акбар Джелаль-ад-дин (1542–1605), при котором Могольская империя достигла наибольшего могущества.

7

Глориана (от лат. gloria — слава; краса, гордость) — имеется в виду королева Англии Елизавета I Тюдор.

8

Хиндустан — историческое название Северной Индии.

Петрарка Ф. Сонет LXI. Перевод Вяч. Иванова

10

«Книга перемен», состоит из 64 графических символов (гексаграмм); использовалась в гадательной практике.

11

Барон Самеди — один из могущественных духов вуду.

12

Итал. Il moro invidioso — завистливый мавр.

13

Навратна — букв, ожерелье из девяти драгоценных нитей (хинди).

14

Баи — почтительное обращение к замужней женщине; также *биби*, *бегум* [хинди, урду).

Трансоксания — историческая область в Средней Азии.

Джаханпана — хранитель мира (хинди); обращение к титулованным особам высочайшего ранга.

17

Курта — мужская верхняя одежда.

18

От лат. plural — множественное число.

19

Мухур — золотая индийская монета (16 рупий).

Мунши — ученый человек, учитель (араб.).

Фаранги — общее название для всех европейцев в персоязычном регионе в эпоху Средневековья.

Катай — европейское название Северного Китая в Средние века.

Камиз — длинная рубаха, которую носят поверх юбок или шальвар.

Хадж — у мусульман паломничество в Мекку, к святым местам.

Кхял — воображение, фантазия; совр. идея, мысль (*фарси*).

Лат. alter ego — букв. другое «я»

Итал. *machia* — хитрость.

В Палаццо Синьории всегда размещалось, как и ныне, правительство Флоренции.

Скульптурные рельефы северных и восточных дверей баптистерия во Флоренции работы Л. Гиберти (1381–1455) являют собой истинный шедевр.

Приап — в античной мифологии фаллическое божество производительных сил природы (изначально сам фаллос).

Джироламо Савонарола (1452–1498) — флорентийский религиозный деятель, призывал церковь к аскетизму, осуждал гуманистическую культуру; организовывал сожжение предметов быта и произведений искусства, противоречащих, с его точки зрения, христианской морали.

Дви́пака — пламенный, светлый (санскр., хинди).

Что в этой дворцовой комнате? (франц.)

Тит Ливий (59 г. дон. э. — 17 г. н. э.) — римский историк, автор «Римской истории от основания города».

К оратору (лат.).

Авторство «Риторики», посвященной некоему Гереннию, долгое время приписывалось Цицерону, затем Корнифицию.

Трирема — тип средиземноморского военного корабля.

Гаррота — обруч, стягиваемый винтом, орудие пытки и смертной казни путем удушения.

39

Латинское название Средиземного моря.

Имеется в виду берберский пират Хайрадин (ум. 1546).

Пико делла Мирандола, Джованни (1463–1494) — итальянский мыслитель эпохи Возрождения, автор «Речи о достоинстве человека».

Левант — историческое название Восточного Средиземноморья.

Шиизм — одно из двух основных, наряду с суннизмом, направлений в исламе.

После смерти одиннадцатого имама (у шиитов власть имама является божественным установлением, все члены общины обязаны беспрекословно ему повиноваться) признали двенадцатым имамом его сына Мухаммеда, который вскоре скрылся. Он был провозглашен «скрытым имамом» и ожидаемым махди (мессией), который должен вернуться и окончательно установить в мире справедливость.

Меджнун — герой поэмы «Лейли и Меджнун» (1188) азербайджанского поэта Низами Гянджеви.

Анатолия — древнее название Малой Азии (современное название азиатской части Турции).

Золотой Рог — бухта в проливе Босфор, на обоих берегах которой располагается Стамбул.

Плиний Младший (61 /62-ок. 114) — римский писатель, автор «Панегирика» императору Траяну.

Гонфалоньер (от итал. *gonfalon* — знамя) — титул высших магистратов в средневековых итальянских городах-государствах.

50

Итал. due — два.

Намек на комедию «Мандрагора» , написанную Никколо Маккиавелли в 1518 г.

Перевод С. К. Апта.

Англ. *indians*, от *India* — Индия.

Древнее название Индийского океана.

Ныне остров Цейлон.

Одно из названий острова Гаити в колониальный период.

Гхат — спуск к воде священной реки или озера, часто ступенчатый, обычно украшенный изображениями божеств.

В этом списке представлены не все труды, использованные мною в ходе работы. Заранее приношу свои извинения, если по небрежности опустил какой-либо из источников, материалы которого оказались включенными в текст романа. Буду признателен за любое замечание подобного рода и внесу соответствующие дополнения в последующие издания. — *Автор.*

Содержание

I

- [1 Пламенеющее в последних лучах заходящего солнца озеро...](#)
- [2 На борту пиратского корабля под началом шотландского милорда...](#)
- [3 На заре дворцы из красноватого песчаника...](#)
- [4 И вот снова перед ним его Сикри, колышущийся в знойном воздухе...](#)
- [5 Его сыновья, летающие как ветер на своих конях...](#)
- [6 Острый язык способен ранить куда серьезнее...](#)
- [7 В крошечном мраке каземата его цепи...](#)
- [8 Когда Великим Моголам жизнь преподносила неприятные сюрпризы...](#)
- [9 В Андижане фазаны выросли такими упитанными...](#)

II

- [10 Где семя повешенного упадет на землю...](#)
- [11 Все, что любил Аго, находилось тут же, совсем рядом с ним...](#)
- [12 Опустевшая гостиница при дороге, ведущей в Геную...](#)
- [13 В Ушкюбе, где располагался лагерь для захваченных в плен детей...](#)
- [14 После того как в Доме Сканды Тансен пропел рагу двипака...](#)
- [15 У берегов Каспийского моря старухи — картофельные ворожеи...](#)

III

- [16 Можно было подумать, что все бедняки города возомнили себя кардиналами...](#)
- [17 Герцог заперся в своем дворце...](#)
- [18 Инцидент со львами и медведем имел место...](#)
- [19 Он потомок Адама, а не Мухаммада...](#)

[Библиография\[58\]](#)

[Веб-сайты](#)

[Благодарность](#)

[Примечания](#)

[1](#)

[2](#)

[3](#)

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

[43](#)
[44](#)
[45](#)
[46](#)
[47](#)
[48](#)
[49](#)
[50](#)
[51](#)
[52](#)
[53](#)
[54](#)
[55](#)
[56](#)
[57](#)
[58](#)